

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

ЖЕРТВА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

русская классика

Жертва цивилизации
Аркадий Тимофеевич Аверченко

Аннотация
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жертва цивилизации
Праведник
Сплетня
Люди четырех измерений
Жертва цивилизации
Бойкий разговор
В ресторане
Дурак
Измена
Друг
Коса на камень
Оскорбление действием
Солидное предприятие. Записки делового человека
Специалист
Славный ребенок
Двойник
Тайна
Загадка природы
Дружба

Красивая женщина
Поездка в театр
Настоящие парни
Воздухоплавательная неделя в Коркине
Пинхус Розенберг
Наследственность
Тихое помешательство
Нервы
Большое сердце. (Рождественский рассказ)
Еропегов
Вечером
Душевная драма. (Жизнь человека)
Широкая масленица
День госпожи Спандиковой
Страшный человек
Камень на шее
Дурная наследственность
Дачный театр
Два мира
Приключение номера 24345
Кривые углы
Граф Калиостро
Ихневмоны
Альбом
Два преступления господина Вопягина
Шутка

В зеленой комнате. (Послеобеденные разговоры)
Исчадие города
Анекдоты из жизни великих людей
Одинокий Гржимба
Чудеса
Первый дебют. (Рождественская история)
Труха
«Аполлон»
Проклятие
Служитель муз
Лекарство
Визитер. (Опыт характеристики)
Свой крест...
Принцип
Функельман и сын. (Рассказ матери)
Законный брак. (Стихотворение в прозе)
Мопассан. (Роман в одной книге)
Американец
Драма в семье Бырдиных
Русские символы
Индейка с каштанами
Как добыть себе в Праге комнату
Бриллиант в три карата
Вечно-женское
Высшая справедливость

Аннотация

Современники называли Аверченко «королем смеха» и «рыцарем улыбки», сравнивали с Чеховым и Марком Твеном, а Тэффи и вовсе уверяла, что «Аверченко раскрепостил русский юмор… и заставил всю страну смеяться».

Тонкий психолог и внимательный наблюдатель, способный разглядеть смешное в повседневных ситуациях, – в его творчестве нашлось место всему: от бытовых анекдотов и искрометных пародий до острой злободневной сатиры и иронии.

В данное издание вошли рассказы разных лет, в том числе «Кривые углы», «Двойник», «Жертва цивилизации», «Граф Калиостро» и другие произведения.

Аркадий Тимофеевич Аверченко
Жертва цивилизации

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Праведник

Бледные лучи лунного света робко прокрадываются сквозь маленькое запыленное окошечко и причудливыми бликами ложатся на лицо человека, сидящего с опущенной головой в каморке, убого меблированной.

Глубокие, черные тени пугливо прячутся во впадинах его изможденного, худого лица и только слегка бледнеют, ежатся и сокращаются, когда лицо поворачивается к окну.

Против него, совсем затушевываясь в густой тьме, помещается его собеседник. Последнего совсем не было бы заметно, если бы он по временам, в пылу горячего разговора, не приближал своей головы к полосе лунного света.

И тогда на его лице можно прочесть ужас и негодование.

Он изредка вставляет свои замечания и вопросы. Речь же другого, тихая и монотонная, льется как дождик в пасмурный осенний день.

— …И хотя вы исходите весь мир, не найдете ни добра, ни справедливости… Поверьте-с! Соо-орок лет!.. Сорок лет ищу ее, подлую, шарю по целому

свету… И нет ни одного справедливого человека! Да-с! На что народ, народ-то наш православный, и то!.. Намедни говорю я Афимье, что через крыльцо у акцизного живет: «Эй, — говорю, — Афимья, не по-хорошему живешь! Солдат-то, что каждый вечер ходит на кухню, не муж ведь, чай, а? А ведь это грех… Уймись ты, — говорю, — Афимья, брось солдата, живи по-хорошему!» Так что же вы думали? Возьми она да расскажи это своему хахалю… Встречает он меня в переулке, к вечерне я шел, и шепчет: «Ты, — говорит, — барин, тово… Афимье не пой! А то я те, — говорит, — такое пение пропишу, что как по нотам…» Да кулачищем на меня…

— Известно, необразованность… — вздыхает хозяин.

— Какое! А выше-то лучше? — машет рукой оратор. — Один грех… Дело тоже такое вышло на днях. Сидим мы у Перепойкина, консисторского, пьем чай. Был и Турухтанов, знаете, что опекуном над карпычевскими сиротами назначили. Уж не знаю, как он их там опекает; а только, думаю себе, дело-то такое… соблазнительное. До греха рукой подать. А ежели что, то сирот жалко. Ежели, то есть, не по правде… И говорю я ему при всех, чтобы чувствительнее было и чтобы понял он, что я по правде. «Вот, — говорю, — Поликарп

Семеныч, упредить тебя я хочу. Оно, конечно, ты, может, и честный человек… только не делай ты этого и сироток пожалей… Жалко ведь. Махонькие оне». И так это я хорошо сказал, что сам прослезился. А он, понимаете, вскакивает да на меня. «Это, — говорит, — что за намеки глупые!» — «И никаких намеков, — скромно я ему отвечаю, — нет; а плоть слаба, опять же махонькие оне… А ежели ты, — говорю, — пылишь и дымишь с первого слова, так это что-то подозрительно… Нет дыму без огня!» Не успел я этого, представьте, сказать, как он меня ручищей за воротник да об пол!.. Это за мою-то правильность! Тут шум, конечно, все повскочили; а я поднялся с полу, отряхнулся, взял шапку и говорю с христианским смирением: «Бог тебя простит, Поликарп Семеныч, только вижу я теперь, что подлец ты первостатейный, и сироток-то уж, без сомнения, обидишь, коли меня обидел…» Теперь, слышь, в суд на меня подает за оскорбление словами… А какое тут оскорбление? Одно назидание!..

В каморке наступает мертвая тишина.

Слушатель долго, с благоговением, смотрит на гостя и наконец полуукоризненно произносит:

— И охота вам, Фома Еремеич, в чужие дела мешаться… Пользы никакой для вас, все больше

неприятности!..

Фома Еремеич сокрушенно ударяет себя по колену и шепчет:

— Не могу, брат, хоть ты что!.. Правду эту самую уж больно люблю. Ох, смерть моя! Где вижу несправедливость, на стену лезу!..

Он угрюмо молчит, но вдруг лицо его озаряется каким-то новым воспоминанием:

— А вы думаете, меня не били? Били-с! — язвительно шепчет он, наклоняясь к слушателю и пронизывая его во тьме своими слезящимися глазками.

У того на лице появляется выражение ужаса, и он инстинктивно защищается рукой, как будто от чего-то страшного.

— Били-с! Это уж купцы такие. Вдовица одна, которая бедная, покупает у него фунт сахару, можно сказать, на последнюю лепту. А он, представьте, ей чуть не полфунта бумаги оберточной на сахар наворотил. Ну на что вдове бумага, посудите сами? Я не вытерпел и говорю: «Бога ты не боишься, Сиволдаев, — зачем вдову обижать? Мало, что обвесил, наверное, да еще и бумагу...» Горько!

Рассказчик замолчал...

— Ну?!

— Били меня приказчики в те поры сильно… Мне говорили: «Подай на него!» А зачем? Я только для справедливости, чтоб по правде…

По лицу слушателя видно, что он страдает еще больше, чем страдал его собеседник во время избиения приказчиками. Благоговение, жалость, гнев на не понимающих праведника людей — быстро сменяются на лице его. Наконец он вскакивает, делает четыре шага вперед, потом поворачивается, как на оси, и шагает назад. Для чувств, которые его обуревают, мало комнаты длиной в четыре шага.

А Фома Еремеич уже рассказывает о каком-то капитане, который самовольно заложил золотые часы Фомы Еремеича, заставив его же и проценты платить.

Эти проценты — последняя капля в чаше невыносимо-удрученного состояния хозяина каморки.

Он, с нервно искаженным лицом, хватает рассказчика за плечи и поворачивает его лицо к лунному свету.

— Да вы что, — истерически взвизгивает он, — блажной, что ли, или в раю живете? Зачем же, зачем вы все это делаете? Разве эти купчишки да капитаны поймут?! Не поймут они! Господи! А

вы — смотрите! Вы даже не возмущаетесь…

Фома Еремеич устремляет неподвижные глаза на взволнованное лицо хозяина и тоскливо шепчет:

— А правда-то! Велика правда! И не терплю я несправедливости, каковой много на свете!..

И потом через минуту добавляет:

— Каковой о-очень много на свете…

Наступает долгое молчание. Слышны мягкие шаги хозяина и хриплое дыхание катарального горла Фомы Еремеича. В окно смотрит любопытная луна, вероятно, досадуя, что слой пыли мешает ей видеть происходящее. Гость машинально водит головой за шагающим хозяином и жует губами, очевидно, желая, но не решаясь что-то сказать.

Наконец он прерывает молчание.

— От дочки-то… от Верочки, говорю, известий не имеете?

— Ах, не напоминайте мне про нее! — досадливо машет рукой хозяин, и по его лицу пробегает мимолетная судорога боли. — Счастья захотела, отца не спросила, ну и что ж!.. Полюбуйтесь! Какое счастье… С офицером-то оно лучше, чем с отцом!.. Э-эх!

Он прислоняет лоб к окну и глядит прямо в

желтое, нахальное лицо луны.

Глядит долго-долго… И до Фомы Еремеича доносится хриплый голос:

— Проклял я ее, вот что…

Гость неодобрительно качает головой.

— Проклял! Сами бы вы на себя посмотрели, а потом и проклинали… дочку-то! Что греха таить, не сладко ей было у вас. Сами вы… и денег куча, а живете в какой-то собачьей будке; она же девица молодая, ей жить хочется, ну театры там, конфекты и все такое… А какие у вас конфекты? Ничего такого нет у вас! И живете вы бобылем сейчас, и никто вам глаз не закроет, ежели что…

Хозяин сначала удивленно прислушивается к словам Фомы Еремеича, но потом вдруг бледнеет от злости и начинает кричать, заломивши руки:

— Позвольте! Что же это такое? Как это вы мне?.. Да это вас не касается! Мои семейные отношения, они мои и есть; а вы… вы зачем же мешаетесь? И такие слова…

— Нет-с, вы позвольте! — вскакивает с места Фома Еремеич.

Его нельзя узнать. Он преобразился… Глаза у него уже не мутные, а грозные, сверкающие. Он делается выше ростом, и указательный палец его твердо и значительно устремляется на хозяина.

Как боевой конь при звуке трубы, он выпрямляется при одном намеке на когда-то и кем-то совершенную несправедливость.

— Вы мне позвольте! Я долго молчал, полагал, может, одумаетесь; ан, оно вот что… Проклял! Это по правде, а? А тебя бы, старого дурака, проклясть, — ты бы что запел? Она девица молодая, ей кон… фекты…

Дальше он начинает хрипеть, потому что рука хозяина схватывает его за ворот.

— А, так ты меня же… и упрекаешь! Я, может, страдал, как в аду, два года; а ты… конфекты! Я тебе дам конфекты… Не сметь! Уходи, пока я не расшатался! Плохо будет… И не смей никогда ко мне ходить с такими словами… Уходи!

* * *

Через минуту Фома Еремеич, еще более похудевший и печальный, шагает по улице. Во впадинах под глазами сверкает по слезинке и губы дрожат от недавней обиды.

Он бросает взгляд на залитую холодным лунным светом улицу, на прозрачное звездное небо и шепчет сокрушенно:

— Такой широкий мир, и так мало правды… Гм… Даже странно!

Сплетня

Контролер чайно-рассыпочного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать «дачей»…

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой, шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые, теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка, очертя голову, взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голой ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную, прозрачную влагу…

И только что он затаил дыхание и вытянул

руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой, позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и, наконец, выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды отчетливо показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голой рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

— Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе… Ну и штука!

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

«Ну хорошо… скажем, купаются вместе… а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!»

Придя на службу в таможню, он, после обычной возни в пакгаузе, сел на ящик из-под чаю и,

спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом…

— Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю — из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает… Ну думаю, увидит меня да мужу скажет… Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются… Гы!.. Туда-то бы поехать!

Когда, через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался… Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе — и мужчины, и женщины купаются. Говорит — поеду в Ривьеру. Поедешь, как же… На это деньги надо, голубчик!

— Отчего же! — вмешался пакгаузный Нибелунгов. — У него тетка, говорят, богатая, может у тетки взять…

Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, су-

хонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

— Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможне!.. Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил… Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято… Хе-хе!

— Ах, бесстыдники! — застенчиво потупилась Петровна. — Ну и езжали бы себе подальше, а то — на-ко, здесь разврат заводит! Только куда ему с ней… Она баба здоровая, а он так — тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-соседски утюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:

— Это что же, для Ривьеры глаженые юбки понадобились?

— Ах, что вы! Слова такие!.. — усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

— Ну да! Небось тебе-то да не знать…

Она скорбно помолчала.

— Эхма, дурость бабья наша… И чего нашла

она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая, в чем дело, вытаращила глаза.

— Да ваша Марья Григорьевна — хороша, нечего сказать!.. С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился… Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!

Горничная всплеснула руками.

— Да правда ли это, Анисья Петровна?

— Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.

— Ах, ужасти!

Горничная опрометью, позабыв об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самим членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

— Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна? — прищурив глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. — Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников.

— Оставьте! — огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных

tête-à-tête[1]. — Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками…

Пухлое, невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом[2].

Но, учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло, с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

— Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повторика?!!

---

[1] Примечания: 1
[Встреча] лицом к лицу (*фр.*).

[2] Примечания: 2
Девятка — азартная карточная игра.

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможни, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:

— Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело — сторона! А как весь город уже говорит, то чтоб после на меня чего не было… Скажут — ты помогала! А я как перед Господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

— Рассказывай: с кем и когда?..

Горничная почуяла под собой почву.

— Да все с этим же… трухлявым! Федором Ивановичем… что в прошлом году раков вам в подарок принес… Вот тебе и раки! И как они это ловко… Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет — тетка евонная богатая, — и вместе купаться поедут в Ривьеру, куда-то… Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

* * *

Сидя за покосившимся столиком, в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского… Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь — Аквинского — нафталином и сложить на лето в сундук… Моль и поела Аквинского. Он писал:

Милая тетенька!

Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении… За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело… Вчера досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требует член таможни господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял… Сначала говорит: «Вы, – говорит, – Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?» «Никак нет», – отвечаю…

А он как закричит: «Так вот как!!! Не лгите! Вы, – говорит, – попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором – предупреждаю – вы же и захлебнетесь!» Ужасно эти ученые люди туманно говорят... Потом и про вас, тетенька... «Вы, – говорит, – вашу тетку порешили ограбить... вашу старую тетку, а это стыдно! Безнравственно!» Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание! Как я уже вам объяснял – это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки – не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы... А за что? Какие-то устои, водоворот... Насчет же семейной жизни, что он говорил, так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, – я не женат...

Люди четырех измерений

I

— Удивительно они забавные! — сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

— Совершенно верно. — Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.

— Иногда они смешат меня.

— Это мило с их стороны, — осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.

— Вы знаете, он — настоящий Отелло.

Так как до сих пор мы говорили о старике-докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:

— Никогда этого нельзя было подумать!

Она вздохнула.

— Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.

— Ах, вы говорите о муже! Но ведь он…

Она удивленно посмотрела на меня.

— Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.

— Упал, что ли?

— Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.

Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной.

Я беспомощно взглянул на нее и сказал:

— До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.

— Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете — я с мужем. Это сумасшествие.

Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, — настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, — говорит, — закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове — трах! И молодой человек, как этот самый… сноп, — падает. Ужас!

— Неужели он его приревновал ни с того ни с сего?!

Она пожала плечами.

— Я же вам говорю, — они удивительно забавные!

II

Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.

— Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете!

— И не покажусь, — пошутил я. — Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал.

— Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то, — подумайте, — у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги…

Я отшатнулся от него.

— Но… при чем здесь серьги?

— Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаянная.

— Вы думаете, что это грабитель?

— Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку — ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

— Так вы его… кирпичом?

— По голове. Не пискнул даже… Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III

— За вами не поспеешь! — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

— Боже! Что с вами сделалось?!

— Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.

— Но… ради Бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

— Скажите, вы не слышали: в последние три

недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

— Не знаю. А что?

— Ну… не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

— Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

— Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

— Вы говорите — шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

— Ну, да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни… Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу, — черт возьми! Нет спичек… Ну, думаю, будет проходить добрая душа, — попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: — рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И — что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то — и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащит-

ная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

— Вы… действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

— Я в этом уверен.

IV

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось. Это была небольшая заметка в хронике происшествий:

«*Под парами алкоголя*. — Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию…»

* * *

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, рас-

ходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны…

И смеюсь, смеюсь.

Жертва цивилизации

Неизвестный господин вошел в наш небольшой магазинчик, занял собою все свободное пространство и, отфыркиваясь, обратился ко мне:

— Хочу у вас кое-что приобрести.

— Мы счастливы, что ваш выбор упал именно на наш торговый дом. Но и вам повезло, что вы попали сюда: лучше и дешевле товара — нет ни в каком другом магазине.

— Ладно там.

Он не был толст. Он не был даже дороден, но вся его фигура, как причудливая елка, была обвешана разными свертками, коробками и узелками. Ни одна пуговица или крючок не оставались праздными. Карманы же каждую секунду угрожали лопнуть. Общий вид господина был уездный. Черноземом несло от него.

— Что прикажете показать?

— Дайте мне сначала, гм… перчатки!

— Для вас, monsieur[3]?

— Для моего покойного дедушки! Я думаю, для меня.

---

[3] Примечания: 3
Господин (*фр.*).

— Какой номер?

— Провались они, эти проклятые номера! Дайте мне номер… ну… двадцать первый, что ли!

Я отшатнулся от стойки.

— Это… неслыханный размер! Будьте добры показать ваши руки…

Он покорно выпутал руки из целой массы веревок и ленточек и протянул мне.

Руки были самые обыкновенные. Измеривши их, я пожал плечами.

— Ваш размер, самое большее — семь с четвертью.

— Ну?

— Уверяю вас.

— Я их всегда путаю, эти номера. Тот, что я вам сказал, это для корсета моей жены.

— Двадцать первый?

— Да. Чего вы так глаза таращите?

— Ха-ха!.. Вам не улыбается быть на каторге?

— Что-о тта-акое?!!

— Я только хочу вам посоветовать: если у вашей жены такая талия — никогда не рискуйте заключать ее в пылкие объятия… Она переломится, как соломинка! И вас будут судить за убийство жены, с участием сословных представителей.

Он захохотал.

— Шутник вы, и больше ничего! Дайте-ка мне еще воротничков стоячих.

— Номер?

— Дьявольщина! И здесь номер? Ну дайте семнадцатый.

Я перестал с ним церемониться.

— Когда вас, monsieur, будут, не дай бог этому случиться, вешать… то и тогда номер петли будет в два раза больше.

— Что это значит?

— Что вам нужен 42–43-й.

— Неужели?

— Клянусь вам.

Он разразился проклятиями.

— Совершенно я сбит с толку! Покупал калоши — один номер, ботинки — другой… Очки — третий! Шляпу — четвертый… и все разные! Профессор какой-нибудь, и тот не запомнит!

Я осмотрел издали его покупки и остановился на одном подозрительном свертке.

— У вас в семье несчастье?

Покупатель испугался.

— А что такое?

— Я вижу завернутое в бумагу нечто, похожее на детский гробик!

— Что вы! Это калоши.

— Номер?

Он заскрежетал зубами.

— Отстаньте от меня! Кажется — 42-й!

— Вы их, вероятно, покупали в морском министерстве?

— Нет, в магазине. Да! Дайте мне еще мыла. Вот только номер я забыл.

— Номера не надо. Ведь не на нос же вы его наденете.

Радости его не было предела.

— Что вы говорите! Восхитительно! Дайте мне тогда… десять кусков.

Когда я заворачивал, он взял один из кусков, осмотрел и, швырнув его, ударил кулаком по стойке.

— Извольте видеть! Мыло перенумеровали!.. 4711-й! Не хочу я 4711-й! Дайте мне 953-й… или 2149! Почему именно 4711?

Насилу я успокоил его.

Расплатившись, он нагрузился теми же свертками.

— А эти, новые, положите на моего извозчика.

Мальчик вынес покупки и сейчас же вернулся назад.

— Там нет извозчика!

— Как нет?! Ты врешь, негодный мальчишка!

Я выглянул за двери и сказал:

— Действительно, вблизи нет ни одного экипажа.

Покупатель схватился за голову и застонал.

— Что я наделал! Ведь на нем был детский велосипед, два пуда муки и деревенские подарки!

— А вы номера извозчика не запомнили?

— Подите вы… подальше! Боже! Эти номера доведут меня до сумасшедшего дома!

— Заметьте, что и там вы будете под номером, — сочувственно предупредил я.

Размахивая покупками, он выбежал из магазина, но скоро вернулся, еще более растерянный и убитый.

— Что прикажете?

— Скажите… Я не говорил вам случайно, где я в Петербурге остановился?

— Нет. В гостинице?

— У знакомых. Улицу помню — Садовая… А номер забыл. Ей-богу.

— Вы прописаны в участке?

— Кажется.

— Тогда можете узнать, где вы живете, — в адресном столе!

— А где стоит этот стол?

— Не стоит, а находится… Вы не забудете? Бес-

панельная улица, дом № 49, квартира № 37.

Он смотрел на меня. Лицо его все краснело и краснело. Потом на губах выступила розовая пена, потом он закачался и наконец, увлекая свои нумерованные покупки, во весь рост грохнулся на пол.

* * *

Хоронили его без особенной пышности. В мертвецкой, до похорон, он лежал под номером четырнадцатым.

Бойкий разговор

Посвящаю С. М-р.

Я кончил чтение рукописи своего рассказа.

Ярко блестевшие глаза хозяйки, ее искренний интерес и напряженное внимание показывали, что рассказ имеет успех.

Но — раздался звонок. Звонок… Влетели две дамы, составленные из двух громадных шляп, двух нелепых саков[4] и двух длиннейших боа, обвивавших две шеи.

Втайне я искренно пожалел, что эти боа не были живыми, но явно выразил бурную радость по поводу того, что заключаю такое приятное, интересное знакомство.

— Что это вы читаете? Рассказ? Вы писатель? О, писатели — опасные люди… Смотрите, вы меня не опишите.

Дамы это часто говорят, и я всегда в ответ глупо ухмыляюсь. Ухмыляться на такие слова умно — не имеет никакого расчета. Сели. И серая тоска немедленно вползла в комнату…

---

[4] Примечания: 4

Здесь: женское пальто.

— Сейчас спросят о театре, — шепнул я хозяйке.

— Ну как вы живете? Бываете в опере?

Хозяйка вздохнула.

— Давно уже не бываю. Не приходится.

— Да? Скажите! А вы, молодой человек, бываете в театре?

— Бываю, — угрюмо отвечал я.

— В каком же?

— В анатомическом.

Дамы пугливо переглянулись.

Скука вписала в нашу жизнь длиннейшую паузу.

— Чаю не желаете ли?

— Ах, нет, что вы! Ни за какие миллионы. Впрочем, от чашечки не откажусь.

Чай выручил минут на пять.

Но когда на лице хозяйки появилось выражение холодного смертельного ужаса от сознания, что нить разговора бесследно утеряна, я пришел на выручку:

— А вы, сударыня, бываете в театре?

— Да. Недавно была в «Фарсе».

Какая пытка… О чем с ней говорить?

— Что же там, этого… как его!..

— Что такое?

— Я хотел спросить — весело ли?

— В «Фарсе»? Да, весело.

Я скрыл мучительную гримасу бешенства и обратился к другой:

— Ну а вы бываете в театре?

— Да, но я люблю оперу.

— Неужели? Как это странно?! Какую же вы любите оперу больше всего?

— Мне нравится «Пиковая дама».

— Гм… да. Бойко написанная штучка.

Я иссяк.

Очевидно, очередь была за другой, односложной, дамой. Она покрутила головой и спросила хозяйку:

— В парке гуляете?

— Нет. Не могу выбраться.

— А вы, молодой человек?

— Я? Очень часто. Больше всего — в воздухоплавательном или в артиллерийском.

Хотя я не был понят, но разговор, кажется, начинал налаживаться.

Разошлась односложная дама:

— Вообще, природа мне ужасно нравится. Деревья всякие… птицы. Хорошо бы жить где-нибудь на лугу и ночевать в палатке. А вы любите это, молодой человек?

— Как же! Удобнее всего в таких случаях спать в пробирной палатке… Полная гарантия от ревматизма.

Вторая обрадовалась:

— Кстати о ревматизме! Вы можете представить, милочка, что у Василь Сергеича доктора нашли чахотку.

По лицу хозяйки было видно, что она, к своему огорчению, не подозревала не только присутствия чахотки, внедрившейся в Василь Сергеича, но даже не слыхивала о существовании его самого.

Однако умелым расположением лицевых мускулов — хозяйка выразила необходимый интерес к событию.

— Да что вы! Ах, какой ужас. Это такой маленький, с желтой бородкой!

— Нет, высокий, бритый.

Молчание, последовавшее за этим, могло быть объяснено как дань скорби по поводу злосчастной судьбы высокого бритого малого.

Я кощунственно нарушил паузу:

— А знаете, моему знакомому вчера отрезало поездом голову.

Эта нелепая выдумка оживила разговор.

— Что вы говорите! Я не читала об этом в га-

зетах.

— Это понятно почему. Когда его нашли, он заклинал не придавать гласности случившегося, так как огласка могла повредить ему по службе.

— Ах, так! Вообще, эти поезда! Мой муж, например, опоздал вчера на три часа.

Очередь вытягивать разговор была за любительницей оперы, но она, очевидно, сбилась, потому что выжидательно посматривала на меня.

Я махнул рукой на всякий здравый смысл:

— Итак, вы решительно утверждаете, что, кроме «Фарса», ни в каких театрах не были?

— Представьте, не была.

— И вы могли бы это показание подтвердить даже присягой?

— Боже мой! Почему?

— Это очень важно. А вы, сударыня… Вот вы говорите, что любите оперу. Хорошо-с. А любит ли ее также ваша тетка?

— У меня нет тетки!

— Печальное упущение. Но муж ваш не враг театра?

— Нет, он ходит в оперетку, иногда на концерты.

Решительно, я овладел нитью разговора.

Некоторое однообразие его искупалось той бесконечностью плоскости, на которой мы стояли. Я выпытал у дам театральные вкусы всех их родственников, друзей и знакомых. Закончил Василь Сергеичем. Оказалось, что этот юноша был большим поклонником кинематографов и паноптикумов.

Судьба его была почтена опять долгим, длительным молчанием, будто бы присутствующие умственно обнажили перед чахоточным молодым человеком голову.

Я проклинал себя за неосторожность. Очень нужно было мне сводить разговор на эту трагическую личность! Нить разговора от соприкосновения с ним моментально лопнула.

Все с нескрываемым интересом стали следить за минутной стрелкой на каминных часах. Она проползла вершка полтора.

На втором вершке хозяйку повело судорогой, и она страдальчески выдавила из себя фразу:

— А у нас… Горничная уходит.

Я вскочил. Кресло со стуком грохнулось на пол. Все вскрикнули от ужаса.

Подскочивши к дамам, с пеной у рта, я кричал:

— Зачем вы явились сюда?! Что вам нужно?! У вас было важное, неотложное дело? Ваша жизнь

была бы разбита и дела пришли бы в упадок, не явись вы сюда?! Да?

Общее оживление сменило нудную тишину.

— Господи Иисусе! Он с ума сошел!

Хозяйка смотрела на меня с тайным сочувствием.

— Да? Вы так думаете? А на борьбе вы были? «Веселую вдову» видели? А черта в ступе вам не удалось видеть? Как здоровье Дьявола Семеныча? Он кашляет, да? Ах, как жаль! А если вы увидите Василь Сергеича, — скажите, что я его при встрече поколочу! Мне этот болезненный молодец надоел! Кстати, «Голгофу» вы не видели? Ха-ха-ха!!!

И, не прощаясь, я выбежал на улицу.

В ресторане

— Фокусы! Это колдовство! — услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд — непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ — был дурак.

Был дурак, в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

— Не более как ловкость и проворство рук.

— Это колдовство! — упрямо стоял на своем черный, обсасывая собственный ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

— Хорошо! Что здесь нет колдовства, я, хотите, докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

— Да разве вы, как его… пре-сти-ди-жи-татор?

— Вероятно, если я это говорю! Ну хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их!

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

— За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

— Вполне постижимо! Ну идет — сто рублей?

— Нет, это много! У меня есть пять рублей.

— Да ведь мне все равно… Можно меньше. Хотите — три бутылки пива.

Черный ядовито подмигнул.

— Да ведь проиграете!

— Кто, я? Увидим!

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел их руки.

— Вы смотрите на часы и следите, чтобы не больше пяти минут.

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.

— Раз, два, три! Начинаю.

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож и, поставив тарелку, срезал в нее все жилет-

ные пуговицы.

— На пиджаке тоже есть?

— Как же… Сзади, на рукавах, около карманов.

Пуговицы со стуком сыпались на тарелку.

— У меня и на брюках есть, — корчась от смеха, говорил черный. — И на ботинках.

— Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь — все будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

— На ботинках… по восьми пуговиц. Посмотрим, как-то вы успеете за пять минут пришить их обратно?!

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, — проворчал:

— Готово. Всё!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

— 82 штуки! Ловко.

— Теперь пойди, принеси мне иголку и ниток, — скомандовал фокусник. — Живо, ну!

Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

— Поздно… Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли!

Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

— Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам 3 бутылки пива и, кстати, скажи: сколько с меня следует?

Черный человек побледнел.

— Ку… куда же вы?

«Фокусник» зевнул.

— На боковую… Спать хочется, как собаке. Намаешься за день.

— А… пуговицы… пришить?

— Что? Чего же я их буду пришивать, раз проиграл… Не успел — моя вина. Проигрыш поставлен. Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа у вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.

— Гос-споди! Что же это будет?

Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который вероломно покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго, без слов, хохотали.

Дурак

Раку приходится сталкиваться с человеческим характером тогда, когда его бросают в кипяток. И он краснеет… краснеет за людей.

Теперь, когда я смотрю на его худую нескладную фигуру, бледно-желтые усы и жалкую улыбку человека, ожидающего неизвестно откуда пинка, мне хочется и смеяться и плакать, прижавши к своей груди эту пустую взлохмаченную голову, такую смешную.

Когда я впервые вводил его в нашу компанию, все были уже предупреждены.

— Познакомьтесь.

— Граф Калиостро, — гордо представился один.

— Барон Мюнхгаузен!

— Виконт Подходцев.

Дурак смотрел на всех восторженно недоумевающими глазами, будучи, очевидно, сильно польщен пребыванием в такой титулованной компании.

— Поверьте, господа… — начал он, не зная, куда девать завернутую в бумагу сотню живых раков

и ноты, которые он держал в руках.

Я освободил его от свертков и пригласил сесть.

Определенного плана мы не имели, но «виконт» Подходцев нашелся:

— Что у вас в бумаге?

— Раки. Иду это я и думаю — дай куплю раков! Так и купил.

— Гм!.. Так и купили? Можно посмотреть?

Подходцев сделал в свертке отверстие и вынул одного рака.

— Здорово сделан! — похвалил он, держа рака двумя пальцами перед лампой.

Дурак растерялся.

— Как… сделан? Да он, представьте, живой!

Подходцев обидчиво усмехнулся.

— Шутить изволите-с?! Не ребенок же я, чтобы не отличить живого рака от механического. По-моему, это нюренбергская работа…

Дурак нагнулся и снизу посмотрел в глаза говорившему, желая отыскать в них тень улыбки.

Однако Подходцев был невозмутим, сохраняя в лице выражение оскорбленного человека.

— Неужели вы… серьезно? — сконфуженно пробормотал Дурак.

— Я серьезен, но серьезны ли вы, сударь?! — вскричал Подходцев, багровея. — Окончивши

два с половиной факультета, я дурачить себя не позволю! Ведь всем известно, что настоящие раки бывают красные!

Тяжелая, неповоротливая мысль Дурака усмотрела где-то вдали проблеск выхода из этого странного, нелепого положения.

— Нет, насколько я знаю, раки бывают черные!

— Вы слышите, господа! — с обидчивым удивлением обратился к нам Подходцев. — Сей муж имеет смелость уверять, что раки бывают черные! Зачем же тогда говорят: покраснел как рак?..

— Вареный! — тоскливо перебил гость.

— Нет-с, извините! Ежели какой-либо предмет хотят сравнить с другим, общеизвестным, то берут для этого его вид или, в данном случае, цвет не случайный и редко встречающийся, а тот, в котором предмет чаще всего можно наблюдать в природе. Например, если говорят: «он прыгнул как тигр», — то это не значит, что он прыгнул, как жареный тигр!

И, проговорив эти странные слова, Подходцев гордо оглядел компанию.

Мы давились от хохота, избегая отчаянного взгляда Дурака, который озирался, ища хотя в ком-нибудь поддержки.

Наконец он взял злополучного рака двумя

пальцами и сказал боязливо-торжествующе:

— Глядите, он движется! Ей-богу, это живой рак!

— А вы зачем же пальцами на брюшко надавливаете?! Ясно, внутри пружина! Знаем мы эти штуки.

Мы громко поддержали Подходцева, выражая негодование на то, что нас хотят одурачить каким-то механическим раком, как малых ребят.

— Так сломаем его, и я вам покажу! — в приливе вдохновения решил Дурак.

— Зачем же вещь портить? — нашелся Подходцев. — Ведь она рубля полтора стоит.

В порыве безысходного отчаяния Дурак отвел меня в сторону и тихо спросил:

— Послушайте… Неужели они это серьезно?

— Без сомнения! Объясните мне, — участливо прошептал я, — где вы их раздобыли? Не подшутил ли кто над вами?

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

Никогда после этого мне не случалось встречать человека, который был бы более уверен в своей правоте и менее всего мог бы доказать ее. Что за тяжелый, кошмарный мозг лежал под этой толстой мозговой коробкой…

Дурак молча взял из рук Подходцева рака и,

положив обратно в бумагу, отошел к окну.

Лица его, обращенного к темным заплаканным от дождя стеклам, я не видел, но согнутая спина и руки, которыми он усиленно тер виски, давали такое впечатление напряженного раздумья и тоски, что я, желая развеселить его, принял на себя роль любезного хозяина и повлек всю компанию к столу.

За ужином разговор принял мрачный, зловещий оттенок. Присутствие Дурака вдохновляло самых неразговорчивых.

— Скажите, граф, — неожиданно обратился Подходцев к одному юноше, — в каком положении ваше дело о краже пальто из передней клуба?

Граф ухмыльнулся.

— Придется сидеть, черт их дери. Из-за какого-то пальто, а? И ведь, представьте, почти совсем удрал — около Биржи нагнали.

Толстый Клинков обратился к удивленному Дураку и благодушно сказал:

— Ненавижу я эту мелкую работу… Ну что такое пальто? Каждое дело должно быть цементировано кровью. Помнишь, виконт, как мы тогда эту старуху ловко ухлопали. Одними бумажками девять тысяч, не считая золота!

Дурак, с расширенными до последних пределов глазами, сидел без единого звука, и кусок ветчины, который он держал на вилке, так и застыл в воздухе.

— Конечно, — пожал плечами Подходцев, — но в каждом деле нужна логика. Что может быть глупее, например, случая с бароном, когда он, чтобы сократить в приемной доктора очередь, отравил воду, которую пили больные, пришедшие раньше его? Или когда он поджег детский приют, чтобы ему, пьяному, при освещении было легче найти номер своего дома? Все это не забавно и бесполезно.

Дурак сидел, побледнев как мертвец, и тщетно пробовал разжевать пробку от горчицы, которую кто-то потихоньку вздел ему на вилку вместо колбасы. Крупные капли пота блестели на его лбу, и весь он напоминал большую кошку, которую шутники окунули в воду.

Опомнился Дурак только тогда, когда все, вставая, задвигали стульями. С трудом ворочая своим суконным языком, он поблагодарил меня за гостеприимство, но выразил твердое желание отправиться домой.

— И не думайте! — радушно воскликнул я. — Мы еще выпьем кофе, поболтаем… Не правда ли,

многим есть что рассказать? Жаль, нет сейчас самого интересного человека — сидит в централке за маленькое убийство…

Но Дурак был уже в пальто, обняв руками своих раков и громадный сверток нот.

Когда он прощался со всеми, угрюмо смотря куда-то в сторону, Подходцев не утерпел и рассыпался перед ним в извинениях.

— Вы знаете, я относительно рака-то ошибся… я, вообразите, полагал, что он нюренбергской работы, а уж после разглядел на клешне фабричную марку: «И. Павлов. Тула». Кустарная работа, оказывается.

Дурак молча вышел, и мы, от нечего делать, стали следить за ним в окно.

Смешная, нелепая фигура перешла пустынную улицу и торопливо приблизилась к фонарю.

Дурак раскрыл зонтик, сложил под него ноты, порылся в свертке раков и, вынув одного из них, близко поднес его к фонарю.

Лицо нашего гостя выражало напряженное любопытство и нетерпение. Фонарь подмигивал и, качая пламенем, подсмеивался над Дураком, который внимательно осмотрел рака и, оторвавши хвост, стал — по одной — отламывать клешни и лапы.

И лицо его все более прояснялось.

Когда от всего рака осталась только спинка, он отбросил ее от себя, бодро выпрямился, покачал кому-то укоризненно головой, забрал свои свертки и — сплошная сетка дождя быстро затушевала его фигуру.

Дождь ли был тому причиной, — но скука охватила всю компанию. Мы быстро пожали друг другу руки и разошлись, каждый в свою сторону. Один я, выйдя из дому, пошел без всякой цели.

На спине ощущалось холодное прикосновение дождевых капель, как чьих-то равнодушных слез.

Дождь ли был тому причиной, но мне была противна и слякоть, рыдавшая под досками старого деревянного тротуара, и мрак, и противнее всего был мне я сам.

Измена

Меняла Вилкин запер свою лавчонку, которая среди его знакомых носила громкое название банкирской конторы, и, подергав замок, сказал сам себе:

— Сегодня я в «Черный лебедь» не пойду. Ну его! Каждый день — надоело. Не все же дома оставлять молодую жену без мужа. Хе-хе!

Подходя к дому, он обратил внимание на то, что в окне спальни жены света не было.

— Неужели спит? Странно!

Все происшедшее дальше — было так обычно, что противно рассказывать.

Конечно, он прошел через незапертую дверь черного хода в столовую, оттуда в спальню и, конечно, увидел жену не одну, а с каким-то молодым господином, который, по ближайшем рассмотрении, оказался знакомым Вилкина — Грохотовым. Конечно, для менялы все это было очень неожиданно, но читающую публику такие вещи должны утомлять. Об этом так часто писали и еще чаще это делали.

Профессия менялы — очень редкая профессия,

и только, может быть, именно поэтому развязка навязшей всем в зубах истории о явившемся неожиданно домой муже, который застает жену с другом дома, — получила несколько оригинальную, чуждую шаблона окраску.

Заметив, что костюм Грохотова изменил свое обычное местопребывание и, вместо того, чтобы покоиться на плечах и ногах владельца, беспомощно висел на стуле, Вилкин всплеснул руками и вскричал злобно-торжествующе:

— Ага, голубчики! Попались... Нет, не пытайтесь отпираться...

Грохотов сел на кровати и, зевая, хладнокровно сказал:

— Вот дурак старый! Никто и не думает отпираться. Подумаешь тоже.

Вилкин сделал грозное лицо, но втайне почувствовал, что теряет под собой почву.

Все вышло как-то не по-настоящему: жена не упала перед ним на колени, с мольбой о пощаде, и любовник, вместо того чтобы спасаться бегством, сидел, зевая, на его супружеском ложе и равнодушно болтал босыми ногами.

— Да как вы смеете?!

— Что такое?

— Позор!.. С чужой женой, в квартире, за кото-

рую платит ее муж…

— У вас со своими дровами квартирка? — с явной насмешкой спросил Грохотов.

Вилкин метался по комнате, скрежеща зубами от злобы, и мучительно старался вспомнить, как вообще поступают мужья в таких случаях.

Нечаянно он нащупал в кармане пальто револьвер, который всегда носил от жуликов, и, выхватив его, осененный непоколебимым решением, вскричал:

— На колени, несчастный!! Молись, пока не поздно! Даю тебе минуту сроку!!!

— Не строй дурака! — уже сердито рявкнул Грохотов и, вскочив с кровати, бросился к несчастному мужу.

Он ловко поймал его за руку, державшую револьвер, и между ними завязалась недолгая борьба, на которую хорошенькая Вилкина смотрела, приподнявшись с подушек, с плохо скрытым любопытством и удовольствием.

Через минуту атлетически сложенный Грохотов подмял под себя тщедушного Вилкина, отнял у него револьвер и, вставая, неизвестно для чего пребольно ударил его три раза сзади в спину, затылок и в оба уха.

— А, так ты… драться!!! Вот я сейчас кликну

дворников — они тебе покажут!

Поправляя дрожащей рукой оторванный галстук, Вилкин в бессильном бешенстве двинулся к дверям, но Грохотов предупредил его.

— Э, нет, милый. Ты еще, в самом деле, сдуру накличешь дворников — ведь я твою подлую натуришку знаю! Никуда я тебя не выпущу.

Повернув ключ в дверях, Грохотов выдернул его и крепко зажал в кулаке.

Вилкин постоял у запертых дверей, потом обернулся и сдавленно прошипел:

— Убирайтесь отсюда!

— Да, надо будет, ничего не поделаешь. Кстати, мне и пора… Вилкин, который час?

Вилкин хотел сказать что-то очень обидное для Грохотова, но, покосившись на дверной ключ, зажатый в могучий кулак его бывшего приятеля, только заскрипел зубами и, нервно выдернувши часы, поднес к глазам.

— Пять минут десятого.

— Ого! Время-то как летит… Надо собираться.

Грохотов собрал разбросанные части своего туалета и стал неторопливо одеваться.

Вилкин, не говоря ни слова, ходил из угла в угол, сопровождаемый молчаливым взглядом жены, ходил, пока Грохотов не сказал досадливо:

— Не мотайся ты, ради бога, перед глазами. Мешаешь только. Сядь вон там в углу на диван и сиди.

После возбужденного состояния духа у менялы наступила полная реакция. Чувствуя в спине и затылке сильную ноющую боль, он вздохнул и, потоптавшись на месте, с наружно независимым видом исполнил желание своего мучителя.

Сел на диван, закурил папиросу и стал уныло следить за туалетом Грохотова.

— Ну вот… Ах ты, господи! Проклятые воротнички! Прачка их крахмалит, совсем как дерево… Ого! А где же это запонка? Выскочила, анафемская… Вилкин, ты не видал моей запонки?

— Отстаньте вы от меня с вашей запонкой, — угрюмо проворчал Вилкин.

— Чудак-человек! Как же я оденусь без запонки?!

— На полу обронили, наверно! Тоже кавалеры, подумаешь…

Вилкин горько усмехнулся.

— Однако ты, Вилкин, не очень-то… У меня характер, сам знаешь, тяжелый… Ты, может, поискал бы ее, мой бледнолицый брат, а?

— Можете сами.

— Н-но?!

Вилкин в отчаянии схватился руками за голову и застонал.

— Навязались вы на мою голову!!!

Впрочем, тут же опустился на колени и стал шарить руками по полу.

Жена, свесившись с постели, указала ему рукой:

— Посмотри под комодом… Не там… дальше, левее… Ох, какой ты бестолковый!

— Вот!

Вилкин, торжествующий, поднял запонку и, отирая с лица пот, протянул Грохотову.

— Скажите мне спасибо! Если бы не я — ни за что не нашли бы.

— Молодец, Вилкин. Старайся.

По мере того как Вилкин морально слабел и опускался, Грохотов все наглел, командуя Вилкиным, без зазрения совести.

Он оделся, поцеловал галантно у madame Вилкиной руку, а мужу сказал фамильярно:

— Возьми, Ножиков, свечу и выпусти меня в парадную дверь.

Меняла зажег свечу, сумрачно ворча:

— Ножиков! Будто не знает, что моя фамилия — Вилкин.

— Хорошо, хорошо! Назову тебя хоть целым

Сервизовым — только проводи меня.

В передней Грохотов потребовал, чтобы меняла подал ему пальто, а когда меняла выпускал Грохотова в дверь, тот дружеским жестом протянул ему руку. Вилкин, растерявшись, хотел пожать ее, но, вместо пожатия, ощутил в своей руке какой-то предмет.

Затворивши дверь, он разжал кулак и увидел на ладони потертый двугривенный.

От обиды даже слюна во рту у него сделалась горькой. Он погрозил в пространство кулаком, опустил монету в карман и, пройдя в спальню, где жена уже спала, посмотрел на нее искоса и стал потихоньку раздеваться.

Друг

I

Душилов вскочил со своего места и, схватив руку Крошкина, попытался выдернуть ее из предплечья.

Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что эта хирургическая операция имела очень мало сходства с обыкновенным дружеским пожатием.

— Крошкин, дружище! Кой черт тебя дернул на это?

Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз с осторожностью, как будто дивясь прочности Крошкиных связок после давешнего рукопожатия.

— Видишь, ты уже раскаиваешься… Ведь я эти глупые романы знаю — вот как! Я как будто сейчас вижу завязку этой гадости: когда однажды никого из ближних не было, ты ни с того ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию. У них иногда действительно бывают такие физиономии… забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах, повисла у тебя на шее, а ты,

вместо того чтобы стряхнуть ее на пол, — сделал предложение… было так?

Крошкин пожал плечами.

— Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем, что-то подобное было. Но что поделаешь… Глупость совершена — предложение сделано.

— Ах ты, господи! Можно все еще исправить. Ты еще можешь разойтись.

— Черт возьми! Как?

Душилов впал в суровое раздумье.

— Не мог ли бы ты… поколотить ее отца, что ли!.. Тогда, я полагаю, все бы расстроилось, а?

— То есть как поколотить? За что?

— Ну… причину можно найти. Явиться не в своем виде — прямо к старику. «Ты что, мол, делаешь? Газету читаешь? Так вот тебе газета!» Да по голове его!

— Послушай… Как ты думаешь: может дурак хотя иногда чувствовать себя дураком?

— Иногда, пожалуй, — согласился Душилов серьезно. — Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика, пожалуй, бить жалко…

— Ну вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила! Не нашел бы ты человека счастливее меня!

Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее в карман.

— Друг Крошкин! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она тебя разлюбит?

— Может, ты ее собираешься поколотить?

— Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор… в котором немного преувеличу твои недостатки, а?

Крошкин подумал.

— Знаешь, удав, — это мысль! Только ты можешь все испортить?! А?

— Кто, я? Будет сделано гениально.

— Сумасшедший, постой! Куда ты?

Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.

II

Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.

— Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно… я рада за вас! А что поделывает Крошкин?

— Какой Крошкин?

— Ну ваш друг!

— Он мне теперь не друг!

— Что вы говорите! Почему?

— Потому что он не Крошкин!

— А кто же он?

Душилов сокрушенно вздохнул.

— Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.

Блондинка побледнела и открыла широко испуганные глаза.

— Что вы говорите?!! Зачем ему это понадобилось?

— Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден… Теперь вы понимаете?!

— Душилов… Вы меня… с ума сведете.

— Еще бы! Я и сам хожу теперь как потерянный!

— Боже мой… Такой симпатичный, скромный, непьющий…

Душилов развел руками.

— Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик… Вчера он у вас не был?

— Не был.

— Вчера ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!

— Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый… Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал…

— Комедия! Если бы отрыть тетку и произвести экспертизу внутренностей…

— Господи! Вы думаете…

— Я уверен.

— Ах!.. Но каково это его сестре!

Душилов грубо расхохотался.

— Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра! Хо-хо!

На глазах девушки стояли слезы.

— Вы знаете, что он хотел на мне жениться?

— Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?

— Да… Мы так мечтали!..

— Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это все было устроено!

Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.

— Душилов… один вопрос: значит, он меня не

любил?

— Видите ли… У него есть любовница — француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре наказание за кражи и разврат.

Девушка глухо, беззвучно плакала.

— Этого… я ему никогда не прощу.

— И не прощайте! Я вас вполне понимаю… Кстати, у вас столовое серебро в целости? Не пересчитывали?

— Ка-ак? Неужели он дошел до этого?

— Ничего не скажу… Вы знаете, я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias[5] Звереву, от вас привет?

Девушка вскочила с растрепавшейся прической и гневным лицом:

— Скажите ему… что он самый низкий мерзавец!.. Что ему и имени нет!

— Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца — я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому

---

[5] Примечания: 5
Иначе (*лат.*).

папаше!

Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.

III

На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами.

Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.

За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:

— Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком… Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки устроена не природой, а человеком, и этот человек были вы, — при соучастии любовницы, француженки Берты, которую полиция сегодня тщетно разыскивает. Не запирайтесь, вы видите, что правосудию все известно!..

Коса на камень

I

Репортер Шмурыгин вышел из редакции в крайне угнетенном состоянии духа. Удручала его проборка, заданная редактором за доставление несвежего материала.

Последнюю остроту редактора он находил даже пошлой:

— Если вы думаете, что всякая дичь должна быть несвежей, то жестоко ошибаетесь. Тем более что ваши утки большей частью доморощенные.

— Это ты кому говоришь! — шептал, идя по улице, пасмурный репортер. — Ты говоришь, волосатый черт, представителю прессы! За это теперь отвечают!..

Потом он стал мечтать:

«Хорошо бы, если бы этот дом вдруг моментально провалился! Эффектная вещь. Строк на сто. Или какой-нибудь автомобиль чтобы с размаху въехал в зеркальное стекло кондитерской. Воображаю, как позеленел бы Абзацов! А то он всюду со своим длинным носом первый поспеет».

С житейских событий он перешел на полити-

ческие:

«Хорошо бы депутатов стравить на драку… Потом — впечатлений, интервью, показаний очевидцев — рублей на сорок. Пойти разве и сказать одному правому депутату, что другой депутат назвал его идиотом. Тот ему задаст за идиота! Разве можно так оскорблять парламентского деятеля?! Да что толку… Потасовки-то ведь я не увижу. Ну времена! Хотя бы на самоубийство какое, самое паршивое, наскочить».

И вслед за этой мыслью репортер вздрогнул, будто пронизанный электрической искрой.

Он увидел себя на пустынном мосту через Фонтанку, куда завели его сладостные грезы о несбыточном, и увидел не только себя, но и другого человека, свесившегося через перила моста и якобы любовавшегося гаснущим закатом.

«Э! — сказал самому себе Шмурыгин. — Зачем бы этому фрукту торчать здесь без дела и любоваться черт знает на что. Ясно, что парень ждет удобной минуты, чтобы, — он не был бы репортером, если бы не сказал этой фразы, — чтобы покончить все расчеты с жизнью».

У него ни на минуту не явилось мысли удержать предполагаемого утопленника от самоубийства. Человек в нем спал беспробудно. Проснулся

репортер, настойчивый, любопытный и хладнокровный.

«Может быть, черти унесут меня отсюда. Но сам я ни за что не отойду от этого моста. Покажу я им, какая у меня дичь бывает. Сам, напишу, видел. Га! Восторг что такое!!!»

И он, как ворон у падали, стал кружиться около моста.

II

Молодой человек не замечал ничего, что делалось вокруг него.

Репортер ясно видел, как он, стоя все в той же позе, судорожно цеплялся пальцами за верхушку перил, что-то бормотал про себя и, нахмурив брови, упорно, сосредоточенно смотрел на плескавшуюся под ним влагу.

— Тоже не легко бедняге решиться, — проснулся на секунду в Шмурыгине человек, но репортер внутренно показал человеку кулак, и тот спрятался.

— И чего тянуть волынку. Не понимаю! — сказал репортер.

Так, в томительном ожидании, с одной стороны, и бормотании с нахмуренным страдальческим взглядом, обращенным на воду, — с другой, про-

шло полчаса.

Шмурыгину так надоело нудное ожидание, что он решил помочь событиям.

Подойдя к перилам и тоже облокотясь на них, Шмурыгин стал беззаботно смотреть вдаль.

Потом покосился на соседа и непринужденно сказал:

— Каков закатец-то, а?

— Чтобы черт побрал этот закатец. Меня бы это вовсе не огорчило! — ответил угрюмо молодой человек.

«Ага! Меланхолия! — подумал репортер. — Тем лучше».

— В сущности говоря, вы правы. Что такое закат? И что такое наша жизнь вообще? Так, одни страдания.

Собеседник промолчал, и это ободрило репортера.

— Так вот, вдумаешься в жизнь и приходишь к заключению: ну что в ней хорошего? И я преклоняюсь перед теми, которые по своей воле рвут эту серую, скучную нить жизни…

— Идиотская жизнь, — поддержал молодой человек. — Я вот целый час стою здесь, и ничего мне не приходит в голову.

— То есть вы не решаетесь?

— На что?

Репортер смутился.

— Ну, как вам сказать… Людей с характером очень мало. Это ведь не то, что взять, да и выпить бутылку этой зловонной воды.

— Поверьте, что мне легче выпить бутылку этой зловонной воды.

— Еще бы, — сочувственно поддакнул репортер, — не в пример легче. А все-таки, если вдуматься, то какой это пустяк: шаг за перила, один миг — и тебя уже нет. Прелестно.

III

Молодой человек отодвинулся.

— Вы это о чем же?

«Спугнул!» — подумал Шмурыгин.

И смущенно продолжал:

— Я говорю насчет эпидемии самоубийств. В наше проклятое время они имеют большой резон д'этр[6], как выражается наш передовик.

Молодой человек сочувственно закивал головой.

— Ей-богу, вы правы! Да вот взять хоть бы ме-

---

[6] Примечания: 6

Букв.: «смысл жизни» (от *фр.* raison d'etre). Обычно используется в значении весомая причина.

ня сейчас: в самую пору вниз головой с моста прыгнуть.

— И вы думаете, что я буду вас отговаривать? Нет! Я очень понимаю, что значит, когда нет выхода. Впрочем, простите, я вам мешаю. Может, мой разговор в такие минуты неприятен.

— О, нет, не беспокойтесь. Я все равно сейчас ухожу. Пойду в другое место, может быть, там что-нибудь выйдет.

Репортер похолодел, как труп, только что вытащенный из воды.

— Ради бога! Куда же вы? Разве здесь так плохо?

— А разве хорошо? Я вот уже сколько времени час за часом бесцельно трачу здесь время. Прощайте!

Репортер задрожал от ужаса.

— Но будто вам не все равно! Поверьте, жизнь так дурна… Каждый лишний час, проведенный на этой бессердечной коре, — такое мучение… Тем более что нигде поблизости нет ни людей, ни лодок… Колоссальное удобство.

Неизвестный нахмурился.

— Я вас не совсем понимаю! Что вы говорите? Затем, это волнение так подозрительно…

Шмурыгин покраснел и потупился.

— Послушайте. Я буду с вами откровенен… Ведь вы меня не обманете! Я прекрасно понял, что вы собираетесь топиться. Ну хотите топиться — Христос с вами — топитесь. Идея не глупая. Но какого черта вам искать другого места? Чем здесь, спрашивается, плохо? Место пустынное, вода глубокая — превосходно! Фюить! Как камень. А тащиться куда-то, где вас всегда могут вытащить, это — простите — даже глупо.

IV

Молодой человек выслушал горячую речь репортера, сосредоточенно думая о чем-то другом.

— Вы знаете, я, кажется, должен быть вам очень благодарен… Но скажите откровенно, для чего вам понадобилось, чтобы я утонул именно здесь?

— Хотел лично видеть все это.

Неизвестный покачал головой.

— Жестокое, бессмысленное любопытство!

Репортер ударил себя ладонью в грудь.

— Жестокое? Бессмысленное? Ошибаетесь! Я думал, что имею дело с умным человеком. Ведь, поймите, вам решительно все равно, а я, в качестве репортера, заработаю на этом деле. Вы не можете представить, в какой цене очевидцы.

Веселое выражение появилось на лице незнакомца.

— А-а!.. Позвольте пожать вам руку. Не зная того сами, вы оказали мне большую услугу!

— Боже мой! Какую?

— Вы мне дали тему для рассказа.

— Черт возьми! А… топиться? — разочарованно воскликнул Шмурыгин.

— Да с чего вы взяли, дубовая голова, что я хочу прыгнуть в воду? Просто я стоял на месте, где мне никто не мешал, и хотел выжать тему для нового фельетона. Иногда мысль совершенно не работает. А вы мне дали прекрасный сюжет. Хе-хе. Всего хорошего — побегу писать.

* * *

Как пришибленный, поплелся репортер за фельетонистом.

И в мозгу зашевелились мысли:

«Хорошо, если бы ветром занесло сюда на Фонтанку какой-нибудь воздушный шар… Чтоб в лепешку шмякнулись, голубчики! Или чтобы тот идущий рабочий поскользнулся, и в кармане у него разорвалась бомба. Жаль только, прохожих мало — жертв почти не будет…»

Человек в нем спал.

Оскорбление действием

Монументов чувствовал себя таким веселым, жизнерадостным, что еле удерживался от желания пуститься в пляс без всякой музыки, как козленок.

Сейчас только он сказал барышне в голубом платье, что любит ее, и она ему сказала, что любит его, а оба вместе они решили, что им нет никакого основания не быть счастливыми, и поэтому где-то за портьерой, в двух шагах от танцующих, даже поцеловались.

Потом решили дать исход волне нахлынувшего на них счастья и веселья — купили по мешочку конфетти и, задорно хохоча, стали бросать пригоршнями в лицо друг другу разноцветные кружочки.

Монументов, запорошив глаза барышне в голубом платье, сжалился над ней и принялся осыпать горстями конфетти танцующих и публику, которая скучающе слонялась из угла в угол.

Около дверей сидел старый геморроидальный чиновник Катушкин и, брезгливо выпятив нижнюю, плохо бритую губу, презрительно наблюдал

танцы.

Он чувствовал себя нехорошо.

Ему было жаль рубля, который он истратил, заплативши за вход, было обидно, что он старый и не может танцевать, а главное, раздражала его полуоторванная пуговица фрака, которая висела на ниточке и могла каждую минуту оторваться.

Когда он потихоньку дергал ее, она как будто бы держалась, но старый Катушкин не верил ей и злобно думал, что, стоит ему только забыть о пуговице, — она сейчас же оторвется и потеряется.

— Танцуют… дьяволы! — с нечеловеческой злобой размышлял Катушкин. — Чем делом каким-нибудь полезным заниматься — они скачут, как ученые собачонки. Чтоб вы там себе ноги ваши переломали!

Он стал мечтать о том, что хорошо бы незаметно перерезать проволоку для электрического освещения, или чтобы музыканты вдруг почему-либо отказались играть.

— Не желаем, мол, играть для разных дураков!

Жизнерадостный Монументов проходил мимо угрюмого Катушкина под руку с голубенькой барышней и говорил ей:

— Как это красиво все: и этот благотворительный бал, и прекрасная музыка, и веселые,

изящные танцующие.

Потом он увидел желтое сердитое лицо Катушкина, и ему захотелось чем-нибудь развлечь этого мрачного, неподвижного старика. Ласково улыбнувшись ему, он вынул из мешочка остаток конфетти и игривым жестом избалованного шалуна осыпал целым дождем голову Катушкина.

Монументов и голубенькая барышня последовали дальше, но через три шага их догнал страдальчески-злобный голос:

— Милостивый государь! Этто… этто… неслыханно!!! Этто…

Влюбленные обернулись, и Монументов в упор столкнулся с исковерканным злобой и бешенством, потемневшим лицом Катушкина.

— Что вам угодно? — изумленно спросил он.

— Как вы смели оскорбить меня действием? — прошипел Катушкин.

— Я, вас? Боже ты мой! Чем?

— Зачем вы швырнули мне в физиономию какую-то бумажную дрянь? Что я вам сделал?

Голос его стал визгливым и плачущим. Нижняя губа прыгала, угрожая каждую минуту отвалиться совсем.

— Помилуйте! Какая же это дрянь… — сконфузился Монументов. — Это конфетти. На балах

существует такой шутливый обычай: осыпают этими кружочками друг друга.

— Не желаю я ваших дурацких обычаев! — шипел Катушкин, трогая потихоньку висящую на нитке пуговицу. — Вот есть бальный обычай: скакать козлом на потеху добрым людям или развратно целоваться за портьерой (голубенькая барышня покраснела) — так вы и мне прикажете скакать подобно млекопитающему козлу или лизаться за портьерой? Не желаю-с! Не желаю-с!

Вокруг них стала собираться любопытствующая публика.

— Чего же вам от меня надо? — спрашивал красный как рак Монументов. — Если желаете, я могу извиниться!

— Ага! Теперь извиниться! Обидят человека, наплюют, оскорбят действием человека, а потом — ах, извините, пожалуйста! Не нужно мне ваших извинений! Я этого дела так не оставлю.

— Чего же вы от меня хотите?

Катушкин обвел покрасневшими от злости глазами собравшуюся публику и поманил пальцем распорядителя вечера, беспокойно прислушивающегося к спору.

— Господин распорядитель! Надо мной учинено насилие… Будьте добры пригласить господина

околоточного для составления протокола.

Распорядитель смущенно потер затылок и сказал, беря Катушкина за пуговицу:

— Ради бога, успокойтесь! Пожалуйте в контору, там полиция сделает все по закону.

— Что вы делаете?! — завизжал Катушкин. — Смотрите! Вы мне чуть не оторвали пуговицу! Смотрите — на ниточке держится! Что же это? Уже и показаться нельзя на люди! Один бросает в физиономию какими-то… предметами, другой отрывает пуговицы! Не желаю в контору! Меня здесь оскорбили — пусть здесь и составляют протокол.

Шум разрастался.

Музыка замолкла на полуноте.

Танцующие приостановились и потом сгрудились в кучу около голубенькой барышни, которая билась в истерике.

Быстрыми шагами в зал вошел околоточный, сопровождаемый двумя городовыми.

— Господа! Прошу разойтись. В чем здесь дело? Вы говорите: он оскорбил вас действием? Ваша фамилия, господин?

— И этого запишите! — визжал Катушкин. — Они здесь все одна шайка. Тот мне чуть не оторвал пуговицу, необходимую для соблюдения

приличия внешности костюма, а этот бросал в лицо какими-то твердыми предметами. У меня есть свидетели, господин околоточный! Что же это такое? Сегодня он в меня бросил твердым предметом, а завтра бросит бомбу или какое другое взрывчатое вещество. А эта девица в голубом платье, которая притворяется плачущей, — его сообщница, господин околоточный. Не-ет! Я этого дела так не оставлю!

Катушкин визжал, хватался за лицо, которое, как он уверял, было ушиблено, и тер щеку носовым платком до тех пор, пока она действительно не стала производить впечатления ушибленной.

Домой чиновник Катушкин ехал удовлетворенный, без прежнего желчного чувства к танцующим и жалости за истраченный рубль. И даже оторвавшаяся таки в конце концов пуговица — не оставила в его душе тяжелого, неприятного осадка.

Солидное предприятие
Записки делового человека

Я — человек аккуратный.

Ложась спать, я каждый вечер аккуратно отрывал листок календаря и, аккуратно прочтя его обратную сторону, ложился в кровать, аккуратно каждую ночь засыпая.

Но однажды я нарушил этот прекрасный порядок, и все пошло к черту.

В тот несчастный вечер, с которого все началось, я, по обыкновению, прочел календарный листок, но почему-то не лег спать, а заглянул в следующий, честное слово, с той только целью, чтобы угадать, что мне придется читать завтра.

Назавтра я должен был пополнить свои знания способом американцев делать из бумаги домá — и это мне не понравилось.

Я заглянул в «послезавтра». Послезавтра календарь осведомлял публику о последних предсмертных словах разных великих людей, и эти афоризмы я читал уже в газетной «смеси» раз восемьдесят.

Огорченный, потерявший терпение, я углубил-

ся дальше.

Дни летели передо мной, как секунды, и, несмотря на то, что на дворе был снежный январь, я уже перелистал март, апрель и уже купался в горячих волнах жгучего летнего солнца.

В меню все время мелькала земляника со сливками, компот из свежих персиков и салат из помидор. Я чувствовал, что эта роскошь, при осуществлении ее, нанесет моему скромному бюджету тяжелый удар, и поэтому, миновавши «виноград и американскую дыню», я расстался с золотистой меланхолической осенью.

Теперь передо мной проносилась холодная снежная зима с заносами и вьюгами. Я благополучно подходил уже к веселому, жизнерадостному Рождеству, как вдруг на 18-м декабря споткнулся.

Я никогда не забуду этого дня.

Это было идиотское 18-е декабря…

Наверху было скромное благонамеренное изречение: «Старайся прожить свою жизнь хорошо, и тебе будет прекрасно житься», внизу было вкусное сытное меню, зато посредине…

Я прочел вот что:

АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ. Все

миллиардеры начинали ни с чего! Ярким примером этого может служить популярный в Америке Джонатан Джонс, который в начале своей карьеры миллиардера слонялся оборванный, буквально без гроша. Найдя однажды на улице апельсинные корки, он отправился на главную улицу и аккуратно разложил их на мостовой, спрятавшись потом за углом. Многие прохожие, наступив на корку, скользили, он, выскакивая, поддерживал их, и ничего на это, кроме слов благодарности, не выручал. Но один солидный господин, поддержанный им, вынул из кармана четверть доллара и дал их галантному оборванцу. Джонс на эти деньги накупил немного дешевого товару и, разжившись, сделался миллиардером.

Дальше 18-го декабря я уже не пошел.

Ошеломленный, придавленный, я едва добрался до кровати и, улегшись на нее, провел ночь, не смыкая глаз.

Несколько апельсинных корок и… миллиардер! Вот они — сказки жизни…

Всю ночь мне грезилась яхта в Средиземном

море, дворец в Пятом Авеню и конюшня, битком набитая арабскими лошадьми.

И над всем этим ярким солнечным пятном сияла одна жалкая апельсинная корка — тот ключ, который должен открыть волшебную дверь к яхте, дворцам и лошадям.

Всю ночь я не спал, а к утру у меня созрело непоколебимое решение.

Я решил сделаться миллиардером.

* * *

Утром я отправился в банк и взял для начала дела те три тысячи рублей, которые составляли весь мой капитал.

Этот день так же, как и следующие, я провел в самых отчаянных хлопотах.

Мне нужно было найти приличное помещение для конторы в тихом деловом квартале; заказать торговые книги и нанять несколько человек расторопных, смышленых служащих, которые бы знали бухгалтерское и вообще торговое дело и были бы мне преданными, усердными помощниками.

Контору я нашел с большим трудом, потому что мне необходим был под помещением конторы обширный, сухой подвальный склад. Это стоило

дорого, но мне знаком принцип, что солидность — половина успеха предприятия.

Легче всего было заказать бухгалтерские книги, которые мне изготовили под солидным и громким заглавием на корешках:

ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АПЕЛЬСИННЫХ КОРОК

Я едва выбрал время, чтобы заехать в оптовый фруктовый склад и потолковать с хозяином его о доставке мне апельсинов по оптовым ценам. Мы условились, что я буду получать, по минимальной цене, от двадцати до двадцати пяти ящиков в месяц, причем первая партия должна быть доставлена в мой погреб сегодня же.

Работа закипела.

Через неделю аппарат дела был уже настолько хорошо налажен, что мы могли приступить к практической работе.

Так как четверо моих служащих (бухгалтер, его помощник, кассир, которого я, для экономии, нанял также в качестве делопроизводителя, и телефонист) были до начала операции свободны, — я всех их занял чисткой апельсинов, на что ушел целый день.

В этот же день мне впервые пришла в голову

мысль: как поступить с очищенными апельсинами? Выбрасывать было жаль, и мы решили съедать их, — чтобы эти вкусные плоды не пропадали даром.

К вечеру мы имели изрядный запас корок, но на другой же день я не мог выйти на работу, потому что с нашими желудками случилось что-то странное.

Это странное прекратилось только через три дня, и никаких дурных последствий оно не имело. Кассир (он же делопроизводитель) уверял, что к апельсинам легко привыкнуть, для чего их нужно чаще и больше есть.

* * *

Наконец, я отправился на работу. (Не желая первое время ставить дело слишком en grand[7], я обхожусь пока без помощников. В будущем же я решил завести целый штат разбрасывателей корок, организовав их на манер артели.)

В одной руке я нес корзинку с корками, в другой ящик, в котором лежали корпия, бинты и пластырь.

Выбрав людную улицу, я разбросал на большом

---

[7] Примечания: 7
Широко (*фр.*).

пространстве корки и стал выжидать счастливых случаев.

Тут же я убедился, что без помощников предприятие это очень трудное, потому что на окраинах отмежеванного мною участка прохожие падали без моей поддержки и, вставая, ругались на чем свет стоит.

Центром я заведовал довольно успешно, поддерживая поскользнувшихся и поднимая упавших, за что к вечеру в моем кармане уже звенело несколько монет.

Результатом я был доволен, но меня огорчало одно: сегодня около сорока человек выразили свое мнение, что бросивший корки — дурак и идиот.

Скользя и падая, каждый считал своим долгом сказать вслух:

— Какой это идиот набросал здесь апельсинных корок!

А так как корки-то набросал именно я — самолюбие мое было очень уязвлено.

Кроме вышеприведенного, сердце мое сжималось оттого, что к концу трудового дня моя профессия приобрела мрачную трагическую окраску.

Один старик, поскользнувшись, сломал ногу, а

маленькая гимназистка вдребезги разбила свою русую головку о тротуарную тумбу!

Тут же я решил, когда дело разовьется, завести собственные каретки скорой помощи и набрать штат расторопных докторов.

* * *

На другой день, утром, я внес кассиру всю вырученную мной наличность, а бухгалтер расписал ее по книгам в графу «Валовой доход от предприятия».

Предприятие развертывалось медленным, но верным и нормальным ходом.

* * *

Вчера мой трудовой день чуть не окончился трагически… Спеша к упавшему прохожему, я поскользнулся сам о собственную корку и разбил коленную чашечку. Теперь хромаю.

Нужно будет завести сапоги с шипами.

Какой ужас: сломал руку старый генерал, и вышиб глаз, наткнувшись при падении на палку, молодой господин.

* * *

Сегодня скандал.

Полиция, заметив, что я разбрасываю корки, поймала меня и представила в участок. Господи — за что?! Я дал свой адрес. Что-то будет!

* * *

Крах! Самый ужасный, неожиданный крах всего предприятия. Все увечные, узнав из газет о «разбрасывателе корок», предъявляют ко мне гражданские иски, и, кроме того, прокурор возбуждает против меня уголовное преследование! Что-то будет?

* * *

Сегодня, отправляясь на суд, я увидел три подводы, привезшие ящики с апельсинами.

Увы! Их некому даже принять, потому что кассир (он же делопроизводитель) убежал с оставшейся в кассе тысячей рублей, а бухгалтер умер в больнице от острого желудочного расстройства.

Помощник его и телеграфист сидят теперь одни

в пустой конторе и грустно ждут, пока я выдам им жалованье.

* * *

В тюрьме мне пришлось прочесть очень забавную книжку — сочинение Грибоедова. Оно называется «Горе от ума», и мне особенно понравилась в нем одна фраза:

«Все врут календари...»

Специалист

Я бы не назвал его бездарным человеком… Но у него было во всякую минуту столько странного, дикого вдохновения, что это удручало и приводило в ужас всех окружающих… Кроме того, он был добр, и это было скверно. Услужлив, внимателен — и это наполовину сокращало долголетие его ближних.

До тех пор, пока я не прибегал к его услугам, у меня было чувство благоговейного почтения к этому человеку: Усатов все знал, все мог сделать и на всех затрудняющихся и сомневающихся смотрел с чувством затаенного презрения и жалости.

Однажды я сказал:

— Экая досада! Парикмахерские закрыты, а мне нужно бы побриться.

Усатов бросил на меня удивленный взор.

— А ты сам побрейся.

— Я не умею.

— Что ты говоришь?! Такой пустяк. Хочешь, я тебя побрею?

— А ты… умеешь?

— Я?

Усатов улыбнулся так, что мне сделалось стыдно.

— Тогда, пожалуй.

Я принес бритву, простыню и сказал:

— Сейчас принесут мыло и воду.

Усатов пожал плечами.

— Мыло — предрассудок. Парикмахеры, как авгуры, делают то, во что сами не верят. Я побрею тебя без мыла!

— Да ведь больно, вероятно.

Усатов презрительно усмехнулся.

— Садись.

Я сел и, скосив глаза, сказал:

— Бритву нужно держать не за лезвие, а за черенок.

— Ладно. В конце концов, это не так важно. Сиди смирно.

— Ой! — закричал я.

— Ничего. Это кожа не привыкла.

— Милый мой, — с легким стоном возразил я. — Ты ее сдерешь прежде, чем она привыкнет. Кроме того, у меня по подбородку что-то течет.

— Это кровь, — успокоительно сказал он. — Мы здесь оставим, пока присохнет, а займемся другой стороной.

Он прилежно занялся другой стороной. Я за-

стонал.

— Ты всегда так стонешь, когда бреешься? — обеспокоенно спросил он.

— Нет, но я не чувствую уха.

— Гм… Я, кажется, немножко его затронул. Впрочем, мы ухо сейчас заклеим… Смотри-ка! Что это… У тебя ус отвалился!

— Как — отвалился?

— Я его только тронул, а он и отвалился. Знаешь, у тебя бритва слишком острая…

— Разве это плохо?

— Да. Это у парикмахеров считается опасным.

— Тогда, — робко спросил я, — может, отложим до другого раза?

— Как хочешь. Не желаешь ли, кстати, постричься?

Он вынул ножницы для ногтей. Я вежливо, но твердо отказался.

* * *

Однажды вечером он сидел у нас и показывал жене какой-то мудреный двойной шов, от которого материя лопалась вслед за первым прикосновением.

— Милый, — сказала мне жена, — кстати, я вспомнила: пригласи настройщика для пианино.

Оно адски расстроено.

Усатов всплеснул руками.

— Чего же вы молчите! Господи… Стоит ли тратиться на настройщика, когда я…

— Неужели вы можете? — обрадовалась жена.

— Господи! Маленькое напряжение слуха…

— Но у тебя нет ключа, — возразил я.

— Пустяки! Можно щипцами для сахара.

Он вооружился щипцами и, подойдя к пианино, ударил кулаком по высоким нотам.

Пианино взвизгнуло.

— Правая сторона хромает! Необходимо ее подтянуть.

Он стал подтягивать, но так как по ошибке обратил свое внимание на левую сторону, то я счел нужным указать ему на это.

— Разве? Ну ничего. Тогда я правую сторону подтяну сантиметра на два еще выше.

Он долго возился, стуча по пианино кулаками, прижимал к деке ухо так сильно, что даже измял его, а потом долго для чего-то ощупывал педаль.

После этих хлопот отер пот со лба и озабоченно спросил:

— Скажи, дружище… Черные тебе тоже подвинтить?

— Что черные? — не понял я.

— Черные клавиши. Если тебе нужно, ты скажи. Их, кстати, пустяковое количество.

Я взял из его рук щипцы и сухо сказал:

— Нет. Не надо.

— Почему же? Я всегда рад оказать эту маленькую дружескую услугу. Ты не стесняйся.

Я отказался. Мне стоило немалых трудов потушить его энергию. Сам он считал этот день не потерянным, потому что ему удалось вкрутить ламповую горелку в резервуар и вывести камфарным маслом пятно с бархатной скатерти.

Недавно он влетел ко мне и с порога озабоченно вскричал:

— К тебе не дозвонишься!

— Звонок оборвал кто-то. Вот приглашу монтера и заведу электрические.

— Дружище! И ты это говоришь мне? Мне, который рожден электротехником… Кто же тебе и проведет звонки, если не я…

На глазах его блестели слезы искренней радости.

— Усатов! — угрюмо сказал я. — Ты меня брил — и я после этого приглашал двух докторов. Настраивал пианино — и мне пришлось звать настройщика, столяра и полировщика.

— Ах, ты звал полировщика?! Миленький! Ты

мог бы сказать мне, и я бы…

Он уже снял сюртук и, не слушая моих возражений, засучивал рукава:

— Глаша! Пойди, купи тридцать аршин проволоки. Иван! Беги в электротехнический магазин на углу и приобрети пару кнопок и звонков двойного давления.

Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин «звонок двойного давления» вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника — именно то, что можно было бы доверить моему странному другу.

«Возможно, — подумал я, — что в этом-то он и специалист».

Но когда принесли проволоку, я недоверчиво спросил специалиста:

— Слушай… Ведь она не изолированная?

— От чего? — с насмешливым сожалением спросил Усатов.

— Что — от чего?

— От чего не изолированная?

— Ни от чего! Сама от себя.

— А для чего тебе это нужно?

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать.

— Отверстие в двери мы уже имеем. Надо прота-

щить проволоку, привязать к ней кнопку, а потом прибить в кухне звонок. Видишь, как просто!

— А где же у тебя элементы?

— Какие элементы?

— Да ведь без элементов звонок звонить не будет!

— А если я нажму кнопку посильнее?

— Ты можешь биться об нее головой… Звонок будет молчалив, как старый башмак.

Он задумался.

— Брось проволоку, — сказал я. — Пойдем обедать.

* * *

Ему все-таки было жаль расстаться со звонком. Он привязался к этому несложному инструменту со всем пылом своей порывистой, дикой души.

— Я возьму его с собой, — заявил он. — Вероятно, можно что-нибудь еще с ним сделать.

Кое-что ему действительно удалось сделать.

Он привязал звонок к висячей лампе, непосредственно затем оторвал эту лампу от потолка и непосредственно затем обварил моего маленького сына горячим супом.

* * *

Недавно мне удалось, будучи в одном обществе, подслушать разговор Усатова с худой, костлявой старухой болезненного вида.

— Вы говорите, что доктора не могут изгнать вашего застарелого ревматизма? Я не удивляюсь… К сожалению, медицина теперь — синоним шарлатанства.

— Что вы говорите!

— Уверяю вас. Вам бы нужно было обратиться ко мне. Лучшего специалиста по ревматизму вы не найдете.

— Помогите, батюшка…

— О-о… должен вам сказать, что лечение пустяковое: ежедневно ванны из теплой воды… градусов так 45–50… Утром и вечером по чайной ложке брауншвейгской зелени на костяном наваре… или еще лучше по два порошка цианистого кали в четыре килограмма. Перед обедом прогулка — так, три-четыре квадратных версты, а вечером вспрыскивание нафталином. Ручаюсь вам, что через неделю вас не узнаешь!..

Славный ребенок

I

Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне.

Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей: во-первых, он украл у квартиранта полкоробки красок и кисточку, затем пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья… Звали доктора, пахнущего мылом, приходили соседки; вместо скучного обеда все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан — что было тоже неожиданно-любопытно и не похоже на ряд предыдущих дней.

Припадок матери, кроме перечисленных веселых минут, дал Сашке еще и практические выгоды: когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двугривенный, а потом забрал себе все бумажные колпачки от аптечных бутылочек и коробку из-под пилюль.

Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения

колпачками и коробочками, Сашка — прехитрый мальчик. Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запирать ящик с красками в комод и запирал их таким образом целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженко, Сашка подходил к комоду и пробовал, заперт ли он. Расчет у Сашки был простой — забудет же когда-нибудь Возженко запереть комод…

Вчера как раз Возженко забыл сделать это.

Сашка, лежа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудес натворит он этими красками. Потом Сашка вынул из-под одеяла руку и разжал ее: со вчерашнего дня он все время носил в ней аптекарский двугривенный и спать лег, раздевшись одной рукой.

Двугривенный, влажный, грязный, был здесь.

II

Полюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам.

Первой его заботой было: узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты — Сашка поднимет капризный крик и заявит, что, кроме яиц,

он ничего есть не может. Если же яйца — Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определенные симпатии к котлетам и отвращение к «этим паршивым яйцам».

На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то и другое, Сашка измыслил для себя недурную лазейку: он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины.

Мать он любит, но любовь эта странная — полное отсутствие жалости и легкое презрение.

Презрение укоренилось в нем с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную всем почти матерям: иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьезное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, — она только переплетала свои пухлые пальцы (Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило — один палец оказывался лишним) и восклицала с легким стоном:

— Сашенька! Ну что же это такое? Ну как же это можно? Ну как же тебе не стыдно?

Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами — дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого?

История заключалась в том, что Сашка, со свойственным ему азартом, увлекся игрой в «пуговицы»… Проигравшись дотла, он оборвал с себя все, что было можно: штанишки его держались только потому, что он все время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумал одним грандиозным взмахом обогатить себя: встал ночью с кроватки, обошел, неслышно скользя, все квартирантские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире.

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, до обеда, ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а после обеда сидела с горничной до вечера и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц.

— Не понимаю… Как она могла догадаться, что это я? — поражался Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот.

III

Отказ есть приготовленные яйца и требование котлет заняло Сашкино праздное время на

полчаса.

— Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка?

— Так.

— Как — так?

— Да так.

— Ну так знай же, котлет ты не получишь!

— И не надо.

Сашка бьет наверняка. Он с деланой слабостью отходит к углу и садится на ковер.

«Бледный он какой-то сегодня», — думает сердобольная мать.

— Сашенька, милый, ну скушай же яйца! Мама просит.

— Не хочу! Сама ешь.

— А, чтоб ты пропал, болван! Вот вырастила идиота…

Мать встает и отправляется на кухню.

Съев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел.

Озабоченный, идет он прежде всего в коридор и, открыв сундучок горничной Лизаветы, плюет в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела замазки, оставшейся после стекольщиков.

Свершив акт правосудия, идет на кухню и хны-

чет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару.

— Для чего тебе?

— Надо.

— Да для чего?

— Надо!

— Надо, надо… А для чего надо? Вот — не дам.

— Дай, дура! А то матери расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала… Думаешь, не видел?

— На, чтоб ты пропал!

Желание кухарки исполняется: Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив в баночку, доливает водой, насыпает сахар и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно.

IV

До обеда еще далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет.

— Здравствуйте, Григориваныч! — сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка.

— Пошел, пошел вон. Мешаешь только.

— Да я здесь посижу. Я не буду мешать.

У Сашки определенных планов пока нет, и все

может зависеть только от окружающих обстоятельств: может быть, удастся, когда квартирант отвернется, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожу, или сделать что-либо другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа.

— Говорю тебе — убирайся!

— Да что я вам мешаю, что ли?

— Вот я тебя сейчас за уши, да за дверь… Ну?

— Ма-ама-а!!! — жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате.

— Что такое? — слышится ее голос.

— Тш!.. Чего ты кричишь, — шипит квартирант, зажимая Сашке рот. — Я же тебя не трогаю. Ну молчи, молчи, милый мальчик…

— Ма-а-ма! Он меня прогоняет!

— Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу, — входит мать. — Он вам, вероятно, мешает?

— Нет, ничего, — помилуйте, — морщится квартирант. — Пусть сидит.

— Сиди, Сашенька, только смирненько.

«Черти бы тебя подрали с твоим Сашенькой», — думает квартирант, а вслух говорит:

— Бойкий мальчуган! Хе-хе! Общество старших любит…

— Да, уж он такой, — подтверждает мать.

V

За обедом Сашке — сплошной праздник.

Он бракует все блюда, вмешивается в разговоры, болтает ногами, руками, головой, и, когда результатом соединенных усилий его конечностей является опрокинутая тарелка с супом, он считает, что убил двух зайцев: избавился от ненавистной жидкости и внес в среду обедающих веселую, шумную суматоху.

— Я котлет не желаю!

— Почему?

— Они с волосами.

— Что ты врешь! Не хочешь? Ну и пухни с голоду.

Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и, притихший, сидит, ни до чего не дотрагиваясь, минут пять. Потом, решив, что наголодался за этот промежуток достаточно — пробует потихоньку живот: не распух ли?

Так как живот нормален, то Сашка дает себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьезнее — голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора.

VI

Обед кончен, но бес хлопотливости по-прежнему не покидает Сашку.

До отхода ко сну нужно успеть еще зайти к Григорию Ивановичу и вымазать салом все стальные перья на письменном столе (идея, родившаяся во время визита), а потом не позабыть бы украсть для сапожникова Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула.

Даже улегшись спать, Сашка лелеет и обдумывает последний план: выждавши, когда все заснут, — пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов, кресел и на картинах…

Они очень и очень пригодятся Сашке.

Двойник

Молодой человек Колесакин называл сам себя застенчивым весельчаком.

Приятели называли его забавником и юмористом, а уголовный суд, если бы веселый Колесакин попал под его отеческую руку, разошелся бы в оценке характера веселого Колесакина и с ним самим, и с Колесакиновыми приятелями.

Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день по какому-то вздорному поручению старой тетки.

Его радовало все: и телячья котлета, которую он ел, и вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком — все это вызывало на приятном лице Колесакина веселую, благодушную улыбку.

Неожиданно за его спиной раздалось:

— А-а! Сколько зим, сколько лет!

Колесакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека, с лицом, блестевшим от скупого вокзального света, как медный шар.

Красный господин приветливо протянул Колесакину руку и долго тряс ее, будто желая вытрясти все колесакинское недоумение:

— Ну как же вы, батенька, поживаете?

«Черт его знает, — подумал Колесакин, — может быть, действительно где-нибудь познакомились. Неловко сказать, что не помню».

И ответил:

— Ничего, благодарю. Вы как?

Медный толстяк расхохотался.

— Хо-хо! А что нам сделается?! Ваши здоровеньки?

— Ничего… Слава богу, — неопределенно ответил Колесакин и, из вежливого желания поддержать с незнакомым толстяком разговор, спросил:

— Отчего вас давно не видно?

— Меня-то что! А вот вы, дорогой, забыли нас совсем. Жена и то спрашивает… Ах, черт возьми — вспомнил! Ведь вы меня, наверное, втайне ругаете?

— Нет, — совершенно искренно возразил Колесакин. — Я вас никогда не ругал.

— Да, знаем… — хитро подмигнул толстяк. — А за триста-то рублей! Куриозно! Вместо того чтобы инженер брал у поставщика, инженер дал

поставщику! А ведь я, батенька, в тот же вечер и продул их, признаться.

— Неужели?

— Уверяю вас! Кстати, что вспомнил… Позвольте рассчитаться. Большое мерси!

Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки.

В Колесакине стали просыпаться его веселость и юмор.

— Очень вам благодарен, — сказал он, принимая деньги. — А скажите… не могли бы вы — услугу за услугу — до послезавтра одолжить мне еще четыреста рублей? Платежи, знаете, расчет срочный… послезавтра я вам пришлю, а?

— Сделайте одолжение! Пожалуйте! В клубе как-нибудь столкнемся — рассчитаемся. А, кстати: куда девать те доски, о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежалое.

— Куда? Да свезите их ко мне, что ли. Пусть во дворе полежат.

Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие глазки его впервые, как будто, глянули на свет божий.

— Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона?

— Да! — решительно и твердо сказал Колесакин. — У меня есть свои соображения, которые… Одним словом, чтобы эти доски были доставлены ко мне — вот и все. А пока позвольте с вами раскланяться. Человек! Получи. Жене привет!

— Спасибо! — сказал толстый поставщик, тряся руку Колесакина. — Кстати, что Эндименов?

— Эндименов? Ничего, по-прежнему.

— Рыпается?

— Ого!

— А она что?

Колесакин пожал плечами.

— Что ж она… Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать.

— Совершенно правильно, Вадим Григорьич! Золотые слова. До свиданья.

Это был первый веселый поступок, совершенный Павлушей Колесакиным. Второй поступок совершился через час в сумерках деревьев городского чахлого бульвара, куда Колесакин отправился после окончания несложных теткиных дел.

Навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская фигура и послышался радостный голос:

— Вадим! Ты?! Вот уж не ждала тебя сегодня! Однако как ты изменился за эти две недели! Почему не в форме?

«А она прехорошенькая! — подумал Колесакин, чувствуя пробуждение своего неугомонного юмора. — Моему двойничку инженеру живется, очевидно, превесело».

— Надоело в форме! Ну как ты поживаешь? — любезно спросил веселый Колесакин, быстро овладевая своим странным положением. — Поцелуй меня, деточка.

— Ка-ак? Поцелуй? Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее и честное расстаться?

— Я много передумал с тех пор, — сказал Колесакин дрожащим голосом, — и решил, что ты должна быть моей! Сядем вот здесь… Тут темно. Садись ко мне на колени…

— А знаешь что, — продолжал он потом, тронутый ее любовью, — переезжай послезавтра ко мне! Заживем на славу.

Девушка отшатнулась.

— Как к тебе?! А… жена?

— Какая жена?

— Твоя!

— Ага!.. Она не жена мне. Не удивляйся, милая! Здесь есть чужая тайна, которую я не вправе

открыть до послезавтра… Она — моя сестра!

— Но ведь у вас же двое детей!

— Приемные! Остались после одного нашего друга. Старый морской волк… Утонул в Индийском океане. Отчаянию не было пределов… Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на квартиру.

— А… сестра?

— Она будет очень рада. Будем воспитывать вместе детей… Научим уважать их память отца!.. В долгие зимние вечера… Поцелуй меня, мое сокровище.

— Господи… Я, право, не могу опомниться… В тебе есть что-то чужое, ты говоришь такие странные вещи…

— Оставь. Брось… До послезавтра… Мне теперь так хорошо… Это такие минуты, которые, которые…

В половине одиннадцатого ночи весельчак Колесакин вышел из сада утомленный, но довольный собой и по-прежнему готовый на всякие веселые авантюры.

Кликнул извозчика, поехал в лучший ресторан и, войдя в освещенную залу, был встречен низкими поклонами метрдотеля.

— Давненько не изволили… забыли нас, Вадим

Григорьич. Николай! Стол получше господину Зайцеву. Пожалуйте-с!

На эстраде играл какой-то дамский оркестр.

Решив твердо, что завтра с утра нужно уехать, Колесакин сегодня разрешил себе кутнуть.

Он пригласил в кабинет двух скрипачек и барабанщицу, потребовал шампанского, винограду и стал веселиться…

После шампанского показывал жонглирование двумя бутылками и стулом. Но когда разбил нечаянно бутылкой трюмо, то разочаровался в жонглировании и обрушился с присущим ему в пьяном виде мрачным юмором на рояль: бил по клавишам кулаком, крича в то же время:

— Молчите, проклятые струны!

В конце концов он своего добился: проклятые струны замолчали, за что буфетчик увеличил длинный и печальный счет на 150 рублей…

Потом Колесакин танцевал на столе, покрытом посудой, грациозный танец неизвестного наименования, а когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то Колесакин отомстил за свою поруганную честь тем, что, схвативши маленький барабан, прорвал его кожу и нахлобучил на голову поборника тишины.

Писали протокол. Было мокро, смято и печально. Все разошлись, кроме Колесакина, который, всеми покинутый, диктовал околоточному свое имя и фамилию:

— Вадим Григорьич Зайцев, инженер.

Счет на 627 рублей 55 коп. Колесакин велел отослать к себе на квартиру.

— Только, пожалуйста, послезавтра!

* * *

Уезжал Колесакин на другой день рано утром, веселый, ощущая в кармане много денег и в голове приятную тяжесть.

Когда он шел по пустынному перрону, сопровождаемый носильщиком, к нему подошел высокий, щеголеватый господин и строго сказал:

— Я вас поджидаю! Мы, кажется, встречались… Вы — инженер Зайцев?

— Да!

— Вы не отказываетесь от того, что говорили на прошлой неделе на журфиксе Заварзеевых?

— У Заварзеевых? Ни капельки! — твердо ответил Колесакин.

— Так вот вам. Получите!

Мелькнула в воздухе холеная рука, и прозвучала сильная глухая пощечина.

— Милостивый государь! — вскричал Колесакин, пошатнувшись. — За что вы деретесь?..

— Я буду бить так всякого мерзавца, который станет утверждать, что я нечестно играю в карты!

И, повернувшись, стал удаляться. Колесакин хотел догнать его и сообщить, что он — не Зайцев, что он пошутил… Но решил, что уже поздно.

Когда ехал в поезде, деньги уже не радовали его и беспечное веселье потускнело и съежилось…

И при всей смешливости своей натуры — веселый Колесакин совершенно забыл потешиться в душе над странным и тяжелым положением инженера Зайцева на другой день.

Тайна

I

Он уверял меня, что с детства у него были поэтические наклонности.

— Понимаешь — я люблю все красивое!

— Неужели? С чего же это ты так? — спросил я, улыбаясь.

— Не знаю. У меня, вероятно, такая душа: тянуться ко всему красивому...

— В таком случае я подарю тебе книжку моих стихов!!

Он не испугался, а сказал просто:

— Спасибо.

Я спросил как можно более задушевно:

— Ты любишь ручеек в лесу? Когда он журчит? Или овечку, пасущуюся на травке? Или розовое облачко высоко-высоко... Так, саженей в шестьдесят высоты?

Глядя задумчивыми, широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, он прошептал:

— Люблю до боли в сердце.

— Вот видишь, какой ты молодец. А еще что ты любишь?

— Я люблю закат на реке, когда издали доносится тихое пение… Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы… Люблю красивых, поэтичных женщин и люблю тайну, которая всегда красива.

— Любишь тайну? Почему же ты мне не сказал этого раньше? Я бы сообщил тебе парочку-другую тайн… Знаешь ли ты, например, что между женой нашего швейцара и приказчиком молочной лавки что-то есть? Я сам вчера слышал, как он делал ей заманчивые предложения…

Он болезненно поморщился.

— Друг! Ты меня не понял. Это слишком вульгарная, грубая тайна. Я люблю тайну тонкую, нежную, неуловимую. Ты знаешь, что я сделал сегодня?

— Ты сделал что-нибудь красивое, поэтичное, — уверенно сказал я.

— Вот именно. Сейчас мы едем к Лидии Платоновне. И знаешь, что я сделал?

— Что-нибудь красивое, поэтичное?

— Да! Я купил букет роскошных белых роз и отослал его Лидии Платоновне инкогнито, без записки и карточки. Это маленькая грациозная тайна. Я люблю все грациозное. Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы… И

неизвестно от кого… это тайна.

— Так вот почему ты продал свой турецкий диван и синие брюки!

— Друг, — страдальчески сказал он. — Не будем говорить об этом. Цветы… Из нездешнего мира… Откуда они? Из чистого горного воздуха? Кто их прислал? Бог? Дьявол?

Его глаза, устремленные к небу, сияли как звезды.

— Да ведь ты не вытерпишь, проболтаешься? — едко сказал я.

— Друг! Клянусь, что я буду равнодушен и молчалив… Ты понимаешь — она никогда не узнает, от кого эти цветы… Это маленькое и ужасное слово — никогда. Nevermore!..

Когда мы сходили с извозчика, я подумал, что если бы этот человек писал стихи, они могли бы быть не более глупы, чем мои.

II

Мы вошли в гостиную, и хозяйка дома встретила нас такой бурной радостью и водопадом благодарностей, что я сначала даже отступил за Васю Мимозова.

— Василий Валентиныч! — воскликнула прелестная хозяйка. — Признавайтесь… Это вы

прислали эту прелесть?

Вася Мимозов изумленно отступил и сказал, широко открыв глаза:

— Прелесть? Какую? Я вас не понимаю.

— Полноте, полноте! Кто же другой мог придумать эту очаровательную вещь.

— О чем вы говорите?

— Не притворяйтесь. Я говорю об этом роскошном букете!

Взгляд его обратился по направлению руки хозяйки, и он закричал так, как будто первый раз в жизни видел букет цветов:

— Какая роскошь! Кто это вам преподнес?

Хозяйка удивилась:

— Неужели это не вы?

Без всякого колебания Вася Мимозов повернул к ней свое грустное лицо и твердо сказал:

— Конечно, не я. Даю вам честное слово.

Тут только она заметила меня и радушно приветствовала:

— Здравствуйте! Это уж не вы ли сделали мне такой царский подарок?

Я отвернулся и с деланым смущением возразил:

— Что вы, что вы!

Она подозрительно взглянула на меня.

— А почему же ваши глазки не смотрят прямо? Признавайтесь, шалун!

Я глупо захохотал.

— Да почему же вы думаете, что именно я?

— Вы сразу смутились, когда я спросила.

Вася Мимозов стоял за спиной хозяйки и делал мне умоляющие знаки. Я тихонько хихикал, смущенно крутя пуговицу на жилете:

— Ах, оставьте.

— Ну конечно же вы! Зачем вы, право, так тратитесь?!

Избегая взгляда Мимозова, я махнул рукой и беззаботно ответил:

— Стоит ли об этом говорить!

Она схватила меня за руку.

— Значит, вы?

Вася Мимозов с искаженным страхом лицом приблизился и хрипло воскликнул:

— Это не он!

Хозяйка недоумевающе посмотрела на нас.

— Так, значит, это вы?

Лицо моего приятеля сделалось ареной борьбы самых разнообразных страстей: от низких до красивых и возвышенных.

Возвышенные страсти победили.

— Нет, не я, — сказал он, отступая.

— Больше никто не мог мне прислать. Если не вы — значит, он. Зачем вы тратите такую уйму денег?

Я поболтал рукой и застенчиво сказал:

— Оставьте! Стоит ли говорить о такой прозе. Деньги, деньги… Что такое, в сущности, деньги? Они хороши постольку, поскольку на них можно купить цветов, окропленных первой чистой слезой холодной росы. Не правда ли, Вася?

— Как вы красиво говорите, — прошептала хозяйка, смотря на меня затуманенными глазами. — Этих цветов я никогда не забуду. Спасибо, спасибо вам!

— Пустяки! — сказал я. — Вы прелестнее всяких цветов.

— Merci. Все-таки рублей двадцать заплатили?

— Шестнадцать, — сказал я наобум.

Из дальнего угла гостиной, где сидел мрачный Мимозов, донесся тихий стон:

— Восемнадцать с полтиной!

— Что? — обернулась к нему хозяйка.

— Он просит разрешения закурить, — сказал я. — Кури, Вася, Лидия Платоновна переносит дым.

Мысли хозяйки все время обращались к букету.

— Я долго добивалась от принесшего его: от кого этот букет? Но он молчал.

— Мальчишка, очевидно, дрессированный, — одобрительно сказал я.

— Мальчишка! Но он старик!

— Неужели? Лицо у него было такое моложавое.

— Он весь в морщинах!

— Несчастный! Жизнь его, очевидно, не красна. Ненормальное положение приказчиков, десятичасовой труд… Об этом еще писали. Впрочем, сегодняшний заработок поправит его делишки.

Мимозов вскочил и приблизился к нам. Я думал, что он ударит меня, но он сурово сказал:

— Едем! Нам пора.

При прощании хозяйка удержала мою руку в своей и прошептала:

— Ведь вы навестите меня? Я буду так рада! Mercі за букет. Приезжайте один.

Мимозов это слышал.

III

Возвращаясь домой, мы долго молчали. Потом я спросил задушевным тоном:

— А любишь ты детскую елку, когда колокола звонят радостным благовестом и румяные

детские личики резвятся около дерева тихой радости и умиления? Вероятно, тебе дорога летняя лужайка, освещенная золотым солнцем, которое ласково греет травку и птичек… Или первый поцелуй теплых губок любимой женщи…

Падая с пролетки и уже лежа на мостовой, я успел ему крикнуть:

— Да здравствует тайна!

Загадка природы

Предисловие

Всякий, кому довелось читать мои произведения, заметил, что все они проникнуты теплым, ярким светом недюжинного таланта и оригинальности. Я не помню ни одного своего рассказа, который не вызвал бы массы толков и восторженных похвал. Например, вчера: зашел ко мне приятель, с целью перехватить кое-что «до следующей среды». Получив деньги, он положил их в карман, похлопал меня по плечу и дружески сказал:

— Читал я на днях твою штучку… Ничего!

Да всего и не упомнишь!

Читатель обыкновенно замечает хорошие стороны писателя только тогда, когда поднесешь их ему под самый нос. Исходя из этого, я должен обратить внимание читателя на то, что во мне нет и в помине тривиальности и пошлости других жалких писак. Например, в нижеследующем рассказе я пишу о таких невероятных вещах, что всякий здравомыслящий читатель ни крошки не поверит, что это правда… Зная об этом, мои

презренные коллеги прибегают в таких случаях к невероятно пошлому и навязшему в зубах приему: они разглагольствуют о самых небывалых, невозможных вещах в продолжение всей повести и в самом конце вскользь упоминают об очевидце рассказанной им чепухи:

— Но тут он… проснулся!

Подумаешь, будто читатель без этого поверил бы всем выдуманными нелепостям. И автор, полагающий, что он — крайне хитрый, себе на уме человек, в тысячный раз ставит между «но тут он» и «проснулся» многоточие. Он уверен, что читатель, прочтя, «но тут он», все еще будет думать обо всем рассказанном как о голой правде, и слово «проснулся» застанет его врасплох, — изумленным и не подготовленным к ошеломляющему разоблачению автора.

Совсем не так поступаю я.

Нижеследующее покажется читателю неслыханным, странным и необъяснимым, но я утверждаю, что *все это было*, и малейший признак недоверия к рассказанному глубоко уязвит мою чуткую, впечатлительную душу.

* * *

Глубокой ночью сидел я в своем тихом уютном кабинете и писал для оккультного журнала статью о загробной жизни.

Фактов о загробной жизни у меня было столько же, сколько у любой торговки апельсинами, и это немало огорчало меня.

Приходилось фантазировать, что вовсе мне не по душе…

Написав несколько строк о том, что души покойников после смерти переселяются на верхушки стоящих около могил деревьев, занимаясь потом, при появлении живых родственников, печальным киванием этими верхушками, я недоверчиво пожал плечами и задумался.

— Вот, — говорил я сам себе, — за моей спиной в глубине кабинета висит женский скелет, подаренный мне приятелем… И этот нелепый, никому не нужный костяк знает о загробной жизни в сто раз больше меня, живого человека и царя природы… Я не пожалел бы остатка своей жизни за то, чтобы эта женщина открыла свои костлявые уста и приподняла хотя маленький краешек таинственной завесы загробной жизни.

Сзади послышался глухой вздох. Я вздрогнул и

насторожился.

— Ах! где я? — заскрипело что-то в глубине кабинета. — Какой это идиот осмелился меня повесить?

Я вскочил с глазами, готовыми от ужаса выпрыгнуть на пол, и обернулся к скелету. Обладательница его пошевелила рукой и приняла стыдливую позу Венеры, выходящей из воды. Я не мог отвести от нее испуганных глаз и стоял без единого звука, а она, наклонивши череп, застенчиво сказала:

— Ах! Не смотрите так на меня!

— Как — так? — машинально спросил я.

— Так... Все вы, мужчины, одинаковы. Вы, кажется, забыли, что я не одета. Ну, чего же вы стали, как столб? Пошевелитесь! Принесите скорее мне какую-нибудь простыню, да отцепите от этого проклятого гвоздя. Только не смотрите на меня, пока я не оденусь. У-у... Шалун.

Она погрозила мне костяшкой пальца и закуталась в поданное мной одеяло. Я снял ее с гвоздя, причем заметил, что она прижалась к моему плечу больше, чем это было нужно.

— Боже! — сказала она, запахиваясь в одеяло. — Я одна, в глухую полночь, в кабинете молодого мужчины... Надеюсь, вы не употребите во зло мое

безвыходное положение?

— Помилуйте, сударыня, — возразил я, незаметно отодвинувшись от нее. — Как вы могли подумать…

— Да, да… знаю я вас! Все вы сначала говорите одно и то же…

Оглядевшись, она взяла со стола скомканную бумажку, потерла ее о рыхлую землю цветочного горшка и стала пудрить свои белые костлявые скулы.

— Не смотрите на меня так! Я всегда чернею от смущения, когда мужчина смотрит на меня.

— Простите, — пробормотал я. — Я не буду смотреть…

— Вы не будете смотреть? — лукаво улыбнулась она страшным оскалом челюстей. — Разве я вам не нравлюсь?..

— О, помилуйте! Вы мне очень нравитесь… гм… Я очень *люблю* таких… худощавых дам!

Я бессовестно льстил ей, надеясь выведать у нее многое из того, что знала она и что было для меня таким недоступным.

Она же приняла мои слова за чистую монету. Почернела, потупилась и, подняв обе руки к черепу, воскликнула:

— Ах, какой вы кавалер! Скажите, пожалуйста…

У меня прическа не растрепалась?

— Нет! — совершенно искренно ответил я, так как прическа ее не могла растрепаться ни при каких обстоятельствах.

Она лукаво поглядела на меня пустыми глазницами, и я, собравшись с духом, сказал:

— Мадам!

— Что вы… — сконфузился скелет… — Я пока мадемуазель…

— Неужели? Простите, я не знал. Сударыня! У меня к вам есть большая просьба…

Скелет закутался плотнее в одеяло и захихикал:

— Ах, нет, нет! Что это вы… Ни за что!

— Что — нет? Я вас не понимаю, сударыня…

— Да, не понимаете… Все вы, мужчины, не понимаете!..

— Уверяю вас! У меня есть к вам важная просьба: расскажите мне что-нибудь о загробной жизни!

— Вы не знаете? — улыбнулась она, кокетливо помахивая кончиком ноги, выставившейся из-под одеяла. — Ах, это так интересно!.. Это страшно, безумно интересно!

— Да что вы! — обрадовался я — Так вы расскажете…

— Конечно, конечно! Вы себе и представить не можете, что там делается!.. Только… гм… и вы должны сообщить мне кое-что…

— О, сколько угодно!

Она наморщила надбровную дугу и деловито сказала:

— Merci. Скажите мне: что теперь носят?

Будучи уверен, что ее мысли заключены в узкий круг мертвецких похоронных интересов, я ответил, покачав головой:

— Носят? Да все. И мальчиков, и стариков, и цветущих женщин, и младенцев.

— Нет! я вас спрашиваю, что в этом сезоне носят?

— Холерных больше, — подумав, сказал я.

— Не-е-ет! Какой вы, право, непонятливый… Что у вас носят женщины? Ну, узкие рукава — в моде?

— Ах, так! Да, бывают узкие, — неопределенно ответил я.

— Вы не заметили — на груди есть складки?

— Складки? Иногда портнихи их, действительно, делают.

Она задумчиво покачала черепом.

— Гм… Так я и думала. А скажите… Как нынче юбки?

— Юбки? Черные шьют, красные, зеленые…

— Нет, нет… А фасон?

— Такой, знаете… обтянутый.

— Обтянутый?! Ага! Я всегда говорила, что к этому вернутся.

Она натянула на своих бедрах одеяло и повернулась передо мной.

— Так?

— Сударыня! — робко напомнил я. — Вы мне обещали о тамошнем кое-что порассказать…

— Да, да… Шляпки, конечно, по-прежнему большие?

— Большие. Сударыня, осмелюсь…

— Боже мой! Что вы от меня хотите?

— Вы обещали…

— Ага, простите! Что же вам рассказать?

— Все, подробно… Как там, вообще…

— Ах, вы и вообразить не можете. Надо вам сказать, что умерло нас трое: я, потом одна толстая лавочница и жена адвоката. На мне было белое платье с розовой отделкой, волосы зачесаны назад и на ногах…

— Сударыня!

— Ну? Не перебивайте! А жена адвоката… Можете представить: она была в черном шерстяном и в туфлях без каблуков… Ха-ха! Без каблуков!

Ха-ха-ха!

Она так расхохоталась, что закашлялась. Потом встала с кресла и, прохаживаясь перед зеркалом, продолжала:

— Ну вот, умираем мы… В тот же день с нами похоронили одного молодого чиновника… Длинный такой был, красивый. С усиками. Мне рассказывали, что на похоронах его была молодая женщина, плакавшая над гробом, и старик, который…

— Сударыня!!

— И старик, который все качал головой, глядя на него… Понимаете, седой весь… качает и качает головой! А молодая дама, можете представить…

— Сударыня!!

— Ну, что там еще?.. А потом говорили над его гробом речи. Какой-то толстый сказал: «Обнажим, говорит, наши головы перед прахом этого молодого человека»… Ужасно было трогательно.

— Сударыня!.. Я вас просил о загробной жизни, а вы…

— Ах, о загробной жизни? Чего же вы раньше не сказали… Загробная жизнь наша состоит в том, что…

Она остановилась перед зеркалом и повернулась к нему спиной.

— А сзади меня хорошо облегает?

— Хорошо! Так вы говорите, что загробная жизнь…

— Да!.. Она состоит в том, чтобы… Ах, досада! Никак я не могу спины увидеть…

Она повернула голову так, что затрещали позвонки.

— Загробная жизнь наша заключается в том, что мы…

Она свернула череп чуть ли не совсем на затылок… Неожиданно проволока, скреплявшая позвонки, лопнула, и голова с двумя позвонками глухо упала на ковер…

Моя собеседница зашаталась и рухнула, рассыпавшись грудой белых костей.

— Проклятая, болтливая баба! — злобно вскричал я, вытряхивая ее из одеяла.

* * *

Потом долго не мог успокоиться, шагая из угла в угол, и только под утро заснул тяжелым сном, томимый неразрешенной загадкой, которая почти давалась в руки:

— Что же, наконец, делается на том свете?

Дружба

Посвящается Марусе Р.

Уезжая, Кошкин сказал жене:

— Я, Мурочка, вернусь завтра. Так как ты сегодня собралась в театр, то сопровождать тебя будет вместо меня мой друг Бултырин. Он, правда, недалек и человек по характеру тяжелый, но привязан ко мне, и к тебе будет внимателен. Когда вернетесь домой, ты можешь положить его в моем кабинете, чтобы тебе не было страшно.

— Да мне и так не будет страшно, — возразила жена.

— Ну все-таки! Мужчина в доме.

А когда приехал Бултырин, Кошкин отвел его в угол и сказал:

— Друг Бултырин! Оставляю жену на тебя. Ты уж, пожалуйста, присмотри за ней. Сказать тебе откровенно, мне не больно нравятся разные молодые негодяи, которые, как только отвернешься, сейчас же вырастают подле нее. С тобой же я могу быть уверен, что они не рискнут нашептывать ей разные идиотские слова.

— Кошкин! — сказал сурово, с непреклонным

видом, Бултырин. — Положись на меня. Как ты знаешь, моя семейная жизнь сложилась несчастливо: жена моя таки удрала с каким-то презренным молокососом! Поэтому я уже научен горьким опытом и ни на какую удочку не поддамся.

Он бросил мрачный взгляд на сидевшую у рояля Мурочку и молча, многообещающе пожал руку Кошкина.

Кошкин уехал.

* * *

Одевшись, Мурочка стояла у трюмо, прикалывала шляпу и спрашивала следившего за ней беспокойным взглядом Бултырина:

— О чем вы шептались с Жоржем?

— Так, вообще. Он поручил мне быть все время около вас.

— Зачем? — удивилась Мурочка.

Бултырин рассеянно засунул в рот нож для разрезания книг и, призадумавшись, ответил:

— Я полагаю, он боится, нет ли у вас любовника?

— Послушайте! — вспыхнула Мурочка. — Если вы не можете быть элементарно вежливым, я вас сейчас же прогоню от себя и в театр поеду одна.

«Да! — подумал Бултырин. — Хитра ты больно… Меня прогонишь, а сама к любовнику побежишь. Знаем мы вас».

А вслух сказал:

— Это же он говорил, а не я. Я не знаю, может быть, у вас и любовника-то никакого нет.

Этими словами он хотел польстить Мурочкиной добродетели, но Мурочка надулась и на извозчика села злая, молчаливая.

Бултырин был совершеннейший медведь: в экипаж вскочил первый, занявши три четверти места, а когда по дороге им встретился Мурочкин знакомый, приветливо с нею раскланявшись, исполнительный Бултырин потихоньку обернулся ему вслед и погрозил кулаком.

Изумленный господин увидел это и долго стоял на месте, недоумевающе следя за странной парой.

Когда они вошли в вестибюль театра, Бултырин снял с Мурочки сак, огляделся вокруг и мрачно сказал, ухвативши ее за руку:

— Ну идем, что ли!

— Постойте… куда вы меня тащите? Оставьте мою руку. Кто же хватает за кисть руки?!

— А как надо?

— Возьмите вот так… под руку… И, пожалуйста,

оставьте свои нелепые выходки. А то я сейчас же уйду от вас.

Бултырин отчаянным жестом уцепился за Мурочкину руку и подумал:

«Врешь! Не сбежишь, подлая! А ругаться ты можешь, сколько тебе угодно».

Когда они сели на места, Мурочка взяла бинокль и стала рассматривать сидящих в ложах.

Хитрый Бултырин попросил у нее на минутку бинокль и, сделав вид, что рассматривает занавес, потихоньку отвинтил какой-то винтик в передней части бинокля, после чего хладнокровно передал его Мурочке.

«Посмотри-ка теперь!» — сурово усмехнулся он про себя.

Мурочка долго вертела бинокль, сдвигала его, раздвигала и потом, огорченная, сказала:

— Не понимаю! Только сейчас было хорошо, а теперь ни туда, ни сюда.

— Разве теперь мастера пошли? Жулики! — отвечал Бултырин. — Им бы только деньги брать. Возьмут, да вместо бинокля кофейную мельницу подсунут! Ей-богу!

В антракте Бултырину захотелось покурить.

«Оставить ее тут рискованно, — размышлял Бултырин, с ненавистью поглядывая на склонен-

ную Мурочкину голову. — В курилку за собой тащить неудобно… Хорошо бы запереть ее в какую-нибудь пустую ложу, а самому пойти выкурить папиросу… Да не пойдет. Навязалась ты на мою шею! Разве усадить ее в фойе на виду, а самому в уголку покурить, чтоб никто не видел?»

Он встал.

— Пойдем!

— Куда? Я здесь посижу.

— Нельзя, нельзя! Надо идти.

— Да отстаньте вы от меня! Идите себе куда хотите.

— Нет-с, я без вас не пойду…

— Пойдете! — злорадно сказала Мурочка. — Вот возьму и не сдвинусь с места!

Бултырин задумался.

— Сдвинетесь! А то скандал сделаю! Думаете, не сделаю? Ей-богу! Возьму да закричу, что поймал вашу руку в то время, когда вы за моим бумажником в карман полезли, или скажу, что вы моя беглая жена! Ага! Пока разберут — вы скандалу не оберетесь.

Мурочка с исковерканным от злости лицом встала.

— Какой же вы… негодяй! А этому идиоту Жоржу я завтра глаза выцарапаю. Пойдемте!

«Ты там себе ругайся, милая, сколько хочешь… — подумал торжествующий Бултырин. — Я ведь знаю, как обращаться с женщинами».

Но моментально веселое выражение сбежало с лица его. К ним приближался молодой человек в смокинге и, весело махая программой, приветливо улыбался Мурочке.

— А! Марья Констант…

— Виноват, молодой человек! — заслонил Мурочку Бултырин. — Вы бы стыдились в таком виде подходить к замужней даме. Человек еле на ногах стоит, а позволяет себе…

— Слушайте! Вы с ума сошли?!

— Проходи, проходи! Много вас тут… Смотрите на него, лыка не вяжет.

— Прежде всего — вы нахал! Я вас не знаю и хотел только поздороваться с госпожой Кошкиной…

Недоумевающая публика стала останавливаться около них. Заметив это, Мурочка сделала молодому человеку умоляющий жест и прошептала:

— Ради бога! До завтра… Заезжайте к мужу. Он объяснит; не подымайте сейчас истории!

Лицо Мурочки было красно, и на глазах блестели слезы. Пораженный молодой человек, пожав

плечами, поклонился ей и отступил, а Мурочка послала по направлению публики чарующую улыбку, взяла Бултырина под руку и ласково сказала:

— Проводите меня до уборной.

— Зачем?

— Какое тебе дело, подлец, — глядя на публику с ласковой улыбкой, прошептала Мурочка. — С каким бы удовольствием выщипала я по волоску твою бороду… Толстое животное!

— Ладно, ругайтесь! Пожалуй, пойдем в уборную… Только я видел взгляды, которыми вы обменялись с молодым человеком. Понимаем-с! В уборную я вас одну не пущу.

— Вы форменный идиот, — простонала тихонько Мурочка, — ведь уборная женская!

— Да… там, может, другой ход есть…

— Да сак-то мой и шляпа внизу, гнусный вы кретин?!

«Удерет она без сака или нет? — подумал Бултырин. — Пожалуй, не удерет».

— Ну идите! Я все равно у дверей сторожить буду.

Когда Мурочка вышла из уборной, она наткнулась на Бултырина, который подозрительно заглядывал в двери и о чем-то шептался с гор-

ничной.

— Едем домой! — решительно сказала Мурочка.

«Ага! Не выгорело с любовником», — злорадно усмехнулся про себя Бултырин.

— Пожалуй, едем!

Он уцепился за Мурочкину руку, свел Мурочку вниз, одел и, показав язык какому-то господину, смотревшему, не сводя глаз, на красивую Мурочку, — сел с нею на извозчика.

— Жаль, что пьесы не досмотрели, — любезно обратился он к ней, когда они поехали, — забавная, кажется, пьеска…

Мурочка с ненавистью взглянула на его простодушное лицо и сказала:

— Подлец, подлец! Дурак проклятый! Тупица!

— Чего вы ругаетесь? — удивился Бултырин.

— Вот же тебе, кретин: когда лягу спать, нарочно отворю окно в спальне и впущу любовника… ха-ха-ха!

— Нет, вы этого не сделаете, — хладнокровно сказал Бултырин.

— Почему это, позвольте спросить?

— А я возьму кресло, сяду в спальне и буду сторожить…

— Вы с ума сошли! Вы так глупы, что даже не

понимаете шуток!

— Ладно, ладно. Так и сделаю. А что?! Проговорились, да теперь на попятный? Ей-богу, сяду в спальне. Даром я, что ли, дал слово Жоржу?!

— Посмейте! Я позову дворников, они вас в участок отправят.

— А я скандал сделаю! Скажу, что я ваш любовник и вы меня приревновали к вашей горничной.

— Подлец!

— Пусть.

* * *

Свеча догорала, слабо освещая спальню… На кровати спала в верхней юбке и чулках Мурочка, покрытая простыней. Очевидно, она много плакала, так как тихонько во сне всхлипывала, и глаза ее были красны.

В углу, в мягком большом кресле сидел полусонный Бултырин и, грызя машинально вынутый из кармана винтик от бинокля, рассеянно поглядывал на спящую.

Красивая женщина

Гуляя по лесу, чиновник Плюмажев вышел к берегу реки и, остановившись, стал бесцельно водить глазами по тихой, зеркальной поверхности воды.

Близорукий взгляд чиновника Плюмажева скользнул по другому берегу, перешел на маленькую желтую купальню и остановился на какой-то фигуре, стоявшей по колено в воде и обливавшей горстями рук голову в зеленом чепчике.

«Женщина! — подумал Плюмажев и прищурил глаза так, что они стали похожи на два тоненьких тире. — Ей-богу, женщина! И молоденькая, кажется!»

Его худые, старческие колени задрожали, и по спине тонкой струйкой пробежал холодок.

— Эх! — простонал Плюмажев. — Анафемская близорукость... Что за глупая привычка — не брать с собой бинокля.

Он протер глаза и вздохнул:

— Вижу что-то белое, что-то полосатое, а что — хоть убей, не разберу. Ага! Вон там какой-то мысок выдвинулся в воду. Сяду-ка я под кустик

да подожду: может, подплывет ближе. Эхе-хе!

Спотыкаясь, он взобрался на замеченную им возвышенность и только что развел дрожащими руками густую заросль кустов, как взгляд его упал на неподвижно застрявшую между зеленью веток гимназическую фуражку, продолжением которой служила блуза цвета хаки и серые брюки.

— Ишь, шельма… Пристроился! — завистливо вздохнул Плюмажев и тут только заметил, что лежащий гимназист держал цепкой рукой черный бинокль, направленный на противоположный берег.

Гимназист обернулся, дружески подмигнул Плюмажеву и, улыбнувшись, сказал:

— А, и вы тоже!

«Подлец! Еще фамильярничает», — подумал Плюмажев и хотел оборвать гимназиста, но, вспомнив о бинокле, опустился рядом на траву и заискивающе хихикнул:

— Хе-хе! Любопытно?

— Хорошенькая! — сказал гимназист. — Одни бедра чего стоят. Колени тоже: стройные, белые! Честное слово.

— А грудь… А грудь? — дрожащими губами, шепотом осведомился Плюмажев.

— Прелестная грудь! Немного велика, но видно — очень упруга!

— Упруга?

Плюмажев провел кончиком языка по сухим губам и нерешительно произнес:

— Не могли ли бы вы… одолжить мне на минутку… бинокль!

Гимназист, не отнимая от глаз бинокля, отрицательно замотал головой:

— Э, нет, дяденька! Этот номер не пройдет! Надо было свой брать.

Плюмажев протянул дрожащую руку.

— Дайте! На минутку.

— Ни-ни! Даром, что ли, я его у тетки из комода утащил! Небось, если бы у вас был бинокль, вы бы мне своего не дали!

— Да дайте!

— Не мешайте! Ого-го!

Гимназист поднялся вперед и так придавил к глазам бинокль, что черепу его стала угрожать немалая опасность.

— Ого-го-го! Спиной повернулась… Что за спина! Я, однако же, не думал, что у нее такой красивый затылок…

Лежа рядом, Плюмажев с деланым равнодушием отвернулся, но губы его тряслись от тайной

обиды и негодования.

— В сущности, — начал он срывающимся, пересохшим голосом, — если на то пошло — вы не имеете права подглядывать за купальщицами. Это безнравственно.

— А вы у меня просили бинокль! Тоже!.. Самому можно, а мне нельзя.

Плюмажев помолчал.

— Захочу вот — и отниму бинокль. Да еще приколочу. Я ведь сильнее…

— Ого! Попробуйте отнять… Я такой крик подниму, что все дачники сбегутся. Мне-то ничего, я мальчик — ну выдерут в крайнем случае за уши, а вот вам позор будет на все лето. Человек вы солидный, старый, а скажут — такими глупостями занимается… Теперь она опять грудью повернулась. Живот у нее… хотите, я вам буду рассказывать все, что видно?

— Убирайся к черту!

— Сам пойди туда! — хладнокровно возразил гимназист.

— Грубиян…

— От такого слышу.

Плюмажев заскрежетал зубами и решил — наградивши мальчишку подзатыльником — сейчас же уйти домой, но вместо этого проглотил слю-

ну и обратился к гимназисту делано-ласковым тоном:

— Зубастый вы паренек… Вот что, дорогой мой: ежели не хотите одолжить на минутку, то… продайте!

— Да… продайте… А тетка мне потом покажет, как чужие бинокли продавать!

— Я уверен, молодой человек, — заискивающе сказал Плюмажев, — что тетушка ваша и не подумает на вас! Теперь прислуга такая воровка пошла… Я бы вам полную стоимость сейчас же… А?

Лицо гимназиста стало ареной двух противоположных чувств. Он задумался.

— Гм… А сколько вы мне дадите?

— Три рубля.

— Три рубля? Вы бы еще полтинник предложили. Он в магазине 8 стоит.

Гимназист с презрением повел плечом и опять обратился к противоположному берегу.

— Ну вот что — 5 рублей хотите?

— Давайте десять!

— Ну это уж свинство. Сам говорит, что новый восемь стоит, а сам десять дерет. Жильник!

— Мало ли что! Иногда и двадцать отдашь… Вот… теперь она наклонилась грудью! Заме-

чательно у нее получается сзади… Перешла на мелкое место и видны ноги. Икры, щиколотки, доложу вам, замечательные!

Раньше гимназист восхищался бесцельно. Но теперь он делал это с коммерческой целью, и восторги его удвоились.

— Эге! Что это у нее? Ямочки на плечах… Действительно! А руки белые-белые… Локти красивые! И на сгибах ямочки…

— Молодой человек, — хрипло перебил его Плюмажев, — хотите… я вам дам восемь рублей…

— Десять!

— У меня… нет больше… Вот кошелек… восемь рублей с гривенником. Берите… с кошельком даже! Кошелек новый, три рубля стоил.

— Так то новый! А старый — какая ему цена — полтинник!

Плюмажев хотел возразить, что сам гимназист, однако же, ломит за старый бинокль вдвое, — но втайне побоялся: как бы мальчишка не обиделся.

— Ого! Стала спиной и нагнулась! Что это! Ну конечно! Купальный костюм расстегнут и…

— Слушайте! — перехватывающимся от волнения голосом воскликнул Плюмажев. — Я вам дам, кроме восьми рублей с кошельком, — еще перо-

чинный ножичек и неприличную открытку!

— Острый?

— Острый, острый! Только вчера купил!

— А папиросы у вас есть?

— Есть, есть. По… зволите предложить?

— Нет, вы мне все отдайте. А! Кожаный портсигар… Вот — если папиросы с портсигаром, ножичек, открытку и деньги — тогда отдам бинокль!

Плюмажев хотел выругать корыстолюбивого мальчишку, но вместо этого сказал:

— Ну ладно… Только вы мне пару папиросок оставьте… на дорогу…

— Ну вот новости! Их всего шесть штук. Не хотите меняться — не надо.

— Ну, ну… берите, берите… Вот вам: можете пересчитать: восемь рублей десять копеек! Вот ножичек. Слушайте… А она… не ушла?

— Стоит в полной красе. Теперь боком. Нате, смотрите.

Гимназист забрал все свои сокровища, радостно засвистал и, игриво ущипнув Плюмажева за ногу, скрылся в лесной чаще.

Плюмажев плотоядно улыбнулся, приладил бинокль к глазам и всмотрелся: на песчаной отмели перед купальней в полосатом купальном костю-

ме стояла жена Плюмажева Марья Павловна и, закинув руки за голову, поправляла чепчик.

У Плюмажева в глазах пошли красные круги… Он что-то пробормотал, в бешенстве размахнулся и швырнул ненужный бинокль прямо в воду.

* * *

До моста, по которому можно было перейти на тот берег, где стояла его дача, предстояло идти версты три…

Ноги ныли и подгибались, смертельно хотелось курить, но — папирос не было…

Поездка в театр

Ловким, грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку Миловидову на площадку трамвая, а потом, вслед за ней, так же грациозно вскочил и сам.

А Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайно удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений, прекрасных и захватывающе интересных.

— Пардон-с, пардон-с, — вежливо, но твердо говорил он стоявшей в проходе публике, — позвольте даме пройти вперед!

У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а развеселившись, она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него, сильного и умного Колю Кинжалова.

— Господа, пардон! Позвольте даме пройти вперед и, ради бога, не толкайтесь.

Вагон неожиданно остановился.

Сделав испуганное лицо, Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке, пребольно наступив ему на ногу.

Господин встрепенулся, столкнул с себя Колю и сурово сказал:

— О, чтобы тебя черти взяли! Медведь!

Сердце Коли Кинжалова колыхнулось и провалилось куда-то далеко, далеко…

Он сразу, с ужасающей ясностью, почувствовал, что сейчас, после этого оскорбления, должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже не поправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр, новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова — его первая благоуханная любовь.

Он оставил руку Лизочки, обернул свое пылавшее пожаром лицо к господину в меховой куртке и тонким, срывающимся голосом, чувствуя за спиной Лизочку, вскричал:

— То есть… Это кто же медведь?!

— Вы — медведь, черти бы вас разорвали! Своей лапой вы совсем в лепешку расплющили мою ногу!

«Сейчас надо ударить, — лихорадочно-быстро пронеслось в голове Коли Кинжалова. — Кулаком или ладошкой? Ладошкой лучше, потому что это считается пощечиной… Благороднее и оскорбительнее…»

Коля вынул правую руку из кармана и дрожащим голосом сказал:

— Если вы смеете оскорбляться, то я… смею драться! Я вам покажу сейчас.

Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу: в таких случаях обыкновенно не разговаривают.

— Вы у меня узнаете, как оскорбляться!

— Чего-с?!

Господин вскочил, двинулся на Колю, и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову.

— За такие оскорбления бьют… — болезненным шепотом вырвалось у Коли.

— Неужели? — иронически протянул вскочивший, расстегивая меховую куртку. — Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку, как паршивого зайчонка! А?!

Кто-то из публики, с наслаждением дожидавшейся начала драки, засмеялся.

Мастеровой в издерганной шапчонке восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул:

— Бейтесь, братцы!

Истинный художник — он интересовался не результатом дела, а его процессом.

Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах Коли Кинжалова незабываемые на всю жизнь слова:

— Красные ушонки… паршивый зайчонок…

Падая в бездну, Коля, сам не зная для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал:

— Нет… этого я так не оставлю…

Но тот уже странно, устало сгорбился, с оскорбительным равнодушием зевнул в самое лицо Коли и небрежно обратился к кондуктору:

— Конюшенная скоро?

— Сейчас остановка.

Господин стряхнул с себя Колину руку и, насвистывая, направился к выходу.

Коля шел за уходящим, цеплялся за его меховую куртку и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства:

— Нет, вы так не уйдете… Вы меня оскорбили…

— Ну! — угрожающе обернулся тот. — Что нужно?!

— Вы ругались, вы оскорбляли меня, хорошо

же…

Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой — неуклюже шарил в смокинге одеревеневшими пальцами бумажник.

— Ага… Вот! Если вы порядочный человек!

Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного и скверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает, как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами.

— Это что еще за комедия?

— Это не комедия… это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль!

— На дуэ-эль?!

Господин, не читая, потрепал карточку по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно:

— Ду-рак!

И вышел на площадку, ловко соскочив потом со ступеньки, еще до остановки вагона.

Коля двинулся вслед за ним и, перевесившись через перила, закричал:

— А, что, испугался, негодяй?! То-то! А то бы я переломал твои кривые ножонки! Трус, трус, подлец!

Странно: Коля Кинжалов сделал, кажется, все, что полагалось порядочному человеку, но возвращался он к Лизочке со странным и неприятным ощущением высеченного человека.

И она его встретила странно: отдернула руку и нервно сказала:

— Садитесь уж!.. Вон свободное место.

Ехали молча.

Коля пожевал губами, проглотил обильную слюну и непринужденно начал:

— Его счастье, что удрал!.. А то бы…

Потом небрежно улыбнулся:

— Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только… Ха-ха! С более печальным для того человека исходом… Сажусь я тоже таким же родом в трамвай и, представьте…

Коля говорил нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя публика.

— Сажусь я в трамвай и, представьте…

Сосед Лизы, отставной военный, улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе:

— Жаль только, что в Ялте нет трамвая!

Восторженный мастеровой захохотал. Усмехнулись и другие.

Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто.

— То есть, не трамвай… а этот самый… как его…

— Дирижабль? — подсказал кто-то из угла.

Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся и пошутил:

— Ну вот… вы еще скажите: воздушный шар! Да… сажусь в дилижанс, а он меня как-ак толкнет! «Извинитесь!» — «Не желаю». — «Извинитесь!» — «Не желаю». — «Ага… не желаете?» — Схватил я его, да в запертое окно — трах! — и выбросил. Двенадцать рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло! Хе-хе-хе…

Все сконфуженно молчали.

Толстый купец, сосед Коли, закашлялся и, наклонившись, сплюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок Коли и застыл на нем.

Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля, в свою очередь, чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка, но, вместо того чтобы потребовать от купца извинения, он потихоньку пододвинул ногу под скамейку и угрюмо, злобно проговорил:

— А то еще был со мной такой забавный слу…

— Ладно, пойдем, — нервно вскочила Лизочка. — Нам здесь сходить.

* * *

Коля Кинжалов и Лизочка, съежившись под мелким дождем, молча шли к театру.

Коля ненавидел и театр, и ботинки, и Лизочку, и себя — главным образом себя.

Сзади их кто-то догонял.

Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из тьмы, остановился около электрического фонаря и, подойдя боком к Коле, негодующе и презрительно ткнул пальцем в его щеку.

— Эх, ты! Курица… Туда же… Отчего ты не свистнул ему по уху? Интеллигенты!

Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся во тьме.

А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь присутствия Лизочки, беззвучно плакал.

Настоящие парни

Глава I

ЗНАКОМСТВО

— Чуть-чуть не упал!

— Чуть-чуть не считается.

Этими знакомыми каждому биллиардному игроку тривиальными возгласами обменялись двое играющих: маркер и приятный господин, с быстрыми черными глазами и уверенными манерами.

Я выждал, пока они кончили партию, и, поклонившись приятному господину, сказал:

— Не желаете ли со мной одну?

— Пожалуйста. В «пирамидку», по 5 рублей.

— Сделайте одолжение.

Чувствуя к нему непобедимую симпатию, я ласково улыбнулся и стал выбирать кий.

Первую партию я проиграл. С добродушной приветливостью он согласился на вторую, которую проиграл я же. Потом ему, очевидно, неловко было отказывать мне в продолжении игры, и я проиграл девять партий, заплатив все, что было

у меня в бумажнике.

Господин смотрел на меня очень сочувственно, и, когда я снял с пальца бриллиантовое кольцо, он долго уговаривал меня не делать этого.

Но во мне заговорил игрок. Это воображаемое беспокойное существо заговорило во мне так сильно, что после кольца пришлось заткнуть ему глотку золотыми часами и двумя брелоками.

После этого игрок во мне уже не говорил, а вопил благим матом.

Я обшарил карманы и, не найдя в них ничего, кроме мелочи, решительно подошел к вешалке.

— Пальто! — предложил я.

Он ответил лаконически:

— Нет. Холодно. Замерзнете.

Дрожа от нетерпения, я сжал лихорадочными руками голову.

— Вот что… У вас есть слуга?

— Нет! — сказал он, смотря на меня.

— Ставлю месяц своих услуг у вас, в качестве камердинера или чего другого, — против двадцати пяти рублей.

Наморщив брови, господин решительно подошел ко мне.

— Покажите руки! Ого… Мускулы есть. Работать все умеете? Неприхотливы? Сигар воровать

не будете? Ладно. Месяц службы у меня идет в двадцати пяти рублях. Пища моя.

Я старался играть как можно осторожнее и лучше, но он играл с диким вдохновением и выиграл у меня эту партию так же, как предыдущие, — очень быстро.

Я хотел предложить еще месяц службы, но он бросил кий и строго сказал:

— Баста! В качестве хозяина запрещаю вам предлагать мне продолжение игры. Как вас зовут?

— Григорием, — почтительно ответил я.

— Ладно. Я тебя буду называть Гарри. Гарри! Возьми платяную щетку и счисти с меня мел.

Я почистил его платье, подал пальто, и мы вышли, незнакомые еще друг с другом, чужие…

Я был молчалив и шагал сзади, усталый, перемазанный мелом, а он, легкой молодцеватой походкой, шел впереди, насвистывая прекрасный мелодичный мотив.

Мы пришли в лучшую гостиницу города. Непосредственно за этим очутились в прекрасном номере из двух комнат, служившем, очевидно, моему хозяину временной квартирой.

Я снял с него пальто и остановился у дверей.

Он развалился на диване, забросил ноги на его

спинку и сказал:

— Гарри!

— Что угодно?

— Ты мне нравишься, Гарри. Сегодня я хочу поужинать с тобой, причем разрешаю держать себя со мной как с равным. Слуга на сегодня — к черту!

Я подошел к другому дивану, лег на него, задравши ноги, и весело сказал:

— А каким ужином ты бы меня, милый человек, накормил? Э?

— Позвони, пожалуйста, мы сейчас обсудим это с метрдотелем. Кнопка у дверей.

— Позвони, пожалуйста, лучше ты. Я дьявольски устал. Кнопка у дверей…

* * *

Через десять минут мы сидели за прекрасным, обильным ужином. Мой хозяин, которого на сегодня мне было разрешено называть Мишей, был мил, добродушен и джентльменски вежлив.

— Гарри! — повторял он, наливая мне вина. — Ты настоящий парень.

В знак благодарности я небрежно кивал головой.

— Может, ты, Гарри, интересуешься знать, кто

я такой? Я, брат, уфимский помещик Михаил Петрович Дыбин. Да… Помещик я. Две тысячи десятин земли, имение, мельница, образцовый питомник.

Я равнодушно зевнул.

— Две тысячи? Удобной много?

— Много.

Он помолчал, подлил мне вина и потом, положив свою руку на мою, весело воскликнул:

— Нравишься ты мне, Гарри! Ты — настоящий парень. Знаешь, Гарри, соврал я тебе. Никакой я не помещик, и земли у меня удобной нет. В этом смысле вся земля нашей планеты для меня неудобная, потому что не моя. Меня смешит: откуда это я про питомник взял? Скажешь и сам не знаешь, как это оно вышло.

— Ничего, Миша, — улыбнулся я. — Ты меня не обидел этим.

Мы чокнулись.

— Да, брат. Где там быть мне помещиком… Живу я с того, что имею в Тифлисе дом. Купец я. Домина доходный, на Арнаутской улице… Только управляющий жулик.

— А ты его прогони, — посоветовал я, разрезая рябчика.

— Прогоню, — пообещал Миша.

Потом, выпив залпом стакан хереса, он хлопнул меня по плечу и залился хохотом.

— Гарри! А ведь это я тебе соврал. Врешь вот и сам не знаешь — зачем? Никакой я не купец и не помещик, и дома у меня нет, и насчет управляющего я не имею права сказать дурного слова, потому что управляющего-то нет… Гарри! Ты, я вижу, стоящий парень и без предрассудков… Знаешь, кто я?

— Генерал от инфантерии? — добродушно спросил я.

— Вор, Гарри, самый настоящий профессиональный вор! Но я этим, Гарри, не горжусь. Гордость — скверное мелкое чувство ничтожных натур!

Он закатился хохотом.

— Тогда, — сказал я, вставая, — я должен перед тобой извиниться… Я принимал тебя, признаться, за человека другого склада. Если так, то получай.

Я вынул из своего кармана золотые часы с его монограммой и жемчужную булавку, которая во время игры украшала его галстук.

Он удивленно посмотрел на меня, схватился за карман, за галстук и потом крепко пожал мою руку.

— Спасибо. В таком случае я, по справедливо-

сти, должен вернуть тебе твое кольцо и часы. Потому что, хотя они тобой и проиграны, но, главным образом, потому, что я тихонько переложил пару твоих шаров к себе.

— Каких? — спросил я деловым тоном.

— 14 и 10.

— Гм… Тогда я отбираю, конечно, часы. Потому что, хотя я тоже переложил к себе, когда ты зазевался, два твоих шара, но это были 9 и 7. Разница в мою пользу.

Мы помолчали.

— Ты, однако, хорошо устроился!

— Опыт, Гарри, опыт! Когда я приезжаю в какой-нибудь город — мне нужен только тяжелый чемодан и три рубля. Я еду в лучшую гостиницу и, первым долгом, ни с того ни с сего бросаю швейцару на чай последние три рубля. Затем требую самый дорогой номер. По гостинице разносится дураком-швейцаром слух, что приехал дьявольский богач. Непосредственно затем я спускаюсь в ресторан при гостинице, требую ужин, вина, фруктов, сигар — так, рублей на двадцать. Это для того, чтобы сразу задолжать хозяину, и ему будет жаль потом со мной расстаться. Эти дураки всегда льстят себя надеждой получить долг. Ну а потом… когда мне больше невмоготу — я бросаю

свой чемодан на произвол судьбы и еду в другую гостиницу.

Он добродушно улыбнулся.

— Из всех кирпичей, которые после моего отъезда обнаруживались в чемоданах, можно было бы к моему юбилею построить небольшой, но доходный домик, хотя бы на Арнаутской улице.

Мы проболтали до поздней ночи.

Ложась спать, хозяин сказал мне:

— Гарри! Ты любишь женщин?

— Женщины — зло! Но я никогда не желал себе добра.

— Гарри! Недавно я вступил с одной рябой кухаркой в преступную связь. Меня, нужно тебе сказать, привлекает не приятная шероховатость ее лица при поцелуях, а ее господа, и, главным образом, те маленькие штучки, которые лежат в столике спальной комнаты госпожи.

— Я тебе нужен? — серьезно спросил я.

— Да. Завтра господа уезжают в театр или еще куда-то. Пока я буду предаваться с кухаркой изнеженности нравов, ты можешь совершить поступок, недостойный джентльмена, — войти в спальню честной женщины.

— Сделано, — пообещал я, засыпая.

Я спал спокойно. Мне и не грезились те стран-

ные, непостижимые, неожиданные вещи, которые случились со мной сутки спустя...

Глава II

ДЕЛО

Притворяясь лихим, веселым парнем без предрассудков, я должен сознаться, что втайне страшно побаиваюсь: а что, если читатель отнесется ко мне не с благосклонной улыбкой, а с отвращением и гадливостью?..

Мне это было бы ужасно больно.

Поймете ли вы меня, когда я скажу, что у меня не поднялась бы рука убить муху... Но если бы у той же мухи звенел в кармане кошелек и по желтому брюшку змеилась часовая цепь — я, не задумываясь, лишил бы собственницу этих сокровищ времени и денег.

Будь это американская муха, она была бы ужасно огорчена пропажей, потому что уж это известно: для американцев дороже всего время и деньги.

Если вдуматься в мое поведение серьезно, то ничего особенно предосудительного в нем и не было... Дебютировал я бумажником одного солидного на вид господина. Но наружность

обманчива! Целый вечер я потерял на чтение глупейших любовных писем, среди которых довольно сомнительную ценность представляла просроченная ломбардная квитанция... И золотые часы, вытащенные вскоре после этого у другого господина, оказались самой наглой возмутительной подделкой. Рассмотрев их хорошенько, я немедленно вручил эту машину незнакомому мальчишке, уронившему на улице бутыль с молоком и оравшему так, будто он расколол себе череп.

Исполнив свой долг и оправдавшись перед читателями, перехожу к вечеру следующего за нашим знакомством с Дыбиным дня.

* * *

— Гарри! — сказал мне Дыбин, когда мы шагали к предмету его пылкой привязанности — кухарке, носившей на лице пустяковые остатки черной оспы. — Ты не осуждаешь меня за связь с женщиной не нашего круга?

Я протянул ему руку:

— Нет, Миша! Ты должен только возвысить ее до себя.

— Ладно. Только, если я не ухитрюсь проделать это сегодня, — я вообще не сделаю этого,

потому что сегодня мне хочется провести то, что банковские деятели называют: ликвидация предприятия.

Когда мы вошли в кухню, то были встречены с тем энтузиазмом и пылкостью, которые приобретаются лишь долголетним дежурством у плиты.

У кухарки была гостья — прачка из ресторана, но это наших планов не портило.

Дыбин взял меня под руку и, расшаркавшись перед дамами, сказал:

— Хотя в свете не принято приводить к очаровательным хозяйкам друзей, которые могут отбить этих хозяек (мелодичный визг кухарки и хихиканье прачки), но я взял на себя такую смелость, потому что это — мой лучший друг. Он пять раз спасал меня от смерти, не говоря о том, что вынянчил меня! Что? Вы говорите, он моложе меня? Сударыни! Где кричит привязанность, там годы безмолвствуют, как говорил старик Смит и Вессон! Занимая скромную должность полотера в монакском посольстве, друг мой сохранил до сих пор ясность мысли и здравость суждений, в чем легко можно убедиться, даже не дотрагиваясь до него руками.

Речь Дыбина лилась, как рокочущий весенний ручей, и дамы не сводили с оратора затуманен-

ных восторгом и преклонением глаз.

Я поклонился с той скромностью, которая выгодно отличала меня в отношениях с людьми, и, подойдя к прачке, благожелательно ущипнул ее за локоть.

Такой галантный прием вызвал из уст прачки легкое восклицание восторга. Она кокетливо хлопнула меня по плечу подносом, который до этого застенчиво вертела в руках, и мы сразу почувствовали себя легко и свободно.

Сели, и разговор с житейских и общественных — перешел на литературные темы.

— Вы читали «Ника Картера»? — спросила меня прачка, поправляя в волосах элегантный цветок из красной папиросной бумаги.

— Не удосужился еще. Теперь я занят штудированием многотомного труда «Путешествие Пипина Короткого к истокам африканской реки Какао-Шуа». Штучка, достойная удивления.

— Не скажу, — поморщился Дыбин. — Лучшие труды по этому вопросу принадлежат не Бетховену, а Святополку Окаянному.

Потом мы пили чай. А когда кухаркины господа уехали и наверху воцарилась тишина — мы стали танцевать.

Вальс танцевали томно и страстно, под зауныв-

ный, исполненный прачкой, мотив:

— Тралла-ла-ла-ла…

А потом с огоньком и завидным оживлением протанцевали кадриль.

Дыбин на мотив «По дорожке зимней, скучной» пел «Прибежали в избу дети».

Особенное веселье и бешеная пляска шла под слова:

Безобразный, труп ужасный
Посинел и весь распух…

А после слов:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились, —

я так развеселился, что сделал, к восторгу дам, замысловатое сальто-мортале.

Усталые, мокрые, сели ужинать и за ужином пили наливку. А потом я встал и печально, но твердо сказал:

— Мне пора!

— Нет уж, посидите еще, — умоляюще попросила кухарка.

Прачка придавила под столом мою ногу и со вздохом сказала:

— Конечно. Мы понимаем. Их ждут дамы в

шляпках. Где нам!

— Сударыня! — вскричал я. — Поверьте: ваш образ навсегда зафиксируется в моем сердце. Кроме вас, у меня нет ни одной дамы. Были, но… «Одних уж нет, а те далече», как некогда остроумно выразился Сади Карно… Сударыня… Пожалуйте мне эту розу с ваших волос… Я засушу ее в книжечке для записи расходов.

У кухарки я вежливо поцеловал руку, чем привел ее в восторженное замешательство, а с прачкой дружески и тепло расцеловался… Две чистых, прозрачных слезинки дрожали на ее синих глазах.

Кухарка встала, чтобы выпустить меня в парадную дверь, но Дыбин ласково обнял ее и решительно сказал:

— Нет, моя жизнь… Ты устала, и тебе нужно отдохнуть. Я сам его выпущу. Кроме того, мне нужно сказать ему на прощанье несколько слов, о которых вам, женщинам, нельзя знать.

Он беззаботно потрепал кухарку, тронутую его заботливостью, по спине и вышел со мной в переднюю.

— Ну Гарри, действуй! Шагами можешь не стесняться, так как я сейчас начну орать песни; только обламывай дельце скорее, потому что

те могут вернуться каждую минуту. Дай я тебя поцелую!

Я тихонько снял ботинки и пиджак и пошел по лестнице наверх, в комнаты хозяев, а Дыбин открыл парадную дверь, сказал громко «До свидания!» и, захлопнув ее, вернулся в кухню.

* * *

Я бесшумно крался по комнатам и, пройдя столовую и кабинет, без труда нашел спальню хозяев. Другая дверь из нее вела в уборную, в которой горел слабый ночник. Я оставил ботинки и пиджак в уборной, вернулся в спальню и решительно приступил к запертой шифоньерке, где, по словам Дыбина, лежало многое из того, что могло потом скрасить нашу неприхотливую жизнь.

Дыбин не ошибался.

Когда карманы мои оттопырились, я аккуратно задвинул ящик и уже сделал шаг к уборной за ботинками, как внизу послышался звонок, потом шаги кухарки и голоса.

Не скажу, чтобы я испугался. Мне было как-то неловко… Сейчас хозяйка дома застанет в спальне меня, смущенного, сконфуженного и незнакомого ей человека… Чем я могу оправдаться? Э, черт возьми! Да там и мужской голос?!

Неужели это муж?!

Не рассуждая, я прислушался к приближавшимся шагам и юркнул под монументальную кровать, стоявшую в углу.

До меня донесся шорох шелковых юбок, тихие мужские шаги и голоса:

Женский. Знаешь, Сережа, мой уважаемый супруг, вероятно, удивлен, что я за последнее время не устраиваю ему сцен за позднюю карточную игру!

Мужской. Ха-ха! Как ты ухитрилась сплавить его из театра?

Женский. Сказала, что мне нужно отдать кухарке распоряжение и, кроме того, написать письма двум институтским подругам. Он и уехал с этим идиотом Крышкиным!

Я высунул голову из-под кровати и взглянул на разговаривающих. Он был без сюртука, а она с голыми руками и грудью, что заставляло жестоко страдать мое врожденное целомудрие…

Глава III

РАЗВЯЗКА

В делах любовного характера я никогда до

сих пор не играл позорной, пассивной роли, которая выпала теперь на мою долю… У дамы были круглые, гибкие руки, смутной белизной мелькнувшие передо мной, когда она стягивала со стройной ноги черный чулок… Но эти руки должны были обвиться не вокруг моей, а вокруг посторонней мне шеи… Когда дама отошла к туалетному столику, на котором горела свеча, — свет свечи упал сзади на прозрачную сорочку, и контуры голого тела красавицы рельефной тенью обрисовались передо мной… Но эта тонкая талия должна была сжаться не моими руками… Стройные, прекрасные бедра, молодая расцветшая грудь, черные, глубокие глаза — все это было не мое, и у меня поэтому в душе стало подыматься глухое чувство недовольства против ее наглого обожателя.

Я считал его виновным во всем.

Своим несвоевременным появлением он подвел меня самым бессовестным образом…

Он явился с чужой женой, и я, несмотря на всю свою неиспорченность, догадывался, что он поставил себе твердой целью сделать энергичное покушение на права несчастного мужа.

Наконец, он своим идиотским смехом и тихими поцелуями будил во мне нехорошие чувства,

которые, может быть, без этого дремали бы себе да дремали.

Когда он подошел к кровати и его нога очутилась около моего носа, я даже хотел ущипнуть его за эту противную, тощую конечность, но благоразумие отдернуло мою руку, тем более что снизу донесся какой-то шум и голоса.

Дама прислушалась… Потом, в ужасе, неожиданно воскликнула:

— Боже ты мой! Муж… Мы погибли.

В таких случаях все жены и их обожатели почему-то уверены, что «они погибли», хотя все дело обыкновенно кончается несколькими подзатыльниками по адресу любовника и парой-другой упреков, несмело брошенных жене. Жена доказывает, что виноват, в сущности, муж, и это так удручает законного владыку, что он забывает пустить обожателю вслед каминные часы или прибор для снимания ботинок. Так что украшение щекотливого положения любовников эффектной фразой «мы погибли» лишний раз доказывает пустоту и вздорность всех влюбленных.

Лежа под кроватью, я услышал шаги обожателя, юркнувшего в уборную, где лежал мой пиджак, шаги мужа, приближавшегося к спальне, и лег-

кий прыжок в кровать — жены, у которой зубы стучали от совершенно бессмысленного страха.

— Ты не спишь, Маруся? — спросил муж, входя и приближаясь к кровати.

— Не сплю, мое сокровище.

— Отчего ты так бледна, моя жизнь?

— Ничего. Здесь холодно.

— Что ты! Здесь африканская температура!

— Неужели? Значит, мне жарко.

— Но ты дрожишь… Эге-ге!! Что это за мужская шляпа здесь на стуле?!!

— Жан! Это недоразумение! Клянусь тебе…

Я решил, что мне время начать действовать.

Стараясь сохранить независимый вид, я выполз из-под кровати, сложил на груди руки и печально, но твердо сказал:

— Нет, Жан. Это не недоразумение!..

Муж отшатнулся от меня. Жена вскрикнула и спрятала в ужасе голову под одеялом.

— Да… Я ее любил и люблю. Но, умоляю вас, не обрушивайте свой гнев на эту кроткую страдалицу! Я виноват один. Если хотите, я дам вам всяческое удовлетворение.

— Негодяй! Вы осмеливаетесь…

— Сударь! — твердо сказал я. — Вы можете убить меня, но не оскорблять. (Втайне я пред-

почел бы обратное.) Я ее любил… Но разве это вина? Где корень любви?.. Спросите цветок, оживающий под лучами росистого утра, спросите птичку…

— К черту птичку! — заревел обиженный супруг.

— Правда, если вы желаете, — это пернатое может быть удалено из ряда метафор без ущерба для доказываемой мной аксиомы…

Моя солидная, внушительная речь стала, очевидно, действовать на мужа. Этот безумец начал успокаиваться.

Но жена высунула из-под одеяла голову и вскричала, закрывая лицо руками:

— Жан! Поверишь ли ты мне, когда я тебе поклянусь, что не знаю этого господина?!

— Маруся! — сурово сказал я. — Надо быть мужественной. Мы обманывали твоего уважаемого мужа, но мы же должны найти в себе смелость и сознаться в этом.

— Но я вас не знаю! Это что-то удивительное… Как вы сюда попали?

— Я? Маруся! Неужели ты и сейчас будешь обманывать этого достойного человека?.. У меня и раньше было тяжело на душе, когда ты уверила его, что едешь отдать распоряжение кухарке и

написать ненаписанные письма мифическим подругам… кроме того, ты непочтительно отозвалась о симпатичном приятеле твоего мужа Крышкине, назвавши его идиотом.

— Сударыня! — угрюмо сказал муж. — И вы еще осмелились называть Крышкина идиотом?!

— Да… Вы осмелились?! — с ноткой возмущения в голосе поддержал я.

— Жан! Я схожу с ума! Он мне совершенно незнаком…

— Мужчина без сюртука в вашей спальне? — вскричал муж.

— Да… И вы в стороне?! Имейте мужество…

Лучшим выходом из положения сбитой с толку дамы было — залиться слезами, каковой жидкостью она и не замедлила залиться.

Я сказал:

— Итак, я к вашим услугам. Вот моя карточка. Разрешите мне надеть в уборной мой сюртук…

Он сел на кровать и сделал усталый жест.

Я сунул ему в руку карточку моего портного, посмотрел укоризненно на плачущую жену и вошел в уборную.

В полутьме мне бросилась в глаза жалкая, скрюченная фигура, прятавшаяся за рукомойником.

Снятый ранее в спальне сюртук валялся тут же

на столике.

Испуганный обожатель приподнялся и сделал мне умоляющий жест.

— Что вы наделали! Я погиб! — прошептал он.

Я ответил наставительно, тоже шепотом:

— Надо быть нравственнее. Разврат к добру не ведет, молодой человек.

— Вы… уходите?

— А что же мне здесь… В кошки-мышки играть, что ли?

— А… я?

— А вы как знаете… Прощайте.

— Послушайте… Вы надели мой сюртук… отдайте!

— Убирайтесь к черту, — энергичным шепотом посоветовал я.

— Там деньги… Бумажник! Я закричу…

— Закричи, идиот, — согласился я. — А я скажу, что ты — вор и спрятался, чтобы обокрасть этих добрых людей. Муж теперь за меня горой будет стоять. А ей никто все равно не поверит.

— Тогда спасите меня.

Он цеплялся за меня дрожащими от ужаса руками. Я оттолкнул его ногой и вышел в спальню.

— Сударыня! — сказал я, подойдя к кровати. — Надеюсь, после вашего бессмысленного

запирательства и двойного обмана этого доброго человека — между нами все кончено.

Она продолжала плакать.

— Не расспрашивайте ее пока, — попросил я угрюмо смотревшего на нее мужа. — Бедняжка сильно любила меня и никак не может успокоиться.

Я опасливо посмотрел на тяжелый зонтик, который он держал в руках, и тихонько выскользнул из комнаты.

* * *

Стараясь не шуметь, я спустился с лестницы (сам!.. честное слово — сам), еле дыша, открыл английский замок парадной двери и через секунду очутился на свежем, холодном воздухе.

Из-под темных ворот отделилась тень и прыгнула мне навстречу.

— Гарри! Цел?

— Все благополучно, хозяин. Ну как твой роман с кухаркой? — насмешливо спросил я.

— Гарри! Душа моя разбита. Все с ней покончено.

Я грустно посмотрел на луну.

— Что делать! Я также окончательно разорвал с ее госпожой.

И, когда я рассказывал ему историю своего краткого романа, бешеное ликование прорывалось в нем.

И не потому он радовался, что у меня было на три тысячи бриллиантов, новый сюртук и шестьсот рублей в кожаном бумажнике… А потому, что не ошибся во мне…

По его словам, я был действительно настоящим парнем.

Воздухоплавательная неделя в Коркине

I

Граждане города Коркина основали воздухоплавательный клуб.

Недавно председатель клуба, акцизный чиновник Собаков, устроил чрезвычайное собрание, на котором сказал звучную, красивую речь:

— Наша цель, господа, — завоевание воздуха! А что мы вместо этого делаем? Пьянствуем, ссоримся, сплетничаем… Разве это достойно порядочных авиаторов? Мы должны летать, и всякий, в ком бьется сердце настоящего пилота, должен приветствовать этот шаг!

— На чем же ты полетишь, Собаков? — спросил, недоверчиво качая головой, учитель Кикин. — У нас нет ничего, кроме аппарата, сделанного коллегой Абрамсоном, — такого тяжелого, что его шесть человек едва поднимают.

— Не шесть, а четыре, — сказал угрюмо изобретатель Абрамсон. — Он бы и полетел, да мотор слишком слаб.

— А вы сделайте мотор побольше, — возразил Кикин, пожимая плечами.

— Тогда крылья окажутся слабыми.

— А вы сделайте крылья больше!

— Нельзя. Тогда мотор будет слаб!

— Господа! — возвысил голос Собаков. — Из опыта нашего товарища Абрамсона мы видим, что аппараты тяжелее воздуха нам пока нужно оставить. Займемся сферическими шарами… я предлагаю приобрести в складчину один шар и попробовать на нем осуществление гигантской идеи завоевания воздуха.

— Я могу даже купить на свой счет оболочку, — заявил домовладелец Бурачков.

— А я, в интересах науки, готов наполнить шар на свой счет газом, — поддержал аптекарь Луцкин.

— А я закажу корзину, — решил купец Поддувалов.

— Прелестно! — всплеснул руками Собаков. — И мы, как в Реймсе, устроим воздухоплавательную неделю.

II

На окраине города Коркина собралась праздная публика и, заняв собой все обширное поле, лю-

бовалась дико и изумленно на небольшой серый шар, гордо колыхавшийся в тихом воздухе.

— Господа! Не напирайте, — умолял Собаков, суетясь около шара. — Полет будет виден всем — зачем же вы напираете?

— Страшно лететь небось? — спросила какая-то женщина в платке и шумно вздохнула.

— Господа! — скомандовал Собаков, обращаясь к небольшой кучке членов клуба. — Занимайте ваши места.

Лететь собралось шестеро: домовладелец Бурачков со свояченицей, купец Поддувалов, аптекарь Луцкин с зубным врачом Шайкиной и Собаков.

— Прошу занять места в корзине, — повторил Собаков. — Не волнуйтесь, господа! Будьте покойны, мадмазель Шайкина, и не визжите — здесь нет ничего страшного. Первый момент покажется неожиданным, а потом — полное удовольствие! Садитесь, мадмазель Бурчумова! Луцкин, вы взяли приборы для измерения высоты? Прекрасно.

— А я закусить взял кой-чего, — сказал Поддувалов, подмигивая. — Любопытно, знаете, в надзвездных сферах рюмку выпить.

Когда все сели, Собаков в последний раз опытным глазом оглядел шар и вскочил в корзину.

— А балласт взяли? — крикнул из кучки осталь-

ных воздухоплавателей учитель Кикин.

— Взял. 4 мешка.

Собаков сделал публике приветственный жест и крикнул рабочим:

— Отпускай веревки!

* * *

— Ну? — спросил Абрамсон, подходя к корзине шара. — Отчего же вы не летите?

— Не могу понять, — растерянно сказал Собаков. — Канаты отпустили?

— Отпустили. Попробуйте балласт выбросить!

Собаков выбросил мешки с песком и сел на свое место.

— Не летит?

— Ни с места.

Собаков почесал затылок и обвел глазами сидевших в корзине.

— Извините, господа… но кто-нибудь должен слезть… Много народу насело. Луцкин… вам придется слезть.

— С какой стати я, — сказал Луцкин. — Вот еще! Я дал газ, да я же и лететь не могу? Вот еще!

— Тогда вам придется слезть, — развел руками Собаков, обращаясь к Поддувалову.

— Со своей-то корзины? — обиделся Поддува-

лов. — Ни в жисть не слезу!

Пилот Собаков вздохнул.

— Тогда, может быть, барышни уступят? — нерешительно сказал он.

Свояченица Бурачкова и зубной врач Шайкина, сконфуженные, слезли и отошли в сторону.

— Отпустите веревки! — скомандовал Собаков.

— Да они уже отпущены.

— Черт знает что! Господин Бурачков… может быть, вы слезете?

— Я? Вы с ума сошли! Вы, кажется, забыли, что оболочка моя. Сами слезайте!

— Мне нельзя, — сказал Собаков. — Я пилот.

— В сущности, — пожал плечами аптекарь Луцкин, — что такое пилот? Будто это какая-нибудь должность или занятие? Вот вы говорите — пилот. А что вы умеете сделать на этом шаре такого, чего бы мы не могли? При чем здесь — пилот? И если нужно выбирать между людьми, которые принесли материальные жертвы нуждам воздухоплавания, и теми, которые не принесли материальных жертв нуждам воздухоплавания…

— Пожалуйста! — сказал Собаков, криво усмехаясь. — Я слезу! Не видал я вашего шара… Подумаешь тоже — воздухоплаватели! Пропеллера от

планера отличить не могут, а туда же — лететь! Шлепнетесь без меня об землю — так вам и надо!

Зловещее предсказание Собакова не могло сбыться, потому что, хотя он и слез, но шар остался на месте.

— Чего же вы не летите? — ядовито сказал Собаков. — Летите!

— Кому-нибудь еще слезть нужно, — растерялся Луцкин. — Слезайте, Поддувалов! Мы полетим с господином Бурачковым.

— Попробуйте! — сказал угрюмо Поддувалов. — А я сниму свою корзину.

— Но ведь нас троих шар не подымет!

— А мне наплевать.

— Что же вы — так и будете сидеть?

— Так и буду.

Все трое посмотрели друг на друга злыми глазами, отвернулись и застыли в напряженном ожидании.

III

Публика, зевая, расходилась с поля. Некоторые ругались, а некоторые рассудительно возражали им:

— Так нешто можно — штоб полететь? Выдумки одни. Никак человеку полететь в небо

невозможно.

Сквозь публику, толкаясь, прошла жена Поддувалова и негодующе сказала:

— Вот он где! Ищу я его дома, старого дурака, а он — вот он где! Извольте видеть — в корзину забрался и сидит. Старый человек, второй гильдии купец!

В публике захохотали.

— Вылезай из корзины, старый бесстыдник! Хучь бы людей постеснился.

Поддувалов сконфузился и обернулся к Луцкину:

— Черт с вами! Летите — пусть пропадет моя корзина. Не хочу лететь!

Когда он слез — шар шевельнулся и — остался по-прежнему на месте.

Луцкин выругался и сказал, смотря на Бурачкова:

— Очевидно, этот шар для одного человека!

— Ну так и слезайте.

— Ни за что в жизни, — сказал твердо Луцкин. — Я хочу лететь в интересах науки, а вы для удовольствия.

— Не слезешь? — грозно спросил Бурачков.

— Очень просто — не слезу.

— Хорошо, — сказал Бурачков, вставая. — Тогда

отдавай мою оболочку!

— Как… оболочку? — растерялся Луцкин. — А куда же я свой газ дену?

— Забирай его куда хочешь! А я возьму свою оболочку…

— Он же мне деньги стоит! — закричал бледный, встревоженный Луцкин. — Я с утра его напускал, старался…

— Мне нет дела! Отдай мою оболочку!

— Вы не имеете права!.. Я буду жаловаться…

— А-а!.. Так? Ладно! Оболочка моя — что хочу, то и делаю…

Бурачков вынул нож и, приподнявшись, злобно пырнул им в надутую оболочку шара.

Шар стал худеть, ежиться и свисать набок.

— Полетели, — засмеялись в публике.

IV

С тех пор граждане города Коркина окончательно махнули рукой на воздух и решили держаться земли. Некоторые, наиболее к ней привязанные, возвращаясь ночью из аэроклуба, держались за нее руками и ногами…

Пинхус Розенберг

Перед хозяином маленькой мануфактурной лавчонки Пинхусом Розенбергом стоял чиновник Самсонов и говорил:

— Покажите мне темно-синий бархат. Есть у вас?

Пинхус обидчиво усмехнулся.

— Как же у нас не может быть темно-синего бархата? Чтобы торговое предприятие под фирмой Пинхуса Розенберга не имело какого-то бархата — это было бы не так смешно, как грустно!

— Так вот вы мне и покажите.

— Что показать?

— Да бархат же! Бархат.

— Ах, бархат… Я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия. Вот-с. Позвольте вам посмотреть!

Хозяин ловким движением развернул на прилавке синюю материю и одобрительно потрепал по ней ладонью.

— Извольте видеть! Помещица Гундикова тридцать аршин взяла…

— Виноват… Вы меня не расслышали! Вы пока-

зываете темно-синий шелк, а я просил бархат.

— Прекрасный шелк.

— Да ведь мне нужен бархат.

— Ах, бархат! Чего же вы раньше не сказали… Темно-синий?

— Темно-синий.

— Вы можете спросить всякого уличного мальчика: уличный мальчик! Чем известна фирма Пинхуса Розенберга? И уличный мальчик ответит вам: синим бархатом!

Хозяин полез на какую-то полку и вернулся с тяжелым свертком.

— Как вы найдете этот гениальный бархат?

— Постойте, да он черный!

Хозяин удивленно посмотрел на чиновника.

— А вы… какой же хотели?!

— Черт возьми! Я же у вас прошу темно-синий.

— Возьмите этот. Он почти темно-синий. Уже такой почти, что дальше просто некуда.

— Нет, мне черный не подойдет.

Хозяин почесал железным аршином бровь и многозначительно сказал:

— Теперь самый модный бархатный цвет — так это черный. Всякий человек носит этот цвет…

— Может быть. Но я прошу дать мне темно-синий.

— Бархат?

— Ну конечно.

— Возьмите — хороший манчестер есть. Такой синий, что даже тяжело видеть.

— Послушайте, — сказал чиновник Самсонов, нетерпеливо махая рукой, — если у вас есть темно-синий бархат — дайте его мне, нет — я пойду в другой магазин.

— Они пойдут в другой магазин! Видели вы, люди добрые? Они, вероятно, пойдут до Исаака Менделевича, который на прошлой неделе отравил свою маменьку, или до Якуба Зусмана, где вам подсунут такое, что вы потом снизойдете горькими слезами. Хорошо! Я вам покажу сейчас материю, что вы скажете: Розенберг! Отрежьте мне сто аршин!

Лицо хозяина было уныло-оскорбленное. Он укоризненно покачал головой, нагнулся к нижней полке и вынул оттуда что-то светло-голубое.

— Что бы вы сказали относительно этого кретончика?

— Провались он, ваш кретончик! Я спешу, а вы отнимаете время тем, что мне не нужно…

— Кретон вам не нужен? Хорошо. Мы вам дадим то, что вам нужно. Бархат нужен? Хорошо. Вот теперь вы мне сказали, и я знаю: господину чи-

новнику нужен бархат. И я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время. Уж время такая вещь, что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ее уж нет. Она исчезла, и сам Господь Бог не даст ее обратно, не повторит ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику…

Хозяин подпер голову рукой и печально задумался… Тяжело вздохнул и меланхолично сказал:

— А из минуточек делаются часики, из часоч…

— Вы мне покажете темно-синий бархат, или у вас его нет? — вскричал чиновник. — Я прошу у вас: дайте мне бархат, понимаете — бархат! И чтобы он был темно-синий… Понимаете? Темно-и-синий! Не черный, не зеленый, не желтый… И не кретон, не батист, а бархат! Понимаете — бархат!

Пинхус Розенберг сделал над собой усилие, чтобы стряхнуть тяжелые мысли, и ласково сказал:

— Хорошо. Вы сейчас получите ваш бархат. Сколько вам нужно аршин?

— Четыре с половиной.

— А почему не семь?

— Потому что мне нужно четыре с половиной.

— Так, так. В этом городе изволите служить?

— В этом. Пожалуйста, поскорее!

— Я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда!

Розенберг достал еще какой-то сверток и устало развернул его.

— Вот бархат. Впрочем, он темно-красный. Вы видите — я вам его не предлагаю, но он тоже бархат. Я знаю, что если вам нужен другой, так…

— Черт возьми! — сердито сказал чиновник Самсонов. — Можете вы дать мне темно-синий бархат? Отвечайте — да или нет?!

— Вам нужен темно-синий?

— Темно-синий.

— Именно бархат?

— Именно бархат.

— Очень жаль, но именно темно-синего бархата сейчас нет. У нас есть бархат, но не темно-синий, и есть темно-синий, но не бархат! Может, вам из легонького что нужно? Сатин, ситцы есть, сарпинка — большой выбор, а?

— Прощайте! Сказали бы раньше сразу, что у вас нет бархата.

— Что значит — нет? Синий бархат мы ждем — через две недели заходите. Могу предложить также головные шали, одеяла пике, галстуки…

Чиновник Самсонов круто повернулся, злобно хлопнул дверью и выскочил из магазина.

Розенберг пожал плечами, вышел неторопливо и, смотря вслед удаляющемуся чиновнику, возмущенно покачал головой:

— Шарлатан! Весь магазин даром перерыл… Хоть бы для смеху на пятнадцать копеек купил!

Наследственность

Будучи умным и хитрым человеком, я всегда относился недоверчиво к людям, ухаживавшим за моей женой.

Мне всегда казалось, что у них на уме было что-то странное и что они приходят к нам в гости с задней мыслью.

Я ввел систему — не отпускать жену без себя ни на шаг и поэтому долгое время был спокоен.

Но мой приятель Корнюхин — прехитрое существо — часто старался нарушить мою систему и этим только действовал мне на нервы.

В позапрошлом году он приехал на каком-то длинном велосипеде и сказал нам:

— Завел себе тандем. Мы можем, Вера Павловна, совершить на нем небольшую прогулку.

— Ну что ж — можно, — согласился я. — Поедем. Я тоже не прочь проветриться.

— Втроем нельзя, — сказал он встревоженно, — это тандем для двух.

— Ну поедем вдвоем… — начал я и запнулся.

«Этот человек, — подумал я, — может быть, лукавит… Мы с ним поедем, он отвлечет меня от

жены, а в это время в дом к нам придет какой-нибудь проходимец...»

— Нет, — сказал я, вздохнув. — Поезжайте одни, без нас.

— Почему же мне не прокатиться? — несмело заикнулась жена.

— Тандем, — сурово проворчал я. — Я вообще против этой системы. Не могу!

Одураченный Корнюхин уехал на своей длинной, несуразной машине ни с чем.

Однажды, сидя за обедом, мы услышали на улице какое-то странное гуденье и шипенье.

Выглянув в окно, я увидел Корнюхина на маленькой машине, которая хрипела и кашляла, будто с детства страдала катаром горла.

— А я, — сказал он, с деланой беззаботностью входя в комнату, — за вами, Вера Павловна. Не совершим ли мы маленькой увеселительной прогулочки? Место на автомобиле как раз для двух!

— Ваша машина, — возразил я, — хрипит как удавленник и имеет вид разъяренной керосиновой кухни. Я не могу позволить жене ехать на такой ненадежной штуке.

Корнюхин заморгал глазами и, вздохнув, ушел.

Некоторое время он не показывался.

Но однажды мы, сидя на веранде, услышали

стук какой-то машины и легкий свист.

Я удивленно посмотрел на землю — она была пуста. В это время большая тень упала около веранды, и я увидел на небе Корнюхина, который, сидя на странном аппарате, похожем на стрекозу, радостно горланил во всю мочь легких:

— Здравствуйте! Я сейчас спущусь! Не желаете ли, Вера Павловна, сделать небольшую увеселительную прогулочку?

Его машина заинтриговала меня.

Когда он слез с нее, я, поколебавшись немного, сказал:

— Пожалуй, в самом деле, было бы превесело сделать втроем маленькую прогулку!

— Трем нельзя, — возразил Корнюхин угрюмо. — Аппарат поднимает только двух.

Жена посмотрела мне прямо в глаза и твердо сказала:

— Если ты и на этой штуке побоишься меня отпустить, то завтра же я сбегу от тебя совсем…

Так как жена не всегда лгала мне, — я испугался и стал раздумывать:

«Отпустить ее или нет?»

С одной стороны, машина казалась мне очень подозрительной, потому что представляла странное сочетание предыдущих неудачных попыток

Корнюхина: внизу был приделан какой-то велосипед, а мотор пыхтел точно так же, как ранее виденный мной у Корнюхина автомобиль. С другой стороны — особенной опасности не было, потому что они могли полетать недалеко, не спускаясь на землю, а сам по себе аппарат был очень шаток и неустойчив.

— Лети! — согласился я. — Хватит ли только у вас пороху на двух? — спросил я потом, указывая на машину.

— То есть бензину? — спросил повеселевший Корнюхин. — Здесь еще есть ровно на сорок минут. За глаза хватит!

Они уселись на какие-то скамеечки и, послав мне воздушный поцелуй, плавно с разбега поднялись в воздух.

— Только недолго, — крикнул я. — Я подожду.

Они скоро скрылись с глаз, а я сел на стул и стал ждать. Ждал долго.

Нужно ли говорить, что эти негодяи вернулись через два часа!

Когда они подлетели, раскрасневшиеся, веселые, я сердито крикнул:

— Что за свинство! Где вы были так долго?

— В воздухе, — отвечала жена, сходя на землю. — Ах! Если б ты знал, как это очаровательно!

Я угрюмо посмотрел на ее красное лицо и сказал:

— А… отчего у тебя волосы растрепаны?

— Господи Боже ты мой! Очень просто — ветер!

Я перевел глаза на Корнюхина и подозрительно спросил:

— Кажется, перед полетом у вас галстук был завязан совсем иначе?!

— Совершенно верно, — хладнокровно улыбнулся Корнюхин. — Я его развязывал, чтобы, держа в руке, узнать направление ветра. Это обычный прием аэронавта.

— Вы… на землю не спускались?

— Конечно, нет!

Я задумался.

— Как же, если вы ни разу не спускались на землю — как у вас могло хватить бензину, когда у вас его было только на сорок минут, а вы были, по вашим же словам, в воздухе все сто двадцать минут?!

— Вы не знаете авиатики, — отвечал Корнюхин. — Это делается очень просто: когда мы взлетели, я переставил часы на восемьдесят минут назад. Таким образом, по моим часам бензин расходовался сорок минут.

— Ну то-то, — сказал я, успокоенный. — Пойдемте чай пить.

* * *

Несколько месяцев спустя у меня родился ребенок.

Недавно мы мирно сидели с женой и любовались на мальчика, который уже начал ходить.

Забавно переступая ножонками, он подошел к углу, где стоял мокрый после дождя, раскрытый для просушки зонтик, взял его за ручку, вскарабкался на стул, оттуда на стол и, подняв над головой, плавно спустился на нем, как на парашюте, на пол.

Я медленно встал и, нахмурив брови, посмотрел на растерявшуюся жену.

— Это… что… что… значит?

Жена упала передо мной на колени.

Склонила голову и молча заплакала.

Тихое помешательство

I

Мы сидели на скамье тихого бульвара.

— Жестокость — прирожденное свойство восточных народов, — сказал я.

— Вы правы, — кивнул головой Банкин. — Взять хотя бы бывшего персидского шаха. Это был ужасный человек!

И мы оба лениво замолчали.

Банкин сорвал травинку, закусив ее зубами, поморщился (травинка, очевидно, оказалась горькой), но сейчас же лицо его засветилось тихой радостью.

— Он сейчас уже, наверно, спит! — прошептал Банкин.

— Почему вы так думаете? — удивился я.

— Конечно! Он всегда спит в это время.

Последнее время Банкин казался человеком очень странным. Я внимательно посмотрел на него и осторожно спросил:

— Откуда же вам это известно?

— Мне? Господи!

И опять мы замолчали.

— Ему, очевидно, несладко живется… — зевая, промямлил я.

— Почему? С ним нянчатся все окружающие. Его так все любят!

— Не думаю, — возразил я. — После того, что он натворил… Банкин неожиданно выпрямился и в паническом ужасе схватил меня за плечи:

— Натво… рил?! Владычица небесная!.. Что же он… натворил? Когда?

— Будто вы не знаете?.. Сажал, кого попало, на кол, мучил, обманывал народ…

— Кто?!!

— Да шах же, Господи!

— Какой шах?

— Бывший. Персидский. О котором мы говорили!

— Разве мы говорили о шахе?

— Нет, мы говорили о ребятишках, — иронически усмехнулся я.

— Ну конечно, о ребятишках! Я о своем Петьке и говорил.

Банкин вынул часы, и опять лицо его засияло счастьем.

— Молочко пьет, — радостно засмеялся он. — Проснулся, вероятно, и говорит: «Мамоцка, дай маяцка!»

— Ну это, кажется, вы хватили… Сыну-то вашему всего-навсего два месяца… Неужели он уже говорит?

Я сам был виноват, что коснулся этого предмета. Разговор о Петьке начался у нас в восемь часов и кончился в половине двенадцатого.

— Видите ли, — начал просветленный Банкин, — он, правда, буквально этого не говорит, но он кричит: мм-ма! И мы уже знаем, что это значит: «Дорогая мамочка, я хочу еще молочка!» А вчера… Нет, вы не поверите!..

— Чему?

— Тому, что я вам расскажу. Да нет — вы не поверите…

Я дал слово, что поверю.

— Представьте себе: прихожу я… Позвольте… Когда это было? Ага! Вчера. Прихожу вчера я домой, а он у Зины на руках. Услышал шум шагов и — ха-ха! оборачивается и — ха-ха!.. ха-ха-ха!.. оборачивается и говорит: «Лю!»

— Ну?

— Говорит: «Лю!» Каков каналья?

— Ну?

— Ха-ха! «Лю!» — говорит.

— Что же это значит — «лю»? — спросил я, недоумевая.

— Неужели вы не поняли? Это значит: «Папочка, возьми меня на руки».

Я возразил:

— Мне кажется, что толкование это немного произвольно… Не значило ли «лю» просто: «Старый осел! Притворяй покрепче двери…»

— Ни-ни. Он бы это сказал совсем по-другому. А вы знаете, как он пьет молоко?

Я поежился и попробовал сказать, что знаю.

Банкин обиделся.

— Откуда же вы можете знать, если вы еще не видели Петьки?

— Я вообще знаю, как дети пьют молоко. Это очень любопытно. Я видел это от семнадцати до двадцати раз.

— Петька не так пьет молоко, — уверенно сказал Банкин.

На половине описания Петькиного способа пить молоко сторож попросил нас удалиться, так как бульвар закрывался. Желая сделать сторожу приятное, Банкин пообещал, что, когда его Петька научится ходить, он будет играть песочком только на этом бульваре.

По свойственной всем сторожам замкнутости, этот сторож не показал наружно, что он польщен, а, загнав восторг внутрь, с деланым равнодушием

сказал:

— Пора, пора! Нечего там.

В маленьком ресторане, куда мы зашли выпить по стакану вина, мне удалось дослушать конец Петькиного способа пить молоко. Кроме того, мне посчастливилось узнать много ценных и любопытных сторон увлекательной Петькиной жизни, вплоть до самых интимных.

Из последних я вынес странное убеждение, что Банкин был удовлетворен и чувствовал себя счастливым только тогда, когда пиджак его или брюки были окончательно испорчены легкомысленным поведением его удивительного отпрыска.

Истощившись, Банкин долго сидел, полный тихой грусти.

— За что вы меня не любите?

— Я вас не люблю? — удивленно вскинул я плечом. — С чего это вы взяли?

— Вы меня не любите… — уверенно сказал Банкин. — Вы не могли за это время собраться — зайти ко мне и взглянуть на Петьку.

— Господи помилуй! Да просто не приходилось. На днях зайду. Непременно зайду.

— Правда?! Спасибо. Я вижу, вы полюбили моего Петьку, даже не видя его. Что же вы запоете,

когда увидите!

Спину мне разломило, и глаза слипались.

Я попросил счет и, зная, что с Банкиным мне по дороге, попробовал завязать разговор о самой безобидной вещи:

— Ночи теперь стали короче.

Банкин расхохотался:

— Да, да! Светает в четыре часа. Просыпаюсь я вчера, смотрю — светло. А он ручонку из кроватки высунул и пальцем… этак вот…

— Пойдемте! — сказал я. — А то мы не достанем извозчика.

— Успеем. У него теперь самый сладкий сон. Поверите ли вы, что, если его поцеловать — он не просыпается.

— Это неслыханно, — пробормотал я. — Человек! Пальто.

II

Однажды Банкин зашел ко мне. Я познакомил его с сидевшим у меня редактором еженедельного журнала и приветливо спросил:

— Как поживаете?

— Он уже ходит, — подмигнул Банкин. — А вчера какой случай был…

— Так вы говорите, что теперь еженедельники

не в фаворе у публики? — обратился я к редактору. — Скажите…

— А вы бросьте издавать еженедельник, — перебил Банкин. — Начните что-нибудь для детей. Это будет иметь успех. Да вот я вам расскажу такой пример: есть у меня сын — Петька. Удивительно умный ребенок. И он…

— Вы, господа, поговорите здесь, — сказал я, вставая, — а мне нужно будет на часок съездить. Вы уж извините.

Дня через три я встретил Банкина около итальянца — продавца разной дряни из кораллов и лавы.

— Это для взрослых… Понимэ! Эй, как вас… синьор! Понимаете — для взрослых. Иль грано! А мне нужно что-нибудь для мальчика… Компренэ? Анфана! Понимаете, этакий анфан террибль! Славный мальчишка… Да не брелок! На черта ему брелок, уважаемый синьор? Фу, какой вы бестолковый.

Я тихонько прошел мимо, но, возвращаясь обратно на трамвае, опять встретил Банкина. Он промелькнул мимо меня на противоположном трамвае, увидел мое лицо, и до меня донесся его радостный, но совершенно непонятный мне крик:

— А Петь… В кашу рук…

III

Вчера я вышел на улицу, и первое лицо, которое мне попалось, — был Банкин.

— А я за вами.

— Что случилось?

— Пойдемте. Посмотрите теперь на моего Петьку — ахнете! Вы помните, я вам рассказал в трамвае о его — ха-ха! поступке с кашей — ха-ха!

— Помню, — сказал я. — Очень было смешно.

— Это что! Вы посмотрите, какие штуки он теперь выделывает.

Впереди нас шла нянька с мальчиком лет трех.

— Постойте! — вскричал Банкин, хватая меня за рукав. — Постойте!

Я посмотрел на его побледневшее лицо, дрожащие губы, слезы на глазах и — испугался.

— Что с вами?!

— Ха-ха! Такой Петька будет. Через два года. Ха-ха! Так же будет ножками: туп-туп! Постойте!

Он подошел к няньке и дал ей двугривенный. Потом расспросил: сколько мальчику лет, чей сын, что ест и не капризничает ли по ночам?

Потом присел перед мальчиком на корточки и спросил:

— Как тебя зовут?

— Ва-я.

— Ваня, — пояснила нянька.

— Ваня? Милый мальчик! Нянька… Может, он чего-нибудь хочет?

Оказалось, что Ваня «чего-нибудь хотел» только полчаса тому назад.

Это настолько успокоило Банкина, что он нашел в себе мужество расстаться с Ваней, и мы пошли дальше.

— Проклятый город, — сказал я. — Сколько пыли.

— Что?

— Город, я говорю, пыльный.

— Да, да… — рассеянно подтвердил Банкин.

И задумчиво добавил:

— Воды он боится.

— Чего же ему бояться, — возразил я. — Только бы поливали!

— Да и поливают. Если тепленькая вода — так он не кричит… и, если поливают спинку, только морщит нос и ежится.

IV

Когда мы подошли к квартире Банкина, он открыл ключом дверь, схватил меня за шиворот,

втолкнул в переднюю и, проворно вскочив вслед за мною, захлопнул дверь.

Я упал на ступеньки лестницы. Ушиб ногу. Сел на нижней ступеньке и, потирая колено, со страхом спросил:

— Что я сделал вам дурного?

— Петька простудиться может, — объяснил Банкин. — Дует.

Я встал, и мы вошли в первую комнату — столовую.

— Вот здесь, на этом месте, — указал Банкин, — Петьке нянька дает молочко. Вот видите — стул.

Я осмотрел стул.

— Хороший стул. Венский.

— Приготовьтесь, — хохоча счастливым, лучезарным смехом, воскликнул Банкин. — Сейчас увидите его.

Я пригладил волосы, одернул сюртук, и мы, на цыпочках, вошли в детскую.

— Вот он, — шепотом сказал Банкин, указывая на кроватку.

— Какой хорошенький.

— Да это не то. Это угол подушки! А вон он лежит за подушкой.

— Прелестный ребенок.

— Правда? Я знал, что вы сейчас же влюбитесь

в него… Помните, я вам рассказывал, что, если я его целую во время сна — он никогда не просыпается… Вот вы увидите.

Банкин подошел к кроватке, нагнулся, и — вслед за этим раздался бешеный рев ребенка.

Вбежала госпожа Банкина.

— Опять ты его разбудил?! Вечно лезет с поцелуями! Молчи, молчи, мое сокровище… Здравствуйте! Как поживаете?

— Благодарю вас. Я совершен…

— Вы его хорошо рассмотрели? Не правда ли, очаровательный ребенок? Садитесь. Ну как поживаете?

— Очень вам благодарен. Живу ниче…

— Видели ли вы когда-нибудь такого большого мальчишку?

За мою бурную, богатую приключениями жизнь я видел десятки ребят гораздо больше Банкиного ребенка, но мне неловко было заявить об этом.

— Нет! В жизни своей я не видел такого колоссального ребенка!

— Правда? Ну как вы поживаете?

— Я сов…

— Не плачь, милый мальчик! Вот дядя… Он тебя возьмет блям-блям. Правда, Аркадий Тимофее-

вич? Вы его возьмете блям-блям?

— Без сомнения, — робко подтвердил я. — Если вы будете добры посвятить меня в цель и значение этого… этой забавы, то я с удовольствием…

— Блям-блям? Неужели вы не знаете? Это значит — покачать его в колясочке.

V

Петька захныкал и, вытянувшись на руках няньки, капризно поднял ручонки кверху.

— Смотри, смотри! — воскликнул пораженный и умиленный Банкин. — На потолок показывает!

Госпожа Банкина наклонилась к Петьке и спросила:

— Ну что, Петенька… Потолочек? Что Петенька хочет на потолочке? Спросите его, Аркадий Тимофеевич: что он хочет на потолочке?

Я несмело приблизился к Петьке и, дернув его за ногу, спросил:

— Чего тебе там надо, на потолке?

Ребенок залился закатистым плачем.

— Он боится вас, — объяснил Банкин. — Еще не привык. Петенька!.. Ну покажи дяде, как птички летают?! Ну покажи! Представьте, он ручонками так делает… Ну покажи же, Петенька, покажи!

Петьку окружили: мать, отец, нянька, кухарка,

пришедшая из кухни, и сзади всех — я.

Они дергали его, поднимали ему руки, хлопали ладонями, подмигивали и настойчиво повторяли:

— Ну покажи же, Петенька… Дядя хочет посмотреть, как птички летают!

Полет птиц, и даже в гораздо лучшем исполнении, был мне известен и раньше, но я считал долгом тоже монотонно тянуть вслед за кухаркой:

— Покажи, Петенька!.. Покажи…

Наконец ребенку так надоели, что он поднял ручонки и оттолкнул от себя голову няньки.

Снисходительные родители признали этот жест за весьма удачную имитацию птичьего полета, и так как я не оспаривал их мнения, то мы приступили к новым экспериментам над задерганным горемычным Банкиным отпрыском.

— Хотите, — спросил Банкин, — он скажет вам по-немецки?

— Я по-немецки плохо понимаю, — попробовал сказать я, но госпожа Банкина возразила:

— Это ничего. Он все-таки скажет. Дайте ему только в руки какую-нибудь вещь… Ну пенсне, что ли… Он вас поблагодарит по-немецки.

Со вздохом я вручил Петьке свое пенсне, а он

сейчас же засунул его в рот и стал сосать, словно надеясь высосать тот ответ, который от него требовали.

— Ну Петенька… Ну что нужно дяде по-немецки сказать?

— Ну Петенька… — сказал Банкин.

— Что нужно… — продолжала нянька.

— По-немецки сказать? — подхватила кухарка.

— Ну же, Петенька, — поощрил его Банкин, дергая изо рта пенсне.

— Ззз… — капризно пропищал Петька.

— Видите? Видите? Данке![8] Он вам сказал: «Данке»! А как нужно головкой сделать?

Так как госпожа Банкина (о, материнское сердце), зайдя сзади, потихоньку ткнула в Петькин затылок, вследствие чего его голова беспомощно мотнулась, — то все признали, что Петька этим странным способом совершенно удовлетворительно поблагодарил меня за пенсне.

— Вежливый будет, каналья, — одобрительно сказал Банкин.

— Крррa… — сказал Петька, поднимая левую руку под углом сорока пяти градусов.

Все всколыхнулись.

---

[8] Примечания: 8
Спасибо! (от *нем.* Danke!)

— Что это он? Что ты, Петенька?

Проследили по направлению его руки и увидели, что эта воображаемая линия проходила через три предмета: спинку кресла, фарфоровую вазочку на этажерке и лампу.

— Лампу, — засуетился Банкин. — Дать ему лампу!

— Нет, он хочет вазочку, — возразила кухарка.

— Зу-зу-у… — пропищал Петька.

— Вазочка, — безапелляционно сказала нянька. — «Зу-зу» — значит, вазочка!

Петьке дали вазочку. Он засунул в нее палец и, скосив на меня глаза, бросил вазочку на пол.

— На вас смотрит! — восторженно взвизгнул Банкин. — Начинает к вам привыкать!..

VI

Перед обедом Банкин приказал вынести Петьку в столовую и, посадив к себе на колени, дал ему играть с рюмками.

Водку мы пили из стаканов, а когда Петьку заинтересовали стаканы — вино пришлось пить из молочников и сахарницы.

Подметая осколки, нянька просила Петьку:

— Ну скажи — «лю»! Скажи дяде — «лю»!

— Как вы думаете… На кого он похож? — неожи-

данно спросил Банкин.

Нос и губы Петьки напоминали таковые же принадлежности лица у кухарки, а волосы и форма головы смахивали на нянькины.

Но сообщить об этом Банкину я не находил в себе мужества.

— Глаза — ваши, — уверенно сказал я. — А губы — мамины!

— Что вы, голубчик, — всплеснул руками Банкин. — Губы мои!

— Совершенно верно. Верхняя ваша, а нижняя — матери.

— А лобик?

— Лобик? Ваш!

— Ну что вы! Всмотритесь!

Чтобы сделать Банкину удовольствие, я долго и пристально всматривался.

— Вижу! Лобик — мамин!

— Что вы, дорогой! Лобик дедушки Павла Егорыча!

— Совершенно верно. Теменная часть — дедушкина, надбровные дуги — ваши, а височные кости — мамины.

После этой френологической беседы Петьку трижды заставляли говорить: «Данке».

Я чувствовал себя плохо, но утешался тем, что

и Петьке несладко.

VII

Сейчас Банкин, радостный, сияющий изнутри и снаружи, сидит против меня.

— Знаете… Петька-то!.. Ха-ха!

— Что такое?

— Я отнимаю сегодня у него свои золотые часы, а он вдруг — ха-ха — говорит: «Папа дурак!..»

— Вы знаете, что это значит? — серьезно спросил я.

— Нет. А что?

— Это значит, что в ребенке начинает просыпаться сознательное отношение к окружающему.

Он схватил мою руку.

— Правда? Спасибо. Вы меня очень обрадовали.

Нервы

I

Когда Царапов проснулся, его неприятно поразило, что платье его не было вычищено и ботинки валялись тут же около кровати, забрызганные грязью.

Сердце Царапова сжалось, сделалось маленьким, злобным и провалилось куда-то вниз, пронизавши тело, и простыню, и пружинный матрац.

— Черт их всех раздери! — прошептал, передернувшись мелкою дрожью, Царапов. Потом вскочил, сжал губы в мучительную складку и стал одеваться.

Забрызганные грязью ботинки вызывали в нем решительное отвращение… Он натянул их на ноги и стал шарить концы шнурка. Через минуту обнаружилось, что концы влезли вместе с ногой внутрь ботинка, и это заставило Царапова заскрежетать зубами и громко выругаться. Он сел на стул, злобно взмахнул обеими ногами, и ботинки слетели с ног, причем один попал на подзеркальник, свалив хрустальный пульверизатор.

Царапов пришел в неистовство. Поймал оба ботинка, снова натянул на ноги и стал нервно зашнуровывать их. Но на половине этого утомительного занятия шнурок не выдержал бешеных движений Царапова и лопнул.

Царапов сорвал с ног ботинки и стал топтать их, шепча прыгающими губами что-то нечленораздельное. Вынул из шкафа новые лакированные туфли и надел их, хотя через окно было видно, что шел дождь и улицы покрылись липкой грязью.

— Пусть! — шипел он. — Пусть!

Одевшись, Царапов вышел из комнаты и с какой-то злобной радостью встретил идущую с подносом горничную Лушу.

— Что? Чай пить? Ты мне еще керосину предложи, дурища! За что вам, дармоедам, деньги платятся? Платья не чистите, ботинки грязные…

— Да ведь вы сами давеча, барин, комнату свою на ключ закрыли… я хотела взять, а вы не открыли.

— Молчи! — визгливо закричал Царапов и, хлопнув дверью, стал спускаться с лестницы.

«Какая отвратительная лестница, — подумал он. — Здесь каменщикам каким-нибудь жить или слесарям… а не порядочным людям. И швейцар — дрянь преизрядная. Небось вчера ночью на

чай не дал, так эта упитанная морда сегодня и не подумает распахнуть дверь...»

Швейцар снял фуражку и распахнул перед ним дверь на улицу.

«Подхалимы все!» — подумал Царапов и зашагал, осторожно ступая лакированными туфлями по мокрому тротуару.

Трамвая пришлось ждать долго — минут десять. Царапов прошептал по адресу заправил трамвая несколько слов, осуществление которых сделало бы несчастными не только этих толстокожих людей, но и их семейства. Потом, подождав еще немного, крикнул извозчика. Когда он садился в пролетку, из-за угла показался ожидаемый им трамвай, но извозчик в это время уже тронул, и через двадцать шагов обнаружилось, что лошадь не бежала, а шла, еле переступая с ноги на ногу.

II

На службу Царапов опоздал.

— Если хотите служить, — сказал ему желтый бородатый старший бухгалтер, — то служите!.. А не хотите — сделайте одолжение! На ваше место найдутся другие.

Царапов молча повернулся к своей конторке и, развернув книгу, задумался.

«Вот, — думал он, — бухгалтер… Если бы сейчас я был атаманом каких-нибудь разбойников, то приказал бы им поймать этого бухгалтера и привести его ко мне в какое-нибудь подземелье… Привязал бы его к столбу и стал бы над ним издеваться: “Здравствуйте, господин бухгалтер! Так вы на мое место хотели найти другого?.. Позвольте вам плюнуть в лицо…” Плюю. Он молчит и испуганно смотрит на меня. “А что ваша борода крепко держится, господин мерзавец? Позвольте за нее дернуть! Что? Больно? А теперь мои молодцы выжгут вам глаза, отрубят руки и вырежут язык. Видите ли… я мог бы вас убить, но не хочу сразу прекращать ваших мучений… А без глаз, языка и рук вы не очень-то разболтаете о том, что с вами сделал Николай Царапов. Ха-ха!..”»

— Опять у вас журнал за три дня не записан?! — услышал Царапов сбоку себя. — И зачем вы служите, если не хотите?.. Есть люди более полезные и более любящие то дело, от которого вас, очевидно, тошнит…

От бороды старшего бухгалтера идет едкий старый табачный запах, такой противный, что мысли Царапова принимают другое направление:

«Неужели такую жалкую лягушку, от которой

пахнет, как из старого табачного мундштука, могут целовать женщины?.. А жена у него в веснушках, беременная, и ей, от старости, лень ему изменять. Гнездо гадин!»

Потом, когда бухгалтер отошел, Царапову приходит в голову мысль, леденящая мозги своей безысходностью:

«В Петербурге полтора миллиона народу… И все они желчные, в ботинках, забрызганных грязью, ненавидят друг друга… Всякий желает гибели другого, и все полтора миллиона, свалявшись в груду жирных червей на гниющем теле, — едят друг друга, размножаясь в то же время со стонами отвращения и ненависти… Хорошо было бы взять сейчас какое-нибудь безболезненное средство и отравиться».

Мимо Царапова прошел директор правления.

Царапов сделал вид, что прилежно пишет в большой, толстой книге, но на самом деле он думал:

«Я умру, а другие будут жить и веселиться. Вспомнит разве кто-нибудь обо мне? Дудки! Даже сестра забудет. Хорошо бы, если бы могли умереть все сразу… весь земной шар. Начинить его динамитом — несколько миллионов пудов (я думаю, если на всех заводах начать вырабатывать дина-

мит, то можно) и потом, нажавши кнопку, трах! Если бы сейчас около меня была такая кнопка для взрыва — ни минуты, то есть ни одной секунды бы не задумался!»

Бьет четыре часа.

Царапов складывает книги и отправляется обедать. Ест он «домашние обеды».

III

За обедом против него сидят чиновник контрольной палаты и студент… А сбоку барышня с противно-светлыми волосами, старая, с длинным носом, плохо напудренная, и чертежник из адмиралтейства.

Суп — с кусочками жира, который Царапов ненавидит всеми силами души. В голубцах ему попадаются нитки, а хлеб черствый, похожий на губку.

— Что новенького? — благодушно спрашивает его лысый чиновник.

Царапов бледнеет.

— Скажите… вам не надоело каждый день, методически, обращаться ко мне с этим вопросом? Что это значит? Что новенького? Где? В какой сфере? Вчера мы расстались в шесть часов вечера, так что прошло менее суток. Может быть, на

службе новенькое? Или у меня в меблированных комнатах? Да ведь, в сущности, вы и вопрос этот задали так — зря! Если бы вас действительно интересовали новости, вы бы купили за пятак газету и узнали бы обо всем — в более связной литературной форме, чем от меня.

Чиновник берет фуражку и уходит.

Царапов вынимает из кармана томик Чехова и, прихлебывая с отвращением жидкий кисель, погружается в чтение.

— Николай Львович! — обращается к нему плохо напудренная барышня, капризно надувая губы. — Отчего вы все читаете да читаете… Поговорили бы лучше со мной.

Царапов долго, прищурившись, смотрит на нее.

— Я могу… но, конечно, при условии, если ваша беседа будет не менее остроумна и содержательна, чем эта книга. Беретесь?

— Отчего вы сегодня такой угрюмый?

— Людишки дрянь!

Царапов берет книгу и задумывается:

«Вот у этой ободранной кошки нет ни родных, ни друзей, которым она доставляла бы удовольствие… Отчего бы ей не умереть? На земле не образовалось бы никакого пустого места. Но

странные наши уголовные законы: если я убью Льва Толстого или эту бесполезную старую кошку — наказание мне будет одинаковое… А по-моему, за нее следовало бы дать легкий выговор или даже просто обязать убийцу взять на себя расходы по похоронам…»

— Отчего вы такой задумчивый? — тоскливо спрашивает барышня.

IV

Когда Царапов вышел на улицу, тротуары были уже сухи. И небо очистилось, и высоко в прозрачном воздухе висела чистая, прозрачная луна.

Впереди себя Царапов увидел двух дам. Они шли, нарядные, легко неся свои крупные, красивые тела и бойко стуча каблуками подъемистых щегольских ботинок.

Царапов обогнал дам и заглянул с любопытством в их розовые, слегка улыбающиеся лица.

— Какой интересный! — донесся до него тихий, подавленный женский шепот.

— Да… такие… редко… — уловило его ухо начало ответа другой.

И сердце Царапова остановилось… и сладко, с веселым шумом, оборвалось, уйдя далеко, далеко.

Царапов распрямил плечи, изменил вялый, развинченный шаг на упругий и крепкий и бодро взглянул на свежее небо.

Придя домой, легко взбежал по лестнице и, встретив в коридоре Лушу, ласково пошутил:

— Ну, как... от жениха давно письмо имела? Если нужно черкнуть ему ответ — приходи, напишу. Хе-хе!

И, запев матчиш, он стал бодро переодеваться.

Большое сердце
(Рождественский рассказ)

Серое, темное небо нависло над землей… Снег валил большими хлопьями, устилая белым покровом улицы, по которым сновала веселая предпраздничная толпа, совершая разные закупки, необходимые для великого праздника.

Старый чиновник Слякин стоял у запорошенного снегом окна и печально глядел на улицу, полную озабоченных, спешащих людей.

«Боже, — думал он, и его добрые, сияющие глаза туманились непрошеными слезами. — Боже! Такая великая праздничная ночь, и сколько в это же время обездоленных людей, лишенных крова, теплого угла и маленькой, изукрашенной игрушечками елочки. О, как бы мне хотелось принести радость хоть немногим, обогреть хотя одного несчастного и дать малым ребяткам, лишенным этого, — хотя одну веселую, праздничную елочку. Боже ты мой… Сколько на свете холода, горя и несчастья!»

Чиновник Слякин надел шубу, шапку и, полный грустных и сладких мыслей, — вышел из

дому.

Оживленная толпа мощным потоком неслась мимо него, а он, остановившись на углу, долго стоял и думал:

«Какие они все равнодушные, сухие… Никому ни до кого нет дела… А в это же самое время среди них, может быть, сотни голодных, нуждающихся, лишенных тепла и участия…»

Около него остановилась собака, уткнула нос в его галоши и, тихонько повизгивая, тряхнула спиной, занесенной снегом.

— Бедная, бесприютная собачка, — сказал растроганный Слякин, наклоняясь к ней. — Бродишь ты по улицам, и никому нет до тебя дела. Пойдем со мной, я накормлю тебя и уложу на теплый-теплый коврик.

Слякин протянул руку к собаке, но она громко залаяла, открыла пасть и крепко впилась в Слякинову руку острыми белыми зубами.

— Вы зачем, черт вас забери, мою собаку дразните? — послышался около него сердитый голос, и вышедший из магазина офицер сурово поглядел на растерявшегося Слякина.

— Я хотел собачку… домой отвести… согреть.

— Ха-ха! — грубо расхохотался офицер. — У вас губа не дура. Породистого сторублевого водолаза

взять домой! В участок бы вас свести нужно, а не домой!.. Неро, ici![9]

* * *

А волны озабоченных равнодушных людей по-прежнему неслись куда-то вдаль, заменяемые все новыми и новыми волнами…

Шагая по улице, Слякин, закутанный в теплый воротник пальто, грустно думал:

«Ветер воет, и в степи теперь страшно, как будто тысячи разбушевавшихся дьяволов справляют свой праздник… Плохо в это время путнику, которого застигает в пути непогода… Ветер, забираясь в прорехи его жалкого платья, будет леденящим дыханием морозить несчастного, и вой далеких волков, чующих скорую поживу, зазвучит ему похоронной песней. И он идет пешком, утопая по колена в снегу, так как несчастному не на что было нанять бойкую неутомимую лошадку… И он идет, сгорбившись, пытаясь закутаться в плохо греющий воротник, молча, без единого звука…»

Слякин смахнул непрошеную слезу и свернул в малолюдный переулок.

Мимо него прошел, сгорбившись, пытаясь заку-

---

[9] Примечания: 9
Сюда! (*фр.*)

таться в воротник пальто, неизвестный человек.

Сердце Слякина сжалось.

— Послушайте… эй! Путник! Обождите!

Он догнал прохожего и молча сунул ему в руку три рубля.

Прохожий остановился, поднял из воротника изумленное лицо и поглядел на Слякина.

— Это… что значит?

— Это вам, путник. Дорога вам, я знаю, предстоит дальняя, а лошадок нанять не на что. Не благодарите! Чем могу, помог. А в поле будто тысячи разбушевавшихся дьяволов празднуют…

— Да как вы смеете! — взревел прохожий. — Да вы знаете, кто я? Да я вас в 24 часа… Этакая наглость!

Его щегольская шинель распахнулась, и на груди блеснуло золотое шитье и несколько искрящихся при свете фонаря орденов.

— Извините… — пролепетал Слякин.

— Безобразник! С каких пор успел нарезаться!.. Проходите!

* * *

Ветер все крепчал.

Декабрь давал себя знать, и Слякин, выйдя снова на многолюдную, широкую улицу, печально

размышлял:

«А сколько детей, этих — по выражению поэта — цветов жизни, бродят сейчас по улице, рассматривая выставленные в роскошных витринах вкусные вещи, которые, увы — не для них… Не для этих пасынков на жизненном пиру».

Горло его перехватило от слез, и сердце сжалось.

У роскошной витрины кондитерской стояла девочка и жадно рассматривала выставленные торты и конфекты.

— Бедное дитя! — пробормотал Слякин, хватая девочку за руку. — Несчастный бесприютный ребенок… Пойдем со мной, я тебя накормлю и обогрею в эту святую ночь.

— Maman! — закричала испуганная девочка. — Maman! Où me tiret-il?[10]

Рассматривавшая соседнюю витрину модного магазина дама ахнула и подбежала к девочке.

— Оставьте ее, скверный старикашка! — закричала она. — Пустите ее, или я ударю вас по голове зонтиком. Как вы смеете хватать ее за руку и тащить?!

— Наглость этих сладострастных павианов

---

[10] Примечания: 10
Мама! Мама! Куда он меня тащит? (*фр.*)

переходит всякие границы, — сказал господин, проходя мимо. — Они уже стали хватать свои жертвы на многолюдных улицах среди тысячной толпы!..

— Уверяю вас, — сказал Слякин. — Я только хотел взять эту девочку к себе домой и приютить ради этой ночи, которая…

— Вы негодяй! — сказала возмущенная дама. — Nadine, ты не должна слушать того, что он говорит. Пойдем скорее.

* * *

А снег все падал…

Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой, думал:

«О, как бы хотелось мне принести радость, облегчить нужду и горе хотя бы одному человеку… Но настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья… Нужно много деликатности и такта, чтобы не оскорбить бедняка и не подчеркивать своего благодеяния».

С ним поравнялся, заглядывая ему в лицо, высокий человек в рыжем пальто, подпоясанном веревкой, и в фуражке с полуоторванным козырьком.

«Вот оно», — подумал умиленный Слякин и начал тихим деликатным голосом:

— Погода дурная, не правда ли?

— Погодка сволочная, — согласился незнакомец.

— Вы, вероятно, выходя из дому, забыли тепло одеться? — деликатно спросил Слякин. — Я думаю, десять рублей, взятые у меня заимообразно, могли бы до известной степени урегулировать этот пустяковый вопрос… А?

— Нет, ты мне лучше пальто дай, — возразил незнакомец. — Снимай-ка его, живей!

— А… как же я?.. — удивился Слякин.

— А я тебе свое барахло дам. Ну, живей, старичок. А где твои десять рублей? Дай-ка мне их, дядя. Тут больше? Ну, все равно. А часики… золотые? Чего ж ты, дьявол, серебряные носишь?

* * *

Вьюга разыгралась, и снег беспрерывными хлопьями падал на белую землю.

По улице шагал старик в рваном, подпоясанном веревкой полушубке и изорванных сапогах и что-то ворчал про себя.

Маленький, одетый в женскую кацавейку, мальчик подошел к нему и, дрожа от холода,

пролепетал:

— Дядинька… Ради праздничка…

— Ради праздничка?! — закричал Слякин. — Вот тебе, маленький негодяй!

Слякин схватил мальчишку и, дав ему несколько шлепков, принялся усердно драть за уши.

И это было единственное доброе дело, совершенное Слякиным, потому что оборванный мальчишка совсем замерзал, а шлепки и пощечины быстро согрели его спину и красные уши.

Еропегов

I

Недавно ко мне зашел мой приятель Еропегов и, среди разговора, вдруг, будто что-то вспомнив, всплеснул руками.

— Да! Чуть не забыл… С тобой очень хочет познакомиться Демкин.

— Какой Демкин?

— Демкин! Очень симпатичный парень. Я ему много о тебе говорил. Тебе с ним обязательно нужно познакомиться.

Я пожал плечами.

— Ему что-нибудь от меня нужно?

— Ну, вот видишь, вот видишь, какой ты сухой, черствый человек. Сейчас — «нужно»! Просто он тобой очень интересуется — я ему так много рассказывал о тебе… Почему же вам не познакомиться?

Еропегов был известен мне за человека крайне порывистого, нелепо-суетливого и восторженного.

Поэтому я еще раз пожал плечами и спросил:

— Да он что же, по крайней мере, интересный

человек?

— Он? Удивительный! Стихи пишет.

— Да что ж тут удивительного: и я пишу стихи.

— И ты удивительный человек. Я знаю, ты о себе преувеличенно скромного мнения, но… эх, брат! О чем там говорить. Так можно его привести к тебе? В нем, между прочим, есть еще одно драгоценное качество: незаменимо рассказывает анекдоты!

— Ну что ж — приводи.

— Очень тобой интересуется. А анекдоты — ты животики надорвешь.

II

На другой день, сидя в кабинете, я услышал звонок и потом шум какой-то борьбы в передней.

— Да пойдем! Чего ты, чудак, стесняешься? — слышался голос Еропегова.

— Уверяю же тебя, что неудобно. Ну как это так вдруг, ни с того ни с сего, явиться к незнакомому человеку знакомиться! — доносился до меня другой голос.

— Пустяки! Он тобой очень интересуется. Я так много рассказывал ему о тебе. Ты ему доставишь только удовольствие! Расскажешь два-три анекдота — посмеемся. Раздевайся! Тут запросто.

— Да почему ему так хотелось со мной познакомиться?

— Ну как же! Он тоже стихи пишет…

Дверь отворилась, и на пороге показался оживленный Еропегов, таща за руку конфузливо упиравшегося черного человека, с кривыми ногами и мрачным, унылым взглядом впалых глаз.

— Вот он, проказник! Насилу приволок… Ф-фу!.. Познакомьтесь, господа!

Демкин застенчиво пожал мою руку и сел, скривив голову набок.

— Вот, брат, тот Демкин, о котором я говорил. Стихи пишет! Поэт.

Поэт сконфузился и занялся своими ногами: одну подвернул под кресло, а на носок другой стал пристально смотреть, будто не веря глазам, что он еще обладает этой частью тела.

Руки решительно затрудняли его: сначала он сложил их на коленях, непосредственно за тем перенес их на грудь и в конце концов подпер одной рукой бок, а другой стал обмахивать лицо, покрасневшее от уличного холода.

— Вы действительно пишете стихи? — спросил я, желая ободрить его.

— Пишу, — отвечал он надтреснутым голосом. — Только так, для себя…

Этот человек трогал меня до слез своим жалостным видом. Я решительно недоумевал: зачем Еропегов притащил его?

— Нет, ты, брат, расскажи лучше анекдотик какой-нибудь. Изумительно анекдоты рассказывает, — обратился ко мне оживленный, веселый Еропегов. — Право, расскажи!

Демкин потупил голову и гудящим, унылым голосом покорно начал:

— Один купец пришел в ресторан. Видит — висит клетка с соловьем. «Сколько, — говорит, — стоит?» — «Триста рублей». — «Зажарьте».

— Этот анекдот мне известен, — сказал я. — Купец, когда зажарили, сказал: отрежьте на три копейки. Да?

— Да, да, — кивнул головой Демкин. — А то другой анекдот есть: армянин застал жену с приказчиком на диване. Они целовались, и он…

— Знаю! — перебил я. — Потом он еще диван продал.

Демкин тяжело вздохнул и замолчал.

— Ты расскажи об еврее, который пришел в театр, а потом ушел, не желая ждать, когда прочел в программе, что между вторым и третьим действием проходит полтора месяца, — подсказал Еропегов.

Мрачный Демкин покорно рассказал анекдот об еврее.

Анекдот был тоже мне знаком, но я сделал вид, что впервые услышал его, и поэтому насильственно смеялся.

Еропегов громко хохотал и одобрительно повторял:

— Этакий весельчак! Удивительно! Вот ему бы, — обратился он ко мне, — с Подскокиным познакомиться! Надо будет их познакомить. Да что, брат, там думать... Пойдемте сейчас все к Подскокиным. Они будут очень рады.

Я категорически отказался, ссылаясь на работу.

Демкин встал и стал прощаться со мной. Еропегов хлопал его по плечу, одобрительно говоря:

— Уморушка с тобой! То есть откуда у него берутся эти анекдоты?! Прямо удивительно!

Потом я слышал, как Еропегов говорил Демкину в передней:

— Ты, брат, к нему запросто приходи! Он очень будет рад. Ну как он тебе понравился? Не правда ли — душа человек?.. А сейчас мы к Подскокиным поедем.

— Да я ж с ними не знаком!

— Пустое! Они очень будут рады.

III

На днях я собирался ехать в Москву. Услышав об этом, Еропегов всплеснул руками и спросил меня:

— Ты где же думаешь остановиться?

— В гостинице. Мне на два дня.

— Ну не чудак ли?.. Я всегда говорил, что ты — форменный чудак! Поезжай прямо к Коле Полтусову и остановись у него.

— К какому Коле Полтусову?

— Ты не знаешь Кольку? Он не знает Кольку! Тебе стоит только явиться к нему и сказать: «Привез вам поклон от Алеши!» Он тебя в объятьях задушит.

Глаза его увлажнились слезами.

— Да… — прошептал он, будто охваченный потоком нахлынувших воспоминаний. — Коля Полтусов… Сколько у меня связано с этим именем… Наши кутежи, попойки… Милый, непосредственный Коля… Нет, брат! Ты его обидишь, если не приедешь прямо к нему. У него ты великолепно устроишься на эти два дня.

— Но как же мне поехать к незнакомому человеку? Ведь это ты с ним друг. А мне он незнаком.

— Колька незнаком?! Николай Полтусов незна-

ком? — вскричал Еропегов. — Ну ты, милый, меня уморить хочешь. Вас через час водой не разольешь! Прямо скажи — поклон от Алеши! Ну согласись… ведь ко мне ты бы поехал? Почему же к нему не хочешь? Ты скажи только — я друг Алеши! И довольно. И довольно!

Я спорил с Еропеговым около часа, и наконец он победил меня своей стремительностью, взяв торжественное слово, что я, по приезде в Москву, направлюсь прямо к Полтусову.

— Но ведь не могу же я ему сказать: «Приютите меня». Это неудобно!

— Этого и не надо. Он сам в тебя вцепится. Да… Коля Полтусов… Что-то ты сейчас делаешь там, в своей Москве?! — растроганно прошептал Еропегов.

IV

Приехав в Москву, я прямо с вокзала поехал по данному мне адресу и действительно увидел подъезд с металлической дощечкой на дверях:

НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ ПОЛТУСОВ
присяжный поверенный

Меня впустили и через минуту ввели в кабинет

Полтусова, высокого пожилого господина, недоумевающе поднявшегося мне навстречу.

— Здравствуйте, — сказал я, отрекомендовавшись. — Привез вам поклон от Алеши.

— От какого Алеши? — спросил он.

— От Алексея Петровича Еропегова, вашего друга.

— Алексея… Агапеньева?.. Что-то… такого я не знаю, — задумчиво сказал Полтусов.

— Не Агапеньева, а Еропегова.

— Еропегова?.. Гм… Да он какой из себя?

— Высокий такой, костлявый. Вечно суетится.

Полтусов потер лоб.

— Не припомню… Что за странность!..

— Да вы Полтусов? Ваше имя Николай?!

— Да.

— Ну как же вы его не помните?! Он еще вспоминал о ваших попойках, о каком-то кутеже в «Славянском базаре»…

Полтусов задумался.

— Он не брюнет ли такой, с размашистыми движениями?.. Еще всех знакомить любит?..

— Он! — вскричал я. — Конечно, Еропегов!

— Теперь я припоминаю. Мы с компанией однажды сидели в «Славянском базаре» за столиком, а этот господин, сидя рядом со своим знакомым, —

подошел потом к нам и сам представился. Помню, помню. Он еще предлагал мне выпить на брудершафт, да я отказался… Ну что за смысл пить с почти незнакомым человеком… Не правда ли?

Я встал, пробормотал несколько слов извинения и, опрокинув стул, поспешно ушел от Полтусова, боясь оглянуться, чтобы не встретиться с его глазами.

V

— Ну что, — спросил Еропегов, радостно приветствуя меня по возвращении из Москвы. — Как Коля?

— Ничего. Просил тебе кланяться, — усмехнулся я.

— Вот видишь! Ты, конечно, у него остановился?

— О да! Он меня принял как родного. Одно твое имя раскрыло передо мной все двери.

— Ну вот видишь! Я всегда говорю, что человеческие отношения должны быть самыми простыми и задушевными.

Он посмотрел на меня, помолчал и потом, подумав немного, сказал:

— Тебе нужно отдохнуть среди природы. Тебе нужно поехать в Новоузенский уезд.

— Почему именно в Новоузенский?

— Там живет семья помещика Козулевича. Прекрасные люди! Право, поезжай. Они тебя как родного примут. Чего, в самом деле.

— Ты хорошо знаком с ними? — усмехнулся я.

— Я не знаком, но мне Демкин много говорил о них. Славные такие люди! Они будут тебе бесконечно рады…

Вечером

Посвящаю Лиде Терентьевой

Подперев руками голову, я углубился в «Историю французской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения

мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «А зачем?» она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, — вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

— У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

— Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну слушай… Ты про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

— Первый раз слышу.

— Ну слушай… Жила-была Красная Шапочка…

— Виноват… Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения, при развитии фабулы.

— А зачем?

— Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает:

— В этом… В Симферополе.

— Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

— …Взяла она маслецо и лепешечку и пошла через лес к бабушке…

— Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

— Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

— По-латыни — Lupus.

— Что?

— Я спрашиваю: большой волк?

— Вот такой. И говорит ей…

Она морщит нос и рычит:

— «Кр-расная Шапочка… Куда ты идешь?»

— Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу:

— Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

— Ну я тебе расскажу. Жил-был мальчик…

— А где он жил? — ехидно спрашивает она.

— Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папаша… яблоки имеют лапки?» — «Нет, милый». — «Ну значит, я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

— Ай! Съел жабу?

— Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

* * *

Минут через двадцать знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем и шепот:

— Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют как звездочки, и губки топырятся так смешно…

— Ну ладно. Излей свою наболевшую душу.

— Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые… груши. Влезла на

дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: «Мама! Груши имеют лапки?» — «Нет, детка». — «Ну значит, я курицу слопала!»

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замять разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке:

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о… Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

— Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу, перелистывает…

— Пойди сюда, дядя, — неуверенно подзывает она. — Вот твоя невеста…

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы.

— Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка… Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

— Я не могу… найти… для тебя… страшную… невесту.

Пожав плечами, сажусь за «Революцию»; углубляюсь в чтение.

Тишина… Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка

от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы.

Душевная драма
(Жизнь человека)

Начало этой печальной и трагической истории такое.

В шестом этаже большого каменного дома стояли в разных позах трое лиц и вели между собой оживленный разговор.

Женщина прижимала красивыми полными руками к груди простыню, забыв, что простыня не может нести двойную службу и прикрывать в то же время ее стройные обнаженные колени; женщина плакала и, в промежутке между рыданьями, женщина говорила:

— О Иван! Уверяю же тебя, что я не виновата… Это все он… Вскружил мне голову, увлек меня, и все это, уверяю тебя, против моей воли! Я боролась…

Один мужчина, не снимая пальто и шляпы, сильно жестикулировал и укоризненно говорил третьему в этой комнате:

— Мерзавец! Я тебе докажу сейчас, что ты подохнешь как собака, и закон будет на моей стороне! Ты расплатишься за эту кроткую страда-

лицу, подлый змей-искуситель!

Третьим в этой комнате был молодой господин, одетый в настоящий момент хотя не совсем тщательно, но державшийся с большим достоинством…

— Что ж я… Я ничего, — возражал он, печально смотря в пустой угол комнаты.

— Ты — ничего? Так вот же тебе, негодяй!

Мощный мужчина в шляпе распахнул окно, выходившее на улицу, схватил в охапку не совсем тщательно одетого молодого господина и выбросил его в окно.

* * *

Очутившись в воздухе, молодой господин стыдливо застегнул жилетку и, прошептав себе в утешение:

— Ничего… Неудачи закаляют!

Полетел вниз.

Не успел он еще в своем полете достигнуть следующего, пятого, этажа, как из груди его исторгся тяжелый вздох.

Воспоминание о женщине, которую он сейчас только покинул, отравило своей горечью всю прелесть ощущения полета.

«Боже ты мой! — горестно подумал молодой

господин. — Ведь я ее любил… А она не нашла в себе даже мужества во всем признаться супругу! Бог с ней! Теперь я чувствую, что она для меня далека и безразлична…»

С последней мыслью он достиг уже пятого этажа и, пролетая мимо окна, с любопытством заглянул в него.

За покосившимся столом, подперев голову руками, сидел молодой студент и читал книгу.

Пролетавший господин, увидя его, вспомнил свою жизнь, вспомнил, что он до этого проводил все свое время в светских забавах, забывши о науке, о книгах, и его потянуло к свету знания, к раскрытию пытливым умом тайн природы, к восхищению перед гением великих мастеров слова…

«Милый, милый студент! — хотелось ему крикнуть читавшему. — Ты разбудил во мне дремавшие стремления и излечил от того пустого увлечения суетой жизни, которая довела меня до такого печального разочарования в шестом этаже…»

Но, не желая отрывать студента от занятий, молодой человек не крикнул этого, а пролетел до четвертого этажа, и здесь мысли его приняли другое направление.

Сердце сжалось сладкой и жуткой болью, а голова закружилась от восхищения и восторга.

У окна четвертого этажа сидела девушка и, имея перед собою швейную машину, что-то шила.

Но ее прекрасные белые руки забыли в настоящий момент о работе, и голубые, как васильки, глаза смотрели куда-то вдаль мечтательно и грустно.

Молодой господин не мог оторвать взора от этого видения, и в сердце его росло и ширилось какое-то новое, большое и властное чувство…

И понял он, что все его прежние встречи с женщинами были не более как пустыми увлечениями и что только теперь он познал это странное, загадочное слово: любовь.

И его потянуло к тихой, семейной жизни, к ласке беззаветно любимого существа, к улыбке радостного и умиротворенного бытия.

Следующий этаж, который он в настоящий момент пролетал, еще более укрепил его в этом стремлении.

В окне третьего этажа он увидел смеющуюся мать, которая, подбрасывая на коленях полненького улыбающегося ребенка, пела ему тихую песенку, и в глазах ее светилась любовь и ласковая материнская гордость.

«И я хочу жениться на девушке из четвертого этажа и хочу иметь таких же розовых, пухленьких ребят, как в третьем этаже, — подумал господин. — И я весь отдамся моей семье и в этом самопожертвовании найду свое счастье…»

Но приближался уже второй этаж. И картина, которую в окне этого этажа увидел молодой господин, заставила сжаться его сердце.

За роскошным письменным столом сидел господин с блуждающим взглядом и взъерошенными волосами. Он беспрестанно поглядывал на фотографическую карточку, которая стояла перед ним. При этом правой рукой писал какую-то записку, а в левой держал револьвер, прижимая дуло его к виску.

«Безумец! Остановись! — хотел крикнуть ему пролетающий молодой господин. — Жизнь так прекрасна!»

Но какое-то инстинктивное чувство удержало его от этого.

Роскошная обстановка квартиры, богатство и уют навели молодого господина на мысль, что в жизни есть что-то другое, что может развеять и этот уют, и довольство, и семью, что-то более сильное, властное и ужасное…

«Что же это такое?» — подумал с тяжелым

сердцем молодой господин, и, как будто нарочно, жизнь дала ему суровый и бесцеремонный ответ в окне первого этажа, которого он теперь достиг.

У окна, почти совсем скрываясь за драпировкой, сидел молодой человек без сюртука и жилета, а на коленях у него сидела полуодетая дама, любовно обвивши шею возлюбленного круглыми розовыми руками и жарко прижимаясь к нему пышной грудью.

Молодой господин вспомнил, что он видел эту нарядную даму на прогулке с мужем, но этот человек не был ее мужем… Тот был старше, с черными полуседыми кудрями, а этот имел прекрасные белокурые волосы.

И вспомнил молодой господин свои давешние планы — ученья, по примеру студента пятого этажа, женитьбы на девушке четвертого этажа, мирной семейной жизни на манер третьего этажа, — и тяжело сжалось его сердце.

Увидел он всю эфемерность, непрочность счастья, о котором он мечтал, увидел в будущем около себя и жены целый ряд молодых людей с прекрасными белокурыми волосами, вспомнил муки господина второго этажа и те меры, которые тот принял для избавления от этих мук, — и понял он его.

«После всего виденного — жить больше не стоит, это и глупо, и мучительно», — с болезненной, саркастической усмешкой подумал молодой человек и, сдвинув брови, решительно подлетел к самому тротуару улицы.

И не дрогнуло сердце его, когда он коснулся руками тротуарных плит и, сломав эти бесполезные теперь руки, разбил голову о твердый, равнодушный камень.

* * *

А когда около его неподвижного трупа собрался любопытствующий народ, никому и в голову не пришло, какую глубокую и сложную душевную драму пережил за момент перед этим молодой господин!

Широкая масленица

Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:

— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что… Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете… Что съедим — за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?

«Чтоб тебе лопнуть, жила!» — подумал хозяин, а вслух сказал:

— Неудобно это как-то… Ну да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!

* * *

Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:

— Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..

Гость опытным взглядом обвел стол.

— Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку, побольше.

Хозяин вздохнул и прошептал:

— Как хотите. На то вы — гость.

И налил рюмку, стараясь недолить на полпальца.

— Полненькую, полненькую! — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: — Люблю полненьких!

— Ну-с… ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки… Кильки, должен я вам сказать, поражающие!

— Те-те-те! — восторженно закричал гость. — Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!

— Да-с, икра… — побелевшими губами прошептал Кулаков. — Конечно, можно и икры… Пожалуйте вот ложечку.

— Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымайте выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?

Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил:

— Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел… Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши… Да так, к

слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!

Гость зажмурился.

— Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен… на хлеб… да в рот… Гам! Вот она и наказана.

Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:

— Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.

— Тает? Скажите! Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет — изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Бла-агороднейшая дама!

— А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской!

— Так то немцы, — резонно заметил гость. — А мы, батенька, русские. Широкая натура! А ну, еще… «Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он», — как сказал какой-то поэт.

— Никакой поэт этого не говорил, — злобно возразил хозяин.

— Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.

Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину.

— Вы почему-то не кушаете ветчины… Неужели вы стесняетесь?

— Что вы! Я чувствую себя как дома!

«Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал», — хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:

— Вот и блины несут. С маслом и сметаной.

— И с икрой, добавьте, — нравоучительно произнес гость. — Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил… Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!

Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:

— Черт возьми! Икра как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда… Совершенно незаметно!

— Неужели? — удивился печальный хозяин и прибавил: — А вот мы ее опять придвинем.

И придвинул грибки.

— Да это грибки, — добродушно сказал гость.

— А вы… чего же хотели?

— Икры. Там еще есть немного к блинам.

— Господи! — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.

— Что такое?

— Кушайте, пожалуйста, кушайте!

— Я и ем.

Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.

— Кушайте, кушайте! Вы мало икры ели, еще кушайте… Кушайте побольше.

— Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.

— Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте… Может быть, вам шампанское открыть, ананасов, а? Кушайте!

— Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед… Оставим место и для шампанского, и для ананасов… Пока я — сию брюнеточку. Кажется, немного еще осталось?

— Куш… кушайте! — сверкая безумными глазками, взвизгнул хозяин. — Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь — кушайте! Шампанского? И шампанское дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало… Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого… Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!

И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.

Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.

День госпожи Спандиковой

День госпожи Спандиковой начался обычно.

С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической дурой» и «рыжей тетехой», а потом долго причесывалась.

Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.

Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга выставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.

В городе она купила десять фунтов сахарного песку, цветок в глиняном горшке и опять колотила Кольку.

Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.

Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова

засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.

Извозчик категорически заявил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.

Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.

Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.

— Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.

Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.

Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легок, и сначала радова-

лась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.

Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.

— Мука моя мученская! — простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.

Из Галочки, сахара, цветка, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.

Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.

* * *

Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться, и так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.

Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.

— Чего ты? — спросил господин Спандиков.

— Я потеряла обручальное кольцо в воде, — всхлипнула госпожа Спандикова.

— Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать — потеряла, значит, и нет его. Пойдем!

— Как пойдем? — вспыхнула госпожа Спандикова. — Так может говорить только старый осел!

— Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?

Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:

— Ты.

— Ну ладно, ну я… Пойдем, милая!

— Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.

— Я куплю другое. Пойдем, милая!

— Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит — большое несчастье.

— Первый раз слышу!

— Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.

— Ну я иду домой.

— Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?

— Купить другое? — пошутил муж.

Госпожа Спандикова всплеснула руками.

— Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца… Это принесет нам страшное несчастье.

— Да мне не хочется.

— Лезь!

Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.

— Ищи тут!

Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.

— Ищи же тут! Нырни еще!

Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:

— Разве ты в этом месте купалась?

— Нет… вот здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.

— Да течение не оттуда, а отсюда.

— Не может быть… Почему же, когда мы купались у Красной рощи, течение было отсюда?

— Потому что мы были на том берегу реки.

— Это все равно! Ищи!

Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку, грустный, с искаженным лицом.

— Не могу больше! — прохрипел он.

— Это еще что за новости?!

— Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо на моем здоровье.

— Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье… Поищи еще здесь…

* * *

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:

— Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер…

В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но, тем не менее, господин Спандиков, зеленый как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.

Вернулись вечером.

Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер.

* * *

На даче все оживилось.

Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.

Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром «хронической дурой» и «рыжей тетехой».

Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.

Сочувствовала.

Утром рыжая соседка говорила своему мужу:

— Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами… Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!

— Ну? — спросил муж хронической дуры.

— Ну — и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?

Страшный человек

I

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность на голове и лице напоминала редкий мох, скупо покрывающий какую-нибудь северную неприветливую скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы, аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа — любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут

тысячи других помощников счетоводов.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями, с нахлобученными на глаза шляпами, и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

— Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, 2 пуда 3 фунта.

Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на голову широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида, разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы на него было произведено по дороге какое-нибудь нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но — или негодяям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая

всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

II

Химиков благополучно добирался домой и с отвращением съедал обед из двух блюд, с вечным киселем на сладкое.

Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная упорная война.

— Я не хочу вашего супа и битков, — говорил он обиженно. — Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню.

Он хотел сделать так:

Съесть, надвинув шляпу на глаза, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего — эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлял-

ся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь».

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывавшими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

— Эй, паренек! Позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

— Их нет-с, — говорил обычно слуга. — Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

— Дай ты мне пива, только не в бутылке, а

вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха, — грубо смеялся он, хлопая себя по карману. — Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал кому-нибудь из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля были обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

— Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что все на него смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III

Вокруг него шумела и ругалась городская голытьба, а он думал:

«Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто — будут со страхом спрашивать — стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это — страшный человек! Потом княжну какую-нибудь украсть...»

Он шарил под плащом находившийся там между складок кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал прислуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы, — думал он, — если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал».

И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог пойти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека. («Эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся...»)

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудность бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом,

говорил:

— Вот… возьми себе!

При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV

У помощника счетовода был один только друг — сын квартирной хозяйки Мотька, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

— Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотька робко входил в комнату Химикова и садился в уголку.

Химиков, в задумчивости, шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

— Ну тезка… Было сегодня жаркое дело!

— Б-было?.. — спрашивал Мотька, дрожа всем телом.

Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

— Да, брат… Купчину одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча — чудо что такое!

— А что же вы… с купцом сделали? — тихо спрашивал бледный Мотька.

— Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов — Лоренцо, и я, ха-ха! — поквитался с ним.

— Кри… чал?.. — умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся на его круглой голове.

— Не пикнул! Нет, это что… Это — забава по сравнению с делом старухи Монморанси!

— Какой… Старухи? — прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

— Была, брат, такая старуха… Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с… Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери… Но каким-то образом полицейские

ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я четырех уложил… Ну и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

— А сколько вы, вообще, человек… уложили?

Химиков задумывался.

— Человек… двадцать, двадцать пять, не помню, право. А что?

— Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть…

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

— Ничего, брат. Зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть… А потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду, босой, в Иерусалим…

Химиков кутался в плащ и, мрачный, шагал из угла в угол.

— Покажите мне еще раз ваш кинжал, — просил Мотька.

— Вот он, старый друг, — оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. — Я таки частенько утоляю его жажду, ха-ха! Любит он свежее мясо… Ха-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывал конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

— Ну Мотя… Устал я после всех этих передряг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

— Зачем вы предпочитаете пол? — почтительно спрашивал Мотька.

— Э, брат. Надо привыкать… Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев — это царская постель!

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупо покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков — такой маленький, жалкий и незначительный и что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его

сверх плаща одеялом, гасил лампу и, на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшим в вечность закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжалом, — влюбился.

Его идеал — бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме, — нашел воплощение в девице без определенных занятий Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико-живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

— Очень даже это нетактично — приставать к незнакомым девушкам!

— Сударыня! Маруся… Я уверен, что такое

очаровательное существо может именоваться только Марусей… Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мною. Где вы живете?

— Ишь, чего захотели! Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер седьмой… Ах! Что я сказала? Я, кажется, проговорилась… Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но, когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

— Милостивый государь! — загремел он, приблизившись к донжуану и смотря на него снизу вверх. — Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

— Кто вы такой, черти вас раздери?

— Негодяй! Я тот, которого Провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный толстый

блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

— Ч-черт з-знает, что такое! — пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки.

— Черт знает… Р-решительно, не понимаю… — оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI

— Сударыня! — сказал Химиков, снимая свою черную, странную шляпу и опуская ее до самой земли. — Прошу извинения, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость! Ха-ха! — зловеще захохотал Химиков. — Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания… Ха-ха-ха!

— Кто вы такой? — спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

— Я?

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником

счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:

— Когда-нибудь… Когда будет возможно, — человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто — я… Пока же… сударыня!.. Не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы! Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь… Не найдете ли вы удобным соблаговолить дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома?

— Ну что ж, можно! — усмехнулась Полина Козлова.

Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию — Полина Козлова.

— Так молоды и, увы, — беззащитны, — прошептал Химиков, тронутый ее историей. — Скорбь об утере ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь

направленные на вас удары злобной интриги и происки вра…

— Покатайте меня на автомобиле, — сказала девушка, щуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям, Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им «старые добрые дилижансы». Но желание женщины было для него законом.

— Сударыня! Вашу руку…

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возразил ей ни слова, но про себя решил, что, если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине.

В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

— Суд… Полина. Вы… меня… полюбили?! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь!

— Дайте папиросу! — попросила Полина, разглаживая его редкие, рыжие волосы.

— Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! — в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

— Сегодня я сплю одна!

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива — все это поглотило молодое, поэтичное чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной

быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед… Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в таверне «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время как атрибут любовного приключения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли — он не замечал этого. Над Химиковым смеялись — он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли — он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание.

И наступило крушение.

VIII

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал как зеницу ока.

Но однажды Полина сказала:

— Принесите завтра конфект!

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

— Что это? — спросил удивленный торговец.

— Кинжал! Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, — печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

— Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, — улыбнулся торговец. — С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX

А на другой день, так как вопрос о конфектах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений: ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали. Тут же он решил, если ограбит большую сумму, — отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал — маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб, — перед прохожим.

— Ха-ха-ха! — жутким смехом захохотал он. — Нет ли денег?

— Бедняга! — сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. — В такую холодную ночь просить милостыню… Это ужасно! На тебе дву-

гривенный, пойди, обогрейся.

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, хлопал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

X

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйкин сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.

— Да… брат Мотя, — подмигнул ему Химиков. — Много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата!

— Мама говорила, что, может, не умрете, — попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.

— Нет уж, брат… Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя! У меня не было друзей, кроме тебя… Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего — мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью:

— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать!

— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков. — Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя! Жди, когда придут к тебе трое людей в красных плащах с винтовками в руках, — тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных, в защиту слабых!

Он оборвал голос и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова? Было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

* * *

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

— Лекарь! — с трудом сказал Химиков, открывая глаз. — Тебе не удастся проникнуть в тайну

моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

— Души загубленных мною толпятся перед моими глазами длинной вереницей… Но дам я за них ответ только перед престолом Всевыш… Засни, Красный Матвей!

И затих.

Камень на шее

I

Однажды, тихим вечером, на берегу морского залива очутились два человека.

Один был художник Рюмин, другой — неизвестно кто.

Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно уже с беспокойством следил за поведением неизвестного человека, который то ходил нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, то останавливался на одном месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел в воду.

Было заметно, что в душе неизвестного человека происходила тяжелая борьба.

Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, неуклюжий пиджак, — очевидно, с чужого плеча, — полез в воду, ежась и испуская отчаянные вздохи.

— Эй! — закричал испуганно Рюмин, вскакивая на ноги. — Что вы там делаете?

Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал:

— Не мешайте мне! Уж я так решил…

— Что вы решили? Что вы делаете?!

— Ослепли вы, что ли? Не видите — хочу утопиться…

— Это безумие! Я не допущу вас до этого!..

Неизвестный человек, балансируя руками, сделал нерешительный шаг вперед и воскликнул:

— Все равно — нет мне в жизни счастья. Прощайте, незнакомец! Не поминайте лихом.

Рюмин ахнул, выругался и бросился в воду. Вытащить самоубийцу не представляло труда, так как на том месте, где он стоял, было неглубоко — немного выше колен.

— Безумец! — говорил Рюмин, таща неизвестного человека за шиворот. — Что вы задумали?! Это и грешно, и глупо.

Извлеченный на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого одушевления. Брошенный сильной рукой художника на песок, он встал, отряхнулся и, потупившись, сунул художнику в руку свою мокрую ладонь.

— Пампасов, — сказал он вежливо.

— Каких пампасов? — изумленно спросил Рюмин.

— Это я — Пампасов. Нужно же нам познакомиться.

— Очень приятно, — все еще дрожа от напряже-

ния, отвечал Рюмин. — Моя фамилия — Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки?

Пампасов неожиданно схватился за голову и завопил:

— Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные зеленоватые волны… Я обрету там покой!..

Рюмин дружески обхватил его за талию и сказал:

— Ну успокойтесь… Чего, в самом деле… Я уверен, все обойдется. Самое сильное горе, самое ужасное потрясение забываются…

— Да у меня никакого потрясения и не было, — проворчал, уронив голову на руки, Пампасов.

— Тогда чего же вы…

— С голоду… С нужды… Со стыда перед людьми за это рубище, которое я принужден носить на плечах…

— Только-то? — оживился Рюмин. — Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно помочь в десять минут! Вы будете одеты, накормлены и все такое.

— Я милостыни не принимаю, — угрюмо проворчал Пампасов.

— Какая же это милостыня? Заработаете — от-

дадите. Пойдемте ко мне. Я здесь живу недалеко.

Пампасов встал, стряхнул со своей мокрой, грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав голову в плечи, зашагал за своим спасителем.

II

Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в мастерской и вообще старался выказать ему самое деликатное внимание, будто чувствуя себя виноватым перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником, смотревшим с нескрываемым восхищением на сигары, куриные котлеты, вино, тонкого сукна пиджак и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин.

Пампасов жил у Рюмина уже несколько дней, и художник, принявший в бедняге самое искреннее, деятельное участие, рыскал по городу, отыскивая работу своему протеже. Так как Пампасов однажды в разговоре сказал «мы, братья-писатели», то Рюмин искал, главным образом, литературной работы.

Через две недели такая работа нашлась в редакции небольшой ежедневной газеты.

— Пампасов! — закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату. — Ликуйте! Нашел вам

работу в газете!

Пампасов медленно спустил ноги с дивана, на котором лежал, и, подняв на Рюмина глаза, пожал плечами.

— Газета… Литературная работа… Ха-ха! Сегодня один редактор — работаешь. Завтра другой редактор — пошел вон! Сейчас газета существует — хорошо, а сейчас же ее закрыли… Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться…

— Господи!.. — сконфуженно закричал Рюмин. — Что вы этакое говорите… Да живите себе, пожалуйста. Я думал, вам скучно — и хотел что-нибудь…

— Спасибо, — сказал Пампасов, тронутый. — Должен вам сказать, Рюмин, что труд — мое призвание, и я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха. Эх!

Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, воскликнул:

— Эх! Такую силищу в себе чувствую, что, кажется, весь мир бы перевернул… Труд! Какая в этом односложном слове мощь…

Он опустил голову и задумался.

— Так бы хотел пойти по своему любимому пути… Работать по призванию…

— А какой ваш любимый путь? — несмело

спросил Рюмин.

— Мой? Педагогика. Сеять среди детей семена знания, пробуждать в них интерес к науке — какое это прекрасное, высокое призвание…

III

Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов, по обыкновению, лежал на диване и читал книгу.

— Дьявольски приходится работать, — сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую краску. — Картины покупаются плохо, платят за них дешево, а писать как-нибудь, наспех, не хочется.

— Да, вообще, живопись… В сущности, это даже не труд, а так что-то. Самое святое, по-моему, труд!

Рюмин ударил себя кулаком по лбу.

— Совсем забыл! Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные… Хотите?

Пампасов саркастически засмеялся.

— Невредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить в голову, что дважды два — четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, за семь верст киселя хлебать… Прекрасная идея, что и говорить.

Изумленный Рюмин опустил палитру.

— Да вы ведь сами говорили…

— Рюмин! — страдальчески наморщив брови, сказал Пампасов. — Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. Конечно, вы вырвали меня из объятий смерти, и моя жизнь всецело в ваших руках… Ну скажите… Может быть, пойти мне и положить свою голову под поезд или выброситься из этого окна на мостовую… Что же мне делать? В сущности, я ювелир, и безумно люблю это благородное занятие… Но что делать? Где выход? Что, спрошу я, — есть у меня помещение, инструменты, золото и драгоценные камни, с которыми можно было бы открыть небольшое дело? Нет! Будь тысяч пятнадцать — двадцать…

Пампасов шумно вздохнул, повалился навзничь и, подняв с полу книгу, погрузился в чтение.

IV

Рюмину опротивела своя собственная квартира и ее постоянный обитатель, переходивший от дивана к обеденному столу и обратно, чем вполне удовлетворялась его неугомонная жажда лихорадочного труда. Рюмин почти перестал курить сигары и пить вино, так как то и другое

уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали два тела и четыре ноги — попеременно.

Рюмин давно уже ухаживал за какой-то интересной вдовой, с которой познакомился на прогулке… Он был несколько раз у нее и приглашал ее к себе, рассчитывая на время ее визита услать куда-нибудь назойливого самоубийцу.

Однажды, возвращаясь из магазина красок домой и войдя в переднюю, Рюмин услышал в мастерской голоса:

— Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня.

— Ну один раз поцелуйте, что вам стоит!..

— Вы говорите глупости! Я вас не знаю… И потом, если об этом узнает Николай Петрович…

— Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь, возьмет в зубы палитру и ухом не поведет. Это простак чрезвычайный! Миледи! Если вы дадите поцелуй — я его сейчас же отдам вам обратно. А?

— Сумасшедший! Что вы… делаете?..

Послышался тихий смех и звук сочного поцелуя.

«Негодяй! — заскрежетал зубами Рюмин. — Ему

мало моего платья, квартиры, еды и моих нервов… Он еще пользуется и моими женщинами!»

Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и сурово сказал, смотря куда-то в сторону:

— Эй!.. Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. Завтра утром можете уходить от меня.

— Зачем же вы меня спасли? — удивился Пампасов. — Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать.

Голова его упала на подушки, и через минуту послышалось ровное дыхание спящего человека.

С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову, заскрипел зубами и злобно прошипел:

— У, проклятый! Так бы и дал тебе по голове…

V

Утром Пампасов проснулся веселый, радостный, совершенно забыв о вчерашнем разговоре.

— Встали? — приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин. — Помните, что я вам вчера сказал? Можете убираться.

Пампасов побледнел.

— Вы… серьезно? Значит… вы опять толкаете меня в воду?

— Пожалуйста! Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. Да вы и не будете топиться!

— Не буду? Посмотрим!

Пампасов взглянул на мрачное, решительное лицо Рюмина, опустил голову и стал одеваться.

— Прощайте, Рюмин! — торжественно сказал он. — Пусть кровь моя падет на вашу голову.

— С удовольствием! Пойду еще смотреть, как это вы топиться будете.

Вышли они вместе.

На берегу залива виднелись редкие фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов обернул к Рюмину решительное лицо и угрюмо спросил:

— Так, по-вашему, в воду?

— В воду.

Рюмин хладнокровно отошел и сел поодаль, на камень, делая вид, что не смотрит. А Пампасов принялся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, изредка останавливаясь, смотря уныло в воду и шумно вздыхая. Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на приближающихся к нему двух гуляющих, снял пиджак и, нерешительно ежась, полез в воду.

— Что он делает? — в ужасе воскликнул один из гуляющих. — Это безумие! Нельзя допустить его до этого.

Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел по колено в воду и стал тащить самоубийцу на берег. Потом приблизился другой, все трое о чем-то заспорили. Кончилось тем, что двое неизвестных взяли под руки Пампасова и, дружески в чем-то его увещевая, увели с собой.

До Рюмина донеслись четыре слова:

— Я милостыни не принимаю!..

Дурная наследственность

Жена пришла в кабинет мужа и, упав в кресло, глухо зарыдала.

— Что случилось? — в ужасе спросил муж.

— Сын… Ваня… Горе! Горе наше…

— Заболел, что ли?

— Нет, не заболел, — сдерживая рыдания, отвечала мать. Устремила распухшие заплаканные глаза на лампу и, сквозь всхлипывания, стала тихо рассказывать:

— Вчера еще вечером… ничего не было заметно… Поужинал, как всегда, лег спать. Нынче тоже… пил чай… гулял. А недавно… приходит ко мне… часа два тому назад… Не узнаю: глаза так странно блестят и руки болтаются, как на ниточках… «Что ты, — говорю, — Ваничка?» «Маменька… — говорит он мне. — Маменька! Извините, — говорит, — меня, но я буду писать драму!»

Муж судорожно вскочил, и кресло с глухим стуком отлетело в сторону.

— Что-о?!!

Жена покорно и скорбно качнула головой.

— Да, говорит: «Драму хочу писать». — «Ваничка, — говорю я ему, — Ваничка! Подумай, что тебе такое вскинулось! Мыслимо ли? Я оберофицерская дочь, отец в банке служит, а ты…» И заплакала! Слезы у меня — кап-кап! «Что же ты с нами, старыми, делаешь? Зачем фамилию нашу позоришь?» — «Маменька, — говорит, — такая уж моя судьба, чтобы написать драму».

Наступила жуткая тишина.

Отец, склонившись на стол, тихо, беззвучно плакал.

— Господи! За что? Того ли я ожидал себе на старость? Да лучше бы я тебя своими руками в колыбе…

Он схватился за голову.

— Это мы сами виноваты! Подумали ли мы о том, какую наследственность даем своему ребенку? Могли ли мы жениться, когда у меня тетка была слабоумная, а отца твоего уволили с военной службы за алкоголизм?! За грехи предков… Ха-ха-ха!

Жуткий хохот обезумевшего от горя отца гулко прокатился по кабинету.

* * *

В маленькой мрачной комнате сидел за столом молодой человек и, пугливо озираясь, писал.

Около дверей то и дело беззвучно шмыгала его мать и, вытирая красные глаза, шептала мужу, уныло сидевшему в уголке кабинета:

— Пишет! Второй акт дописывает!

— Пишет… Воззри, Господи, яко на Иова многострадального! Ты видишь — не ропщу я… Все в руце Твоей!

Время от времени молодой человек, опустив голову, проходил в кухню, выпивал пересохшими губами кружку воды и опять возвращался к столу.

— Ваничка… — простирал к нему руки отец. — Ваничка! Дитя ты наше разнесчастное!

Скоро новость о том, что молодой человек пишет драму, разнеслась по всей улице. Когда он однажды спустился в лавочку, чтобы купить бумаги (прислуга категорически отказалась от этого), лавочник встретил его угрюмо и неприветливо:

— Родителей ваших знаю, достойные люди… А вы накося, что выкидываете… Драму пишете!

Молодой человек улыбнулся бледной винова-

той улыбкой и попробовал отшутиться:

— Тебе же лучше, Кузьмич: на бумаге деньги заработаешь!

— Не хочу я этих денег ваших. Проклятые это деньги! Душу они выжгут.

Когда молодой человек возвращался домой, его встретила ватага мальчишек.

— Глиста чертова! Драму пишет!

— Энтот?

— Он самый. Дармодел, кочерыжкина голова!

— Свистни его камнем. Фьють!!!

— Улюлю!

Под ноги ему полетели камни, палки.

Молодой человек побежал домой, но под воротами дворник выплеснул ему на голову из чайника кипяток, будто бы нечаянно… А соседская кухарка, поднимаясь по лестнице, увидела его, покачала головой, сунула ему в руку копейку, перекрестилась и прошептала:

— Несчастненький…

* * *

Когда он дописал четвертое действие, мать его не вынесла потрясения и тихо умерла со словами прощения на добрых материнских устах.

Окончив драму, молодой человек завернул ее

и, крадучись, пошел в цензурный комитет.

— Что прикажете? — встретил его курьер.

— Драму принес.

— Фу-ты, пропасть! А я думал, что… Нечего здесь… Пойди, на приступочках посиди. А то тут одежа висит, как бы ты не стянул грешным делом.

Он вышел, сел на ступеньках и, худой, с поджатыми губами, упорно сидел два часа.

Потом пришел цензор. Молодой человек назвал свое имя и протянул цензору руку, но тот спрятал свои руки в карманы и, брезгливо глядя на рукопись, сказал:

— Драма?

— Драма!

— Зачем?

— Так.

— Вы сапоги умеете чистить?

— Нет…

— То-то и оно. Сапог не умеете чистить, а драмы пишете… Не глядели бы мои глаза на эту публику. Уходите!

* * *

Потом он принес свою драму в театр, антрепренеру. Как раз шла генеральная репетиция, и

плотники переставляли декорации. Узнав, что он принес драму, они потихоньку уронили ему на голову боковую кулису, а потом опустили под ним люк.

Он кротко вынес все это и, сопровождаемый насмешками и бранью, добрался до антрепренера.

— Чем могу служить? — спросил антрепренер.

— Я вам драму принес.

— Дра-аму? Для чего же она нам, ваша драма?

— Поставить бы у вас?

— Да для чего же мы ее будем ставить?

— Другие же драмы вы ставите? — робко спросил молодой человек.

— Сплошная дрянь! Ставлю потому, что нужно же что-нибудь ставить.

— Хе-хе! — заискивающе засмеялся молодой человек. — Вот, может, и мою поставите. Позвольте вам ее вручить!

Антрепренер взял завернутую в толстую бумагу драму и, не разворачивая, осмотрел сверток.

— Тоже дрянь! Не подойдет.

— Но ведь вы еще не читали?!

— Да уж я знаю, будьте покойны! Наметался на этом деле. Скверная драма. Наверняка провалится. Савелий, проводи их.

* * *

Возвращаясь обратно, молодой человек купил портфель, пришел домой и положил написанную драму в этот портфель. Потом спустился вниз, купил в лавочке бумаги и принялся писать новую драму.

Отец, сидя в своем кабинете, долго крепился. Наконец, однажды, когда сын писал четвертую драму, он потихоньку зашел в его комнату, упал перед ним на колени и хрипло зарыдал:

— Ваничка, прости, Христа ради, меня и твою покойную мать! — сказал он, плача. — У меня тетка слабоумная, а у нее отец алкоголик… Прости нас.

Дачный театр

В каждом дачном театре есть режиссер, и каждый режиссер — фармацевт. Это загадочное свойство дачного режиссера наблюдалось многими, но никто не мог дать ему удовлетворительного объяснения… Те редкие случаи, когда дачный режиссер оказывался не фармацевтом, объяснились тем, что он имел брата или дядю — фармацевта, или сам в дни золотой юности мечтал, забившись в уголок, об этой почтенной, любопытной профессии.

Обязанности дачного режиссера заключаются в том, что он всегда безошибочно разрешает запутанные вопросы театрального быта, вроде таких: в ту или другую дверь нужно войти герою пьесы; или: как объяснить авторскую ремарку — «она на коленях умоляет графа не покидать ее»?.. Спрашивается: на чьих коленях она должна умолять: на своих собственных или графовых?

Авторитет режиссера в этих случаях стоит вне сомнений.

На его же обязанности лежит — выбрать пьесу. Пьеса может быть трудная, легкая, умная, глупая,

сложная — это не затрудняет никого. Главное, чтобы в ней не было горничных.

Лакей, в крайнем случае, может быть терпим: всегда можно отыскать глупого, мрачного гимназиста, которому нечего терять в своей злосчастной жизни. Что же касается горничной, то ни одна барышня не поддается на эту удочку.

Конечно, можно было бы переделать горничную в лакея, но как это сделать — никто не знает.

Я знаю случай, когда одну барышню уломали-таки сыграть роль горничной. Ей нужно было выйти и сказать хозяйке во втором акте несложную, но необходимую в театральном обиходе фразу:

— Барыня! Чай в столовой подан.

Барышня надела для этого случая белое атласное платье, перчатки выше локтя, бриллиантовую брошь, а волосы украсила гирляндой из красивых роз. Войдя в нужную минуту в гостиную, она, помявшись немного, сказала:

— А я к вам, моя дорогая… Здравствуйте! Сейчас проходила мимо столовой и вижу, что самоварчик уже подан.

Хозяйке ничего не оставалось делать, как пригласить ее садиться и, ведя с ней светский

разговор, перепутать всю пьесу.

* * *

Героя пьесы играет всегда гимназист, обыкновенно самый взрослый из всех, которых можно найти в данной дачной местности.

Укоренившийся обычай этого гимназиста состоит в том, чтобы за две недели до спектакля с ролью в руках бродить днем и ночью по окрестностям, появляясь неожиданно в самых отдаленных местах, пугая влюбленные парочки, изумляя мужиков, натыкаясь на дремлющего рыболова.

В день спектакля гимназист начинает гримироваться. К этой загадочной для него операции он приступает с трех часов дня, если спектакль назначен в 9 часов, и с половины третьего, если спектакль — в половину девятого.

Все замыслы и стремления гримирующегося направлены обыкновенно к тому, чтобы как можно больше изменить свою наружность, сделать себя не похожим на свой обычный человеческий облик и услышать на спектакле восторженно-удивленный шепот знакомых:

— Да неужели же это Федя Мамахин?! Ни капельки нельзя узнать!

Густая черная борода, ярко-красные щеки и ряд

морщин, проведенных в направлении, прямо противоположном и пересекающем обыкновенное место расположения будущих Фединых морщин, — все это делает Федю личностью загадочной, неузнаваемой.

При этом лиловые морщины, перемежающиеся с зелеными и красными, приятно разнообразят Федино мертвенное лицо, свидетельствуя о том, что Федя ни одной из красок не оставил в обидном пренебрежении.

Кроме пугающего, страшного опасения, как бы не провалиться, гимназиста Федю тревожит еще задернутый завесой будущего вопрос: что скажет о нем пресса?

Представитель прессы сидит тут же в первом ряду и на все бросает критические, полные глубокого анализа взгляды.

Это тоже гимназист, но страшный, зловещий в своей таинственности гимназист: он пишет статьи и уже печатается, пишет заметки и уже печатается, и пишет театральные рецензии, и тоже уже печатается.

Что-то он напишет?

Зловещий гимназист-рецензент при самом поднятии занавеса вынимает из кармана громадную записную книжку, карандаш и, взглядывая

искусственно-рассеянным взглядом на сцену, начинает делать в книжке отметки.

И публика, увидя это, начинает перешептываться, и все бросают на самоуглубленного гимназиста благоговейные взгляды, а он никого не замечает и пишет, пишет…

Судя по тому времени, которое он затрачивает на писание своих впечатлений, предстоящих опубликованию, можно быть уверенным, что на следующий день половина столичной газеты уйдет под правдивый отчет об этом спектакле.

Но на самом деле читатели встречают на последней газетной полосе такие строки, напечатанные нонпарелью:

* * *

Вчера в нашем дачном театре состоялся спектакль. Давали: «Перепутались, а потом распутались». Исполнители были все на своих местах. Публики было много. Почаще бы устраивать, вместо пьянства и карт, подобные разумные развлечения!

* * *

Бывает и так, что ни одной строки не появится

в газете о спектакле, хотя рецензент накануне исписал всю записную книжку.

Тогда рецензент уходит от людей, оскорбленный, в лес и долго бродит там, шепча запекшимися губами:

— Подлецы!

В день спектакля с самого утра у дачных актеров-любителей такое выражение лица, будто бы их пообещали высечь, или они, сговорившись поджечь ночью чей-нибудь дом, не знают, куда до вечера деть свои досуги.

Режиссер-фармацевт один сохраняет непоколебимое спокойствие. Но оно — наружное. Втайне его обуревают относительно спектакля самые черные мысли, вплоть до опасения, что актеры или публика могут его поколотить.

За два часа до спектакля выясняется, что режиссер, или его помощник, или суфлер, или кассир — ибо никто не знает, от кого это зависит, — совершенно упустил из виду одно обстоятельство: в третьем акте требуется декорация леса, а ее нет!

Гостиная есть, павильон есть, бедная комната есть, а леса нет.

И вот, в этом случае, нет ничего находчивее режиссера: театральный плотник командиру-

ется в близлежащую рощу с категорическим приказанием вырубить тайком и принести лес, в количестве пяти-шести малолетних деревьев, которые потом и прикрепляются гвоздями впереди «бедной комнаты», знаменующей собой необъятную лесную даль.

Таким же образом вид «скалы на взморье» получает полную иллюзию с помощью венского стула, обернутого серой бумагой, а луна просто выбрасывается, как светило второстепенное и всем достаточно намозолившее глаза в действительной жизни.

Двенадцать часов дня.

Так как объявлена «предварительная продажа билетов», то кассир уже на месте. До восьми часов вечера предварительная продажа дала такие результаты: какая-то старушка спросила билет в десятом ряду, но, узнав, что он стоит 60 копеек, — обиделась и ушла; ее заменил толстый отец семейства, сделавший кассиру заманчивое предложение продать семь билетов — «гуртом», за что и требовал сорока процентов скидки; получив отказ, он уступил место бойкой барышне, которая очень настойчиво просила кассира:

— Передать сестрам Дубининым, если они придут, что Иван Алексеевич завтра не приедет… так

и сказать: завтра не приедет!

Чем предварительная продажа билетов и заканчивается.

Кассир дремлет, рассматривая от скуки лицо красного здоровенного парня, поставленного около кассирской будки с целью регулировать напор толпы.

За отсутствием толпы, парень регулирует наплыв тучи комаров, нанося звонкие удары по своему лицу, шее и прочим частям упитанного тела.

Скучно. Жарко.

К 8 часам начинает сходиться публика.

Раздается звонок, еще и еще. Услышав три звонка, публика стремглав бросается занимать места и потом сидит около часу перед опущенным занавесом:

— Время! Давай! Начинай! Три звонка было!

Потом публика получает через знакомого с артистическим миром дачного юношу конфиденциальное уведомление, что звонки эти по ошибке были даны малолетним сынишкой инженю-драматик, нашедшим в углу звонок, но это публику не успокаивает.

— Врремя! Врррремячко!

Давно жданный момент… Поднимается зана-

вес!

Перед публикой черный, зияющий провал неосвещенной сцены, и оттуда доносится неизвестно чей голос:

— Эти яркие, солнечные лучи, льющиеся в комнату, напоминают мне детство…

— Ничего не вижу! — раздается чей-то откровенный голос из публики.

Пользуясь темнотой, лицо, вспоминавшее свое детство, выскальзывает за кулисы и шепчет режиссеру:

— Рампа не освещена! Забыли лампы зажечь!

Минут через пять парень, состоявший ранее в роли сдерживающего элемента против наплыва публики, перелезает через барьер и начинает возиться с рампой… Шарит по карманам, перелезает обратно через барьер и, по-товарищески, обращается к зрителю первого ряда:

— Нет ли спичечки?

У того нет. Поиски переходят во второй, в третий ряд, и наконец парень, довольный своей судьбой, в третий раз перелезает через барьер.

Лампы сияют.

— Эти яркие солнечные лучи, — говорит героиня, — напоминают мне дет…

— Вы это уже говорили! — замечают ей из зад-

него ряда.

— Тише!

— …Я помню высокий, высокий лес, птичек, которые…

Потный, озабоченный кассир входит в сопровождении незнакомца, таща за собой, во избежание кражи, остаток билетов и коробку из-под гильз с деньгами — и обращается к господину в первом ряду:

— Нет ли у вас 25 рублей разменять? Вот они покупают билет, так им сдачу нужно.

Кто-то меняет. Сначала считает деньги меняющий, потом кассир; потом господин, купивший билет. У кассира не хватает 30 копеек; меняла сомневается в доброкачественности двадцатипятирублевки, а господин, купивший билет, рассыпает мелочь, после чего первый ряд и часть второго принимает деятельное участие в розысках.

Внимание остальной публики приковано к трем лицам, запутавшимся в сложной финансовой комбинации. Артисты в это время терпеливо ждут, причем героиня даже «играет»: с деланым любопытством смотрит в окно из крашеного полотна.

Все деньги собраны, пересчитаны, и владелец

их вежливо обращается к сцене:

— Извините, господа! Можно продолжать.

— …Эти яркие солнечные лучи… — надрывается суфлер.

— Эти яркие солнечные лучи… — аккуратно повторяет героиня.

Входит жизнерадостный дачник и, изумленно смотря на сцену, кричит:

— Петька! Ты! Я тебя сразу узнал!

— Он самый, — отвечает комик. — Только ты не мешай мне сейчас: я играю.

— Ну играй! А после конца можно к тебе в уборную?

— Заходи!

— Эти яркие солнечные лучи…

— Бис! — как выстрел раздается со стороны экспансивной галерки.

* * *

Так весело и разнообразно проходит спектакль.

В третьем акте живой лес вызывает восторги публики, но когда одно дерево, не выдержав напора первого любовника, валится на публику — поднимается суматоха… Любовник и комик перескакивают через барьер, забирают обратно

свое дерево и тут же, увидя знакомых, мимоходом здороваются:

— Здравствуйте, Марья Евграфовна.

— Неужели это ты, Федя? Прямо бы не узнала тебя.

— А Ваську узнали? Вон он играет старого банкира.

Рецензент в уголке прилежно пишет:

«Спектакль прошел с большим успехом… Все исполнители были на своих местах…»

А исполнители в это время садятся на свободное место во втором ряду и, пока плотник снова приколачивает дерево, — заводят дружеский разговор с соседями, беззастенчиво разоблачая тайны святого искусства Мельпомены.

Два мира

I

Два человека шли по пыльной, залитой светом луны, улице города Чугуева и беседовали:

— Так, значит, так-то, брат Перепелицын…

— Именно так, Никеша.

— В Питер, значит… Только как же ты поедешь, если не знаешь, что там еще с тобой будет?

— Это пустяки! Я сегодня уже написал моему питерскому приятелю Шелестову, чтобы он узнал — как и что. Скажем — три дня письмо туда, три дня — ответ обратно. Ну… да день ему на справки. Итого — через неделю получу.

II

Два человека лежали на диванах в большой меблированной комнате, выходившей окнами на шумную петербургскую улицу, и тихо беседовали:

— Сегодня Стрелка, завтра — Стрелка. Сегодня Аквариум, завтра — Аквариум… Скучно, брат Шелестов… Правильно сказал великий психолог

Гоголь: скучно жить на этом свете, господа!

В дверь постучали.

— Вам письмо, господин Шелестов!

— От кого это? — лениво спросил приятель Шелестова, забрасывая ногу на спинку дивана.

— Недоумеваю… Гм… Какой-то Перепелицын… Чего ему нужно, этому удивительному Перепелицыну. Ага! Из Чугуева… Припоминаю Перепелицына! Был такой человек, с которым мы во дни оны играли в перья и воровали огурцы на огородах.

— Наглец! — сказал, зевая, приятель Лошадятников. — Не хочет ли он теперь, под угрозой раскрытия этих хищений, шантажировать тебя?

— «Дорогой Петруша! Ты, конечно, страшно сердит на меня за то, что я за эти шесть лет не удосужился написать ни строчки, но что поделать — такова уж городская шумная жизнь. У нас, в Чугуеве, очень весело — недавно приезжал цирк и играла малороссийская труппа. Очень хорошо играли. Могу сообщить новость, которая тебя очень удивит: Пальцев разошелся с женой и живет теперь с акушеркой Звездич».

— Кто сей Пальцев? — спросил Лошадятников.

— Понятия не имею!

— Так что выбор акушерки Звездич и ее даль-

нейшая судьба тебя не заинтриговывает?

— Ты видишь, — я остаюсь совершенно хладнокровен. Продолжаю: «У меня к тебе есть маленькая просьба, которую, надеюсь, исполнишь: по получении сего письма заезжай на политехнические курсы (адреса не знаю) и узнай условия приема и срок подачи прошений. Потом еще просьба от Кати Шанкс — нельзя ли достать «Вестник Моды» за прошлый год № 9, — ей для чего-то нужен. Вышли наложенным платежом. Твой Илья Перепелицын».

Шелестов засвистал какой-то неведомый мотив и принялся складывать из письма петуха. Когда это занятие ему надоело, он забросил петуха за диван и сладко потянулся.

— Ты бы хотя адрес его заметил… — сказал Лошадятников.

— Чей адрес?

— Куропаткина.

— А на что он мне?

— Положим. Ты бы одевался. Скоро девять.

III

Прошла неделя.

— Вам письмо, барин!

Шелестов повернулся на кровати и прищурил-

ся на горничную.

— Давай-ка его сюда. Да чего ты боишься? Подойди ближе.

У горничной были, очевидно, какие-либо свои соображения и взгляды, потому что ближе она не подошла, а, бросив письмо на одеяло, отпрыгнула и убежала.

— От кого бы это?

Писал Илья Перепелицын.

— «Дорогой Петруша! Прошла неделя, а от тебя ответа нет. Сомневаюсь — получил ли ты мое письмо? На всякий случай, прошу тебя, кроме политехникума, заехать на фельдшерские курсы и узнать условия приема и программу. Кстати, можешь Кате Шанкс «Вестник Моды» не высылать. Она нашла его у Колопытовых. А с Колопытовыми, ты не поверишь, какой случай: Ивану Григорьевичу во время сна заполз в ухо маленький таракан, а жена его заперла, когда уходила. Он выскочил из окна и получил сотрясение мозга. Да, забыл я прошлый раз написать — кланялся тебе Гриша Седых. Представь себе, он уже в аптеке фармацевтом. Дорогой Петруша! Зайди в магазин Бурхардта и узнай — есть ли пластинки куплетиста Бурдастова. Если есть — вышли наложенным платежом. Буду весьма

благодарен… А Пальцев уже ухаживает за попадьей, женой о. Ионы. Звездич в отчаянии. Твой Илья Перепелицын».

В дверь постучали. Вошел, приплясывая, Лошадятников.

— А у меня есть ложа на Крестовский… товский, товский, товский, кий!

— Можешь представить себе, Митя, потрясающую новость: Пальцев, оказывается, ухаживает за женой о. Ионы.

Лошадятников посмотрел на приятеля широко раскрытыми глазами:

— Какой Пальцев? Какого Ионы?

— Да я и сам, собственно, не знаю. Но об этом считает нужным поставить меня в известность Илья Перепелицын.

— Какой Перепелицын?

— Боже ты мой! Перепелицын — знаменитый чугуевский Перепелицын. Но ты — сущее дерево… Ты способен остаться равнодушным даже к тому, что Гриша Седых служит фармацевтом?

— Ах, это тот… чудак пишет? Еще что-нибудь поручает?

— Как же! Просит заехать на фельдшерские курсы и за граммофонными пластинками.

— Что ж ты?

— Ну конечно, я моментально. Сейчас же лечу, как молния.

— Однако, слушай… Брось глупости. Поговорим о серьезном. Ты едешь завтра в Павловск? Будет Мушка и Дегтяльцева.

— Вам телеграмма, — сказала горничная, просовывая в дверь руку.

Шелестов взял телеграмму и, заинтересованный, развернул ее.

— От кого? — спросил Лошадятников.

— Ну, конечно же… от Ильи Перепелицына. «По некоторым обстоятельствам выезжаю сам Петруша встреть меня на Николаевском вокзале завтра утром Илья Перепелицын».

— Шелестов?!

— Ну?

— Ведь он дурак?

— Форменный.

За окном заиграла шарманка.

Лошадятников поморщился, вынул пятак, завернул его в телеграмму Ильи Перепелицына и выбросил это несложное сооружение за окно. Потом обрушился всей тяжестью на кровать рядом с Шелестовым и деловито спросил:

— Сегодня свободен?

— По горло. В двенадцать — отель «Де Франс», в

половине второго — банк, в четыре к Уржумцеву, в семь — у Павлищевых и десять — Крестовский.

— И у тебя не выберется времени погоревать о судьбе акушерки Звездич и поведении Пальцева?

— Что делать! Такова участь о. Ионы, — вздохнул Шелестов.

IV

Через три дня Шелестов получил письмо:

— «Дорогой Петруша! Я страшно перед тобой виноват. Ты, наверно, очень удивился, приехав на вокзал и не найдя меня. Очень перед тобой извиняюсь. Дело в том, что обстоятельства изменились, и я должен остаться еще на две недели. Но ты не беспокойся — я сообщу тебе точный день выезда. Пластинки куплетиста Бурдастова я еще не получил. Не знаю почему: вероятно, задержка в дороге. Можешь представить — о. Иона узнал обо всем, и вышел большой скандал. У нас открылся новый биоскоп — уже по счету третий. Помнишь Киликиных? Их недавно описали. Никеша очень просил тебе кланяться. Он еще здесь. Твой Илья Перепелицын».

Прочтя это письмо, Лошадятников сказал:

— Знаешь, твой этот Перепелицын начинает

мне нравиться. Роскошный юноша!

V

Три долгих месяца пронеслось над головами Шелестова, Лошадятникова и Перепелицына.

Однажды вечером Шелестов и Лошадятников заехали за Перепелицыным, не попавшим ни на фельдшерские, ни на политехнические курсы, а просто жившим в столице на те 100 рублей, которые присылали ему родители.

— Перепелка! — сказал, входя, Шелестов. — Вот тебе письмо. Я внизу у почтальона взял на твое имя. Из Чугуева.

— От кого?! Решительно недоумеваю…

Перепелицын пожал плечами и распечатал письмо.

— «Дорогой Илюша, — прочел он. — Тебе все кланяются. Пишу тебе это я, Никеша… Голубчик, большая к тебе просьба: заезжай в какой-нибудь магазин фотографических принадлежностей и узнай — сколько стоит «Кодак». Если недорого — вышли наложенным платежом. Еще просьба — вышли дюжину открыток с видами Петербурга. Очень интересно. Какие у вас стоят погоды? А знаешь — вчера видели Пальцева с Коряги-ной Лидочкой. Что ты на это скажешь? Сообщи

в письме, не родственник ли Леонид Андреев купцу нашему Николаю Андрееву? Сын его Петя очень интересуется этим вопросом. Твой Никеша Чебурахин».

— Слушай, Перепелка, — сказал Шелестов, выслушав содержание письма. — Ведь этот Никеша, очевидно, дурак?

Перепелицын пожал плечами.

— Форменный.

Приключение номера 24345

I

Видел кто-либо лицо Судьбы?

Она все время вертится, суетится около нас; забежит вперед, отстанет и некоторое время держится позади; взовьется кверху и, сдернув-ши с карниза строящегося дома кирпич, укажет ему линию полета, кончающуюся внизу вашим, плохо защищенным шляпой, теменем. Сейчас же она, не обращая больше на вас внимания, привяжется к другому прохожему, остановит его у окна модного магазина, высунув язык, помчится дальше и, найдя поблизости красивую дамочку, обязательно притащит ее к тому же самому окну… И прохожий посмотрит на дамочку и пойдет за ней, а суетливая, бестолковая Судьба ковыляет за ними, пока прохожий не разговорится с дамочкой и не пригласит ее поужинать с ним в каком-либо укромном ресторане… Здесь Судьба на минуту бросает парочку и мчится, как вихрь, за женой вышеуказанного прохожего, чтобы напомнить ей, что она должна что-то сделать у портнихи, помещающейся в том самом переулке,

куда выходит подъезд в кабинеты ресторана.

И, конечно, жена застает мужа с незнакомой дамой, и разражается скандал у подъезда, а Судьба уже забыла о проведенной ею комбинации и мчится дальше, толкнув мимоходом мальчишку под автомобиль и увязавшись за богатым стариком, которому она распахивает полы пальто, продувает холодным, смертоносным ветром и через неделю валит его в черную яму, устроив племяннику старика, беззаботному лодырю и лежебоку неожиданное, полумиллионное состояние. Для чего нужно ей все это?

II

В ночь с 23-го на 24-е число недалекая, бестолковая Судьба обратила внимание на скромного легкового извозчика № 24345 и, со свойственной ей дикой энергией и суетливостью, занялась номером 24345.

Она остановила его на углу большой улицы и тихого переулка, заботливо удалила всех других прохожих, которые могли бы нанять номер 24345, а сама хлопотливо заковыляла к мировому судье Колесникову и стала нашептывать ему мутные, соблазнительные мысли, подсунув предварительно номер газеты, в котором была помещена

публикация о новом большом кафешантане.

Мировой судья Колесников прочел публикацию, сладко потянулся и сказал:

— А отчего бы и не поехать? Заеду за Катей, захвачу ее и поедем вместе.

Через десять минут мировой судья Колесников вышел на улицу и крикнул:

— Извозчик!!

Номер 24345 задергал вожжами, зачмокал — и скоро Колесников ехал именно на номере 24345, а не на каком-либо другом, хотя другие и стояли недалеко от дома судьи.

Извозчик завез судью на длинную, тихую улицу, где они захватили красивую, худощавую женщину в громадной шляпе, а потом поехали в кафешантан.

Извозчик завел было разговор с седоками об околоточном, который неправильно записал его адрес, но седоки его не слушали, а говорили о своем.

— Мы просмотрим программу и выпьем бутылочку бургундского… Ладно?

— Ладно, милый. А ты помнишь, что я люблю бургундское?

— Еще бы.

Извозчик прекратил разговор об околоточном,

покачал головой и прошептал:

— Бурхунцкое… Поди ж ты!

Подъехали к кафешантану, и номер 24345, получив плату, лениво затрусил к стоянке.

III

В этот вечер больше никто не нанял его, а на другой день утром, когда № 24345 мыл на извозчичьем дворе свою пролетку, он нашел в углу сиденья бумажник, в котором лежало около восьмисот рублей.

— Бурхунцкое, — укоризненно проворчал извозчик. Потом снял шапку, медленно, благоговейно перекрестился и, значительно поджав губы, сказал:

— Нельзя! Надо отдать. Господин с переулку потеряли. Которые бурхунцкое пьют.

Мировой судья Колесников встретил извозчика с бумажником радостно, видимо втайне пораженный его честностью. Тут же под их ногами вертелась Судьба, скаля зубы, носясь от одного к другому и заглядывая в лицо то извозчику, то мировому судье.

Извозчика пригласили в кабинет.

Мировой судья Колесников, взявши бумажник, пожал номеру 24345 руку, угостил папиросой и

минут пять любезно беседовал с ним о тягостях извозчичьей жизни.

На прощанье поблагодарил, еще раз пожал руку и дал, в виде благодарности, пятнадцать рублей.

IV

Выйдя от Колесникова, номер 24345 разжал кулак, посмотрел на деньги, погладил рыжую бороду и задумчиво сказал:

— Дурные деньги! Надо их не иначе пропить…

В тот же вечер извозчик номер 24345 умылся, приоделся и пошел в трактир «Перепутье путников» — заведение, пользовавшееся славой лучшего извозчичьего отеля.

— Дай ты мне, брат, водки покрепче, закусочки посолонее и чаю побольше. Как есть я нынче богатый человек.

Извозчик был честный малый, но в нем преобладала свойственная многим ординарным людям жилка тщеславия: он вынул свои серебряные часы и повесил их наружу, на грудь. Вынул деньги и положил на стол под локоть, якобы для того, чтобы они были ближе на случай расходов; попросил, чтобы ему поставили водку в такую же металлическую посудину, как у его соседа, пившего вино…

После чего принялся пить и есть.

Часы все время неловко болтались на груди, попадая от времени до времени в тарелку с котлетами; деньги держали извозчика все время в тревожном состоянии, так как он боялся, чтобы их не стянул со стола сосед, пивший вино; и полбутылка водки в серебряном ведре все время тонула в массе льда, так что извозчику приходилось засучивать рукав, чтобы выловить ее из ведра.

Но, несмотря на это, номер 24345 чувствовал себя на седьмом небе.

После третьей полбутылки он принялся за пиво, а почувствовав себя пьяным, потребовал чаю…

V

Все могло бы этим и кончиться, но бестолковая Судьба прилипла к простодушному извозчику, цепко держась за его толстые, могучие плечи и красную мокрую шею…

— Чего бы такоича еще выпить? — задумался извозчик. — Эге! Как его… А право! Что ж мы не люди, или как? Могу я себе доставить удовольствие? Явное дело — могу. Господин человек!!

Над ним наклонился грязный официант.

— Что прикажете?

— Бурхунцкаго. Полбутылки бурхунцкаго с закуской.

— В полбутылках нет. Есть в бутылках.

Извозчик неожиданно для себя захохотал.

— Шут его бери! Давай бутылку! Только это самое… полнее!

И пил извозчик номер 24345 бургундское, пил, мокрый, багровый, пока окончательно не захмелел.

А к буфету в это время подошел длинный, костлявый человек, которого Судьба только что затащила в трактир, и заказал себе рюмку водки.

Извозчик подмигнул ему.

— Водку пьешь, сердешный? Пил бы лучше бурхунцкое!

— Вам какое дело! — сердито возразил костлявый человек. — Вас не трогают!

— Дурашка… — поднял удивленно брови номер 24345. — Разве я что…

— Сам дурак! — злобно крикнул человек. — Зубы чешутся?

— То есть, как чешутся? — ухмыльнулся добродушно извозчик.

— Почистить их надо — вот как!

Номер 24345 неожиданно для себя встал.

— Ах ты, прохвост! Забияка паршивый! Дьявол нечесаный! Шкилет разнесчастный. Мне зубы чистить? А этого не хотел?

Многим известно, что на воспитанных интеллигентных людей бургундское производит действие легкого, веселого, благородного опьянения. Но редко кому приходилось наблюдать действие бургундского на извозчиков.

Номер 24345 ударил костлявого человека и опрокинул буфетную стойку. Через пять минут на тротуаре перед трактиром в ночной мгле возилась странная черная куча, из которой вырывались свистки и доносились голоса:

— Крепкий, черт!.. Бей его сюда! Так…

— Ах, собака. Гляди, руку прокусил!

— Ой-ёёй, братцы!.. Часы… кто серебряные часы оборвал? Да пусти, дьявол!

— А, ты так?.. Вот же тебе…

VI

Перед мировым судьей Колесниковым стоял обвязанный тряпками извозчик номер 24345 и давал показания.

Тут же в камере находились официанты, буфетчик, городовые и ночной сторож.

Сначала Колесников не узнал почерневшего

забинтованного извозчика. Он спросил его:

— С чего же вы это так разгулялись?

— Дык с тех же пятнадцати… Что ваша милость намедни пожертвовала за кожаный портмонет. Не признали?

Мировой судья Колесников был умный человек. Он вспомнил свою поездку, потерю бумажника, честность номера 24345…

И подумал: «Если бы я не поехал в шантан, то не потерял бы бумажника, он бы его не нашел, я не наградил бы его пятнадцатью рублями, он не напился бы на них и не устроил бы безобразного побоища…»

Судья упустил только одно звено из этой цепи: если бы он не заговорил с женщиной о бургундском — извозчик номер 24345 никогда больше не встретился бы с судьей на широкой дороге жизни…

Судья потер затылок, обвел глазами свидетелей, истца — буфетчика и, улыбнувшись в усы, сказал:

— Гражданский иск в сумме сорока рублей 20 копеек будет удовлетворен. Не беспокойтесь. И вы, извозчик, не беспокойтесь. Гм… А дело о нарушении тишины за… гм… недоказанностью — прекратить!

* * *

А Судьба оскалила зубы, сделала гримасу и, заметив входившего в камеру письмоводителя из участка, оставила извозчика в покое и увязалась за ним.

В тот же день письмоводитель взял взятку так неудачно, что его уволили.

Кривые углы

Глава I

ПРИЕЗД

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова — Кривые углы.

Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, восемьдесят — лошадьми, а восемь — идти пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин неожиданно оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до усадьбы Кривые Углы.

Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидев его, выпала оттуда на землю и, с криком ужаса, понеслась в барский дом.

Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший, глухой сад.

Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и горько заплакал.

— Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно я украл для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!

Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.

Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.

Вошел толстый человек в халате, с трубкой. Пососал ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:

— Наверно, это самый учитель и есть. Приехал с чемоданом. Да-с. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов. Учитель к тебе приехал.

Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.

— Эй, кто есть? Копанчук, Павло! Возьмите

его чемодан! А что, учитель, играете вы в «кончины»?

— Нет, — сказал Поползухин. — А ваш мальчик меня языком дразнил.

— Высеку. Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами… Пойдем, покажу…

Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте, с бантом на груди.

— Чего ты его тащишь? Опять, наверно, со своими проклятыми картами? Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги.

— Здравствуйте, сударыня. Я учитель Поползухин из города.

— Ну что же делать, — вздохнула она. — Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только уж ты у нас, сделай милость, мертвецов не режь.

— Зачем же мне их резать? — удивился Поползухин.

— То-то я и говорю — незачем. От Бога грех и от людей срам. Пойди к себе, хоть лицо оплесни. Обпылило тебя.

Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.

Глава II

ТРИУМФ

На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же на коленях и горько плакал, перемежая это занятие попытками вытащить с помощью зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.

Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин кончит свою работу.

— Учение очень трудная вещь, — говорил Поползухин. — Вы знаете, что такое тригонометрия?

— Нет.

— Десять лет изучать надо. Алгебру семь с половиной лет, латинский язык десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь! Трудно. Профессора двадцать тысяч в год получают.

Плантов, подперев щеку рукой, сосредоточенно слушал Поползухина.

— Да, теперь народ другой, — сказал он. — Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?

— Как играть?

— А так. Прислал мне тесть на имянины из города граммофон… Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть — бес его знает. Так и стоит без дела.

Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:

— Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря.

— Ну? Играете?! Вот так браво!..

Плантов оживился, вскочил и сейчас же схватил гимназиста за рукав.

— Пойдем, вы нам поиграете!.. Ну его к бесу, ваш пиджак. После очистите. Послушаем, как оно это… Жена, жена! Иди сюда, бери вязанье — учитель на граммофоне будет играть!

Граммофон лежал в зеленом сундуке, под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.

Поползухин, с мрачным решительным лицом, вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.

— Потрудитесь, господа, отойти подальше. Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать — на это ты мастер, а как на коленях стоять, ты не мастер? Господа, будьте добры сесть подальше: вы меня нервируете.

— А вы его не испортите? — испуганно спросил Плантов. — Вещь дорогая.

Поползухин презрительно усмехнулся.

— Не беспокойтесь: не с такими аппаратами дело имели…

Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.

Все ахнули: из трубы доносился визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку…»

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка с хладнокровием опытного, видавшего виды мастера, подкручивал винтик, регулировавший высоту звука.

Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскрикивал и, подбегая ко всем, говорил:

— Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы!.. Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли?.. А ты все по крышам лазишь… А ну, еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!

В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий,

сговорившийся с Андрейкой погубить учителя…

Потом, крадучись, пришла вчерашняя поджарая старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.

В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.

Глава III

СВЕТЛЫЕ ДНИ

Для гимназиста Поползухина наступили светлые безоблачные дни… Андрейка боялся его до обморока и, большей частью, сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон… Помещик Плантов забыл уже о «кончинах» и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:

— Ну сыграйте что-нибудь… Очень прошу вас!.. Чего, в самом деле…

— Да нет, я сейчас не могу, — манерничал Поползухин.

— Почему не можете?

— Для этого нужно подходящее настроение. А ваш Андрейка меня разнервничал…

— А бес с ним! Плюньте вы на это ученье. Бу-

дем лучше играть на граммофоне… Ну сыграйте сейчас…

— Эх, — качал лохматой головой Пополузухин. — Что уж с вами делать… Пойдемте!..

Госпожа Плантова за обедом подкладывала Пополузухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.

Вся дворня, при встрече с Пополузухиным, снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени…

И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могущественным учителем — при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.

Сам Пополузухин, кроме граммофонных занятий — ничего не делал: Андрейку не видел по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и

иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:

— Принеси-ка мне чего-нибудь поесть… Студня, что ли, и мяса. Да наливки дай…

Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.

— Кушаете? А что, в самом деле — выпью-ка и я наливки. А ежели вам спать не особенно хочется — пойдем, вы мне поиграете что-нибудь, а?

Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.

Глава IV

КРАХ

С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке… Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:

— Идите, барчук, в дом. Барин просят вас на той машине играть.

— А ну его к черту, — морщился Поползухин. — Не пойду. Скажите — нет настроения для игры.

— Идите, барчук… Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочут.

— Скажите — вечером поиграю!..

Однажды ничего не подозревавший Поползу-

хин возвращался с прогулки к обеду… В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.

«Выйду ль я на реченьку…» — заливался граммофон.

С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом… Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.

— Да что ж тут мудреного? — говорил он. — Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится…

— Зачем вы без меня трогали граммофон? — сердито крикнул Поползухин.

— Смотри, какая цаца! — сказал ядовито помещик Плантов. — Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться?.. А вот Митя Колонтаров приехал и сразу заиграл. Эх, ты… карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу. То-то, здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.

За обедом на Поползухина не обращали ни-

какого внимания… Говядину ему подложили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:

— Ну, брат, довольно тебе шалберничать… Нагулялся!.. Учитель! Займитесь!

Пополузухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:

— Пойдем!

И они пошли, не смотря друг на друга… По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.

Граф Калиостро

I

У кого из нас не сжималось сердце и не хмурились страдальчески брови при чтении в газетах краткого, но выразительного сообщения:

> **Дикая расправа.** *Вчера обыватель города Мымры избил палкой газетного корреспондента.*

Кто из нас не качал печально головой и не говорил со стоном отчаяния:

— Какая темнота! Боже, какая косность!

И рисовался нам облик затравленного, замученного носителя и проводника света и культуры, откуда-то глядели страдающие недоуменные глаза газетного корреспондента с застывшим в них вопросом:

— За что?

За что? Теперь я знаю, за что.

* * *

С самых ранних лет меня до глубины души волновала и возмущала человеческая несправедливость. И до глубокой старости я буду негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких деликатных вопросах.

Таким тонким деликатным вопросом я считаю многовековую исконную вражду между провинциальным журналистом и провинциальным обывателем, и меня всегда удивляло, что никто до сих пор не мог разобраться как следует в вышеупомянутом деликатном вопросе.

Все, как будто сговорившись, согласным хором восклицали по прочтении телеграммы об избиении обывателем провинциального журналиста:

— Какая ужасающая тьма! Что за дикари!

И, конечно, всю вину обрушивали на обывателя.

Вероятно, многим известно, что у обывателя часто бывает совершенно противоположное отношение к провинциальному журналисту. Обыватель патриотичен, он гордится своим городом, своей газетой, своим журналистом, и нередко с его уст срываются такие одобрительные слова:

— Читали вы сегодня в «Мымринском Курьере» статью графа Калиостро? — (Провинциальные журналисты избирают себе самые звучные, красивые псевдонимы.) — Читали? Ах, шельма! Ах, собака! Попадись такому на язычок… Как это он ловко отбрил сегодня помощника заведующего городскими скотобойнями… А вчера — тоже: «Известно ли, — говорит, — кому это надлежит ведать, что ямы, выкопанные для посадки деревьев, залило водой и затянуло грязью? Очевидно, — говорит, — городские деньги идут не на благоустройство города, а для наполнения ям зловонной водой?» Так и колет! Так и брыжжет ядом! И откуда что берется?!

Обыватель гордится своим фельетонистом, восхищается им…

Когда граф Калиостро, с гордым, независимым видом, шагает по городскому саду, обыватели почтительно уступают ему, как существу высшему, дорогу, а сзади слышится тихий заглушенный шепот:

— Смотрите, смотрите!.. Это граф Калиостро! Который вчера порядки в городской библиотеке прохватил.

— Ах, какой интересный!

И шагает, шагает граф Калиостро, с загадочной

улыбкой на лице, таинственный в своем могуществе, до краев наполненный неограниченными возможностями прохватить, разнести и продернуть всех, кто является врагом культуры и общественности.

Ни у кого тогда ни на минуту не появляется мысль поколотить графа Калиостро или причинить ему какую-либо другую неприятность — он, как коронованная особа среди своих почтительных подданных, в полной безопасности…

И долго работает он так, окруженный всеобщим уважением и тихим удивлением, бичуя пороки и неправду. И кажется, что Россия благоденствует под мирным тактичным управлением знатных титулованных иностранцев: в городе Мымрах борется с городскими скотобойнями граф Калиостро, в Звенигороде бичует думские порядки суровый, непреклонный князь Серебряный, а Елабугу защищает от натиска тьмы и спячки Железная Маска, или какой-нибудь Марк Аврелий, или граф Монте-Кристо…

Так борется и работает эта титулованная нация.

И вдруг — среди безоблачного неба появляется странное, неожиданное, страшное сообщение:

МЫМРЫ. Обыватель Коренастов поколотил палкой журналиста Балкашкина, пишущего под псевдонимом – граф Калиостро.

Это является каким-то зловещим сигналом.

Подданные восстают на своих королей, и звенигородский обыватель начинает очертя голову колотить своего князя Серебряного, в чем от него не отстает елабужец, неожиданно набрасывающийся без всякого милосердия на Железную Маску, Марка Аврелия или даже на самого сурового, загадочного Монте-Кристо.

И рисуется перед глазами облик свергнутого с пьедестала, затравленного поборника светлых идеалов и носителя культуры, и откуда-то издалека звучит страдальческий недоуменный вопрос Марка Аврелия:

— За что?

Пожалуй, ответить на этот вопрос будет не так трудно.

II

Разворачивая местную газету, обыватель Коренастов всегда полон истерического любопытства: что-то сегодня она принесет ему интересного?

Просмотрев одним глазом телеграммы, набрасывается на фельетон и с замирающим сердцем читает:

В страшное время мы живем!

В человеке глохнет все хорошее, светлое.

Мы возвращаемся к первобытным временам:

– Зверства и жестокости!

Вчера мы были свидетелями следующего факта: измученная лошадь тащила под гору тяжелый воз, а ломовик осыпал ее ударами, кричал, ругался и всячески оскорблял беззащитное животное, не могущее ответить ему теми же словами.

Что же делает наше общество покровительства животных?

Оно спит?

– Покойной ночи, господа!

Если вам нужны подушки – не возьмете ли вы их у гласных нашей городской думы?

Ха-ха!

Да…

Глубокую истину высказал великий

Островский:

«Жестокие, сударь, у нас нравы».

Фельетон производит на Коренастова ошеломляющее впечатление.

— Ловко, шельма! Как это он здорово ввернул Островского.

Бедный Коренастов не знает, что ни одно произведение графа Калиостро не обходится без трех цитат:

* * *

1) Жестокие, сударь, у нас нравы.
2) Всякое бывало, как говорит Бен-Акиба.
3) Поживем — увидим.

* * *

Первая принадлежит Островскому, вторая — Гуцкову, а третья — неизвестно кому. Вероятно, Марку Аврелию или Железной Маске…

Коренастов доволен, Коренастов кивает головой и переходит к хронике.

Хроника такая:

Вчера закончено рытье ям для посадки

деревьев на Павловской улице. Можно сказать меткими словами великого русского поэта Никитина:

«Вырыта заступом яма глубокая...»

В последние дни наступили неожиданные холода с ветром и дождями. «Холодно, холодно, холодно», – как говорили три сестры в пьесе Чехова того же названия.

Нравится Коренастову и хроника. Написана она бойко, живо, с цитатами и ссылками на популярных авторов. Видно, что писал интеллигентный человек.

Прочитывает Коренастов и театральную рецензию:

Шедшая вчера пьеса популярного сатирика Гоголя «Ревизор» была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. Петров провел свою роль с огоньком. Побольше бы таких хороших пьес! Публики было немного. Скоро антреприза заканчивает

сезон и уезжает. «Негр сделал свое дело, негр может уходить»…

Коренастов в восхищении.

III

На другое утро Коренастов снова разворачивает газету. Читает фельетон:

Городская дума до сих пор ничего не сделала с приказчичьим отдыхом.

Почему?

Она спит? Не нужна ли ей подушка? Пусть она возьмет ее в обществе покровительства животных!

А приказчики пока что – работают как лошади…

Да… Жестокие, сударь, у нас нравы!

Мы не будем удивлены, если этот вопрос пролежит под сукном еще десять лет.

– Всякое бывало! – как говорил мудрец Бен-Акиба в «Уриель-Акосте» популярного Гуцкова.

Поживем – увидим.

Коренастов молчит. Не выводит его из молчания и задумчивости даже хроника:

> Вчера закрылись за прекращением эпидемии холерные бараки. «Негр сделал свое дело, негр может уходить».

Безмолвно прочитывает Коренастов театральную рецензию:

> Шедшая вчера пьеса популярного автора Шекспира «Гамлет» была разыграна очень недурно, с ансамблем. Все исполнители были на своих местах. Не удовлетворила нас только Макбетова. С большим огоньком провел свою роль тени отца Гамлета Петров. Почаще бы ставить такие чудные пьесы! Публики было мало. «Мало слов, а горя реченька», – как говорил популярный певец гражданской скорби Н. А. Некрасов.

Молчит Коренастов.

IV

Снова и снова разворачивает по утрам Коре-

настов «Мымринский Курьер». Снова и снова читает он графа Калиостро. И снова бичует неугомонный граф лавочников, которые нагружают мальчишек тяжелыми кульками.

Снова подкрепляет он это обвинение цитатой:

> Жестокие, сударь, у нас нравы. Впрочем, поживем – увидим.

Хроника по-прежнему пишется бойко, интеллигентно:

> Вчера отбыл с курьерским поездом в Москву податной инспектор Косолапов. «В Москву, в Москву», – как говорили три сестры Чехова в пьесе того же названия.

И снова, как и прежде, несчастная Макбетова не может удовлетворить капризного графа Калиостро, хотя она и пытается играть Лизу в нашумевшей в свое время пьесе драматурга Грибоедова, так трагически, безвременно погибшего под ножами убийц (жестокие, сударь, и т. д.).

Коренастов дочитывает газету, и брови его сжаты, и на лице написана мрачная решимость, страдание и боль, а плечи нервно подергиваются.

Молча встает он, приглаживает волосы и, глядя куда-то в угол, сдержанно говорит жене:

— Жена! Дай мне сюртук. Вернусь через час.

Отыскивает палку, шляпу и — уходит.

Через час возвращается, ставит палку в угол и, не промолвив ни слова, ложится в постель.

Спит тревожно.

А на другой день, как удар грома, появляется в газете неожиданное бессмысленное, дикое сообщение:

> Обыватель Коренастов избил палкой нашего сотрудника графа Калиостро (А. М. Балкашкина). Жестокие, сударь ты мой, у нас нравы!

И поднимается сразу целый лес всплескивающих рук:

— Боже! Где мы живем? Среди дикарей? Какая косность… какое мракобесие…

До глубокой старости буду я негодовать на человеческую односторонность и близорукость в тонких, деликатных вопросах.

Ихневмоны

Редактор сказал мне:

— Сегодня открывается выставка картин нео-новаторов, под маркой «Ихневмон». Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты.

Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку:

— Да! Забыл сказать самое главное: постарайтесь похвалить этих ихневмонов… Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма.

Я приостановился.

— А если выставка скверная?

— Я вас потому и посылаю… именно вас, — подчеркнул редактор, — потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером… И найти в чем-либо хорошие стороны — для вас ничего не стоит. Не правда ли? Ступайте с Богом.

* * *

Когда я, раздевшись, вошел в первую выста-

вочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролера и спросил:

— А где же картины?

— Да вот они тут висят! — ткнул он пальцем на стены. — Все тут.

— Вот эти? Эти — картины?

Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролер опустил голову и прошептал:

— Да.

По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами.

— Эт-то… з-забавно. Интер-ресно, — говорили они, пугливо косясь на стены. — Как тебе нравится вот это, например?

— Что именно?

— Да вот там висит… Такое, четырехугольное.

— Там их несколько. На какую ты показываешь? Что на ней нарисовано?

— Да это вот… такое, зеленое. Руки такие черные… вроде лошади.

— А! Это? Которое на мельницу похоже? Которое по каталогу называется «Абиссинская девушка»? Ну что ж… Очень мило!

Один из них наклонился к уху другого и шепнул:

— А давай убежим!..

Я остался один.

Так как мне никто не мешал, я вынул записную книжку, сел на подоконник и стал писать рецензию, стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера и оправдать доверие нашего передового редактора.

* * *

«Открылась выставка “Ихневмон”», — писал я. — Нужно отдать справедливость — среди выставленных картин попадается целый ряд интересных, удивительных вещей…

Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова “Весенний листопад”. Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины… Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков… Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми черными линиями… Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки! Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься: как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно?

Целый ряд этюдов Булюбеева, находящихся на

этой же выставке, — показывает в художнике талантливого трудолюбивого мастера. Все этюды раскрашены в приятные темные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с другим… Все вещи Булюбеева покрыты такими чудесно нарисованными желтыми, волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: “Крики тела”, “Почему”, “Который”, “Дуют”.

Сильное впечатление производит трагическая картина Бурдиса “Легковой извозчик”. Картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков, когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску, выкололи один глаз и укоротили ногу настолько, что несчастная жертва дикой шутки стоит у саней, совершенно покосившись набок… Когда же прекратятся, наконец, издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиров над бедными затравленными извозчиками! Приятно отметить, что вышеназванная картина будит в зрителе хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими…»

* * *

Написав все это, я перешел в следующую комнату. Там висели такие странные, не виданные мною вещи, что, если бы они не были заключены в рамы, — я бился бы об заклад, что на стенах развешаны отслужившие свою службу приказчичьи передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер.

Я сел на подоконник и задумался.

Мне вовсе не хотелось обижать авторов этих, заключенных в рамы, вещей, тем более что их коллег я уже расхвалил, с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне и обойти их обидным молчанием. После некоторого колебания я написал:

* * *

«Отрадное впечатление производят оригинальные произведения господ Моавитова и Колыбянского… Все, что ни пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недешево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства

ничего.

Помещение, в котором висят эти картины, теплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи!»

* * *

Просмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней сквозила деликатность и теплое отношение к несчастным, обиженным судьбою и Богом людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах — все было мягко и осторожно.

* * *

Когда я уходил, билетный контролер с тоской посмотрел на меня и печально спросил:

— Уходите? Погуляли бы еще. Эх, господин! Если бы вы знали, как тут тяжело…

— Тяжело? — удивился я. — Почему?

— Нешто ж у нас нет совести, или что?!. Нешто ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит? Срамота, да и только… Обрываешь у человека билет, а сам думаешь: и как же ты будешь сейчас меня костить, мил человек?! И

не виноват я, и сам я лицо подневольное, а все на сердце нехорошо… Нешто ж мы не понимаем сами — картина это или што? Обратите ваше внимание, господин… Картина это? Картина?! Разве такое на стенку вешается? Чтоб ты лопнула, проклятая!..

Огорченный контролер размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрещала, покачнулась и с глухим стуком упала на пол.

— А, чтоб вы все попадали, анафемы! Только ладонь из-за тебя краской измазал.

— Вы не так ее вешаете, — сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину. — Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу.

Билетер махнул рукой.

— А не все ли равно! Мы их все-то развешивали так, как бог на душу положит… Багетщик тут у меня был знакомый — багеты им делал, — так приходил, плакался: что я, говорит, с рамами сделаю? Где кольца прилажу, ежели мне неизвестно, где верх, где низ? Уж добрые люди нашлись, присоветовали: делай, говорят, кольца с четырех боков — после разберут!.. Гм… Да где уж тут разобрать.

Я вздохнул.

— До свиданья, голубчик.

— Прощайте, господин. Не поминайте лихом — нету здесь нашей вины ни в чем!..

* * *

— Вы серьезно писали эту рецензию? — спросил меня редактор, прочтя исписанные листки.

— Конечно. Все, что я мог написать.

— Какой вздор! Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашеных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине... Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина... Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая — что это за квадратики? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого-нибудь другого.

При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек, с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принес стихи.

— Это по поводу выставки «Ихневмона»? — спросил он. — Это трудно — написать о выставке

«Ихневмона». Я могу написать о выставке «Ихневмона».

— Пожалуйста! — криво улыбнулся я. — Поезжайте. Вот вам редакционный билет.

— Да мне и не нужно никакого билета. Я тут у вас сейчас и напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию… Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество — перечислено несколько имен. Это все, что мне нужно. Благодарю вас.

Он сел за стол и стал писать быстро-быстро.

— Ну вот, готово. Слушайте:

* * *

«“Выставка Ихневмон”. В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-дающийся, жуткий своей примитивностью “Весенний листопад”? Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит

свое тихое, полузабытое слово: “жизнь”.

Заинтересовывает Булюбеев… Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булюбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные, порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении.

Примитивный по синему пятну “Легковой извозчик” тем не менее показывает в Бурдисе творца, проникающего в городскую околдованность и шепчущего ей свою напевную, одному ему известную, прозрачную, без намеков, сказку».

* * *

Молодой человек прочел вслух свою рецензию и скромно сказал:

— Видите… Здесь ничего нет особенного. Нужно только уметь.

Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс.

Я попрощался с ними обоими и устало сказал:

— От Гогена мы ушли и к Зулоаге не пристали… Прощайте! Кланяйтесь от меня притаившемуся Моавитову, пожмите руку Бурдису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской околдованности. И передайте Булюбееву, что, если он будет менее остро подходить к бархатистому заданию, — для него и для его престарелых родителей будет лучше.

Редактор вздохнул. Молодой господин вздохнул, молча общипывая хризантему на своей узкой, провалившейся груди.

Альбом

I

Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостиной — пухлые, с золоченым обрезом и металлическими застежками, битком набитые бородатыми, безбородыми, молодыми и старыми лицами.

Мнение, что альбом фотографических карточек — семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы, — совершенно ошибочно.

Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре:

— Ну что новенького?

Тогда единственный выход для хозяев — придвинуть ему альбом и сказать:

— Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?

И дальше все идет как по маслу.

— Кто этот старик? — спрашивает гость.

— Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.

— Какая странная борода. А это кто?

— Это наш Ваня, когда был маленький.

— Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.

— Да… Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.

— Гм… Как вырос! А это?

— Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.

— Как фамилия?

— Павлова.

— Павлова? У нее не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.

— Не было.

— Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?

— Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.

— В этом году на даче нехорошо. Дожди.

В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.

Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек — спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.

Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом

ему нужен только для разбега. Разбежавшись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь «дождливом лете» и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.

Застенчивому человеку без альбома — гибель.

Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяину руку и объяснил все это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.

Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:

— А это кто?

— Это первый лист. Тут карточки нет… Переверните.

— А это кто?

— Это моя покойная тетя, Глафира Николаевна.

— Ну?! А это?

Он перелистал альбом до конца и — беспомощно и бесцельно повис в воздухе.

«Спасите! — хотел крикнуть он. — Утопаю!»

Но вместо этого снова положил альбом на ко-

лени и спросил:

— Отчего же она умерла?

— Кто?.. Тетя? От сердечных припадков.

«Почему ты, подлец, — подумал молодой гость, — отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тетка и кто ее пользовал… Вот бы времячко-то и прошло».

— От припадков? Да уж, знаете, наши доктора… А это кто?

— Лизин крестный отец. Вы уже спрашивали раз.

Он просмотрел альбом до конца, отложил его и взялся за пепельницу.

— Странные теперь пепельницы делают…

— Да.

Взоры его обратились снова на альбом. Он протянул к нему руку, но — альбома не было. Альбом исчез. Хозяин положил его на этажерку.

— А где альбом? — спросил гость. — Я хотел спросить вас насчет одной фотографии. Там еще две барышни сняты.

Нашли альбом, отыскали барышень. Молодой гость, пользуясь случаем, еще раз перелистал альбом, «чтобы составить общее впечатление».

Присутствуя при этом, я носился в вихре веселья и чувствовал себя прекрасно. И вздумалось

мне подшутить над гостем. Когда он зазевался, я стащил со стола альбом и сунул его под диван.

Гость привычным жестом протянул руку за альбомом и, не найдя его, чуть не крикнул:

«Ограбили!»

Искоса оглядел этажерку, ковер под столом и, побледнев, поднялся с места:

— Ну… мне пора.

II

С некоторых пор у меня стали бывать гости. Ясно было, что без альбома мне не обойтись.

К сожалению, человек я не домовитый, родственники почему-то карточек мне не дарили, а если кто-нибудь и присылал свой портрет с трогательной надписью, то портрет этот попадал в руки горничной, тщеславной, избалованной женщины.

Гости стали приходить ко мне все чаще и чаще. Без альбома дело не клеилось.

Я перерыл все ящики своего письменного стола. Были обнаружены три карточки: «Самая толстая девочка в мире Алиса 9 пуд. 18 фун.», «Вид гавани в Ревеле» и «Знаменитый шимпанзе Франц катается на велосипеде».

Даже при самом снисходительном отношении

к этим трем карточкам, они не могли быть признаны за мою «семейную реликвию».

Оставалось единственное средство: пошарить на стороне.

И мне повезло!.. После двух дней прилежных поисков я обнаружил на полке у одного торговца разной рухлядью громадный кожаный альбом, битком набитый самыми разнообразными карточками — как раз то, что мне было нужно.

В альбоме было до двухсот портретов — все моих будущих родных, друзей и знакомых! Эта вещь могла занять моих гостей часа на два, что давало мне возможность свободно вздохнуть, и я поэтому радовался как ребенок.

Дома я внимательно пересмотрел альбом и — никому в мире до меня не посчастливилось сделать этого — сам выбрал себе отца, мать, старого дядю и двух красивых братьев. Любимых девушек было три, и я долго колебался между ними, пока не отдал сердце первой по порядку, брюнетке с красивыми чувственными глазами.

В альбоме был один недостаток: случайно не попалось ни одного крошечного ребенка, который бы сумел быть мной в детстве. А дети 13–14 лет, к сожалению, совершенно не были на меня похожи.

Пришлось ограничиться тем, что сделать все приятные симпатичные лица родственниками, а безобразные, некрасивые, отталкивающие (таких — увы — было немало) — простыми знакомыми…

В тот же вечер ко мне пришли гости, народ все тоскливый и молчаливый.

Меня, впрочем, это не смутило.

— Не желаете ли взглянуть на семейный альбомчик? — предложил я. — Очень интересно.

Все оживились, обрадовались, ухватились за альбом.

— Кто это?

— Это моя бедная любимая матушка… Она умерла от сердечных припадков… Земля ей пухом!

Гости притихли и, благоговейно покачав головами, перевернули страницу.

— А это кто?

— Мой папа. Мы с ним большие друзья и частенько переписываемся. Это брат. Он теперь имеет хорошее дело и зарабатывает большие деньги. Не правда ли, красивый? Это просто знакомые. А вот, господа, эта девушка… Как она вам нравится?

— Хорошенькая.

— Вы говорите — хорошенькая… Красавица!

Моя первая любовь.

— Да? А она вас любила?

— Она?! Я для нее был солнцем, воздухом, без которого она не могла дышать… Эту карточку она подарила мне, когда уезжала за границу. Когда она делала на карточке надпись, то так плакала, что с ней сделалась истерика!.. Такой любви я больше не видел. И… ее я больше не видел…

Лицо мое было печально… На ресницах повисли две непрошеные предательские слезинки.

— Давно это было? — тихо спросил один гость, с тайным сочувствием пожимая мне руку.

— Давно ли? Семь лет тому назад… Но мне кажется, что прошла вечность.

— И с тех пор, вы говорите, ее не видели?

— Не видел. Куда она исчезла — неизвестно. Это странная, загадочная история.

— Что же она вам написала на обороте карточки?

— Не помню, — осторожно отвечал я. — Это было так давно…

— Разрешите взглянуть? Я думаю, раз девушка исчезла, мы не делаем ничего дурного.

— Не помню — на этой ли карточке она сделала надпись или на другой…

— Все-таки разрешите взглянуть, — попросил

один господин с романтической натурой, сантиментально улыбаясь. — Первый любовный лепет невинной девической души — что прекраснее этого?

— Что прекраснее этого? — как эхо повторил другой гость и вынул карточку из альбома.

Он обернул карточку другой стороной, всмотрелся в нее и вдруг вскрикнул:

— Что за черт?

— Не смейте касаться того, что для меня «святая святых», — испуганно закричал я. — Зачем вы вынимаете карточку?

— Странно… — не обращая на меня внимания, прошептал гость. — Очень странно.

— Что такое?!!

— Вот что здесь написано: «Пелагея Косых, по прозвищу Татарка. Родилась в 1880 году. В 1898 году за воровство присуждена к месяцу тюрьмы. В 1899 году занялась хипесничеством. Рост средний, глаза синие, за правым ухом — родинка».

— Что такое — хипесничество? — спросила какая-то гостья.

— Хипесничество? — промямлил я. — Это такое… вроде телефонистки.

— Нет, — сказал один старик. — Это замани-

вание мужчины женщиной в свою квартиру и ограбление его с помощью своего любовника-сутенера.

— Хорошая первая любовь! — иронически заметила дама.

— Это недоразумение, — засмеялся я. — Позвольте карточку… Ну конечно! Вы не ту вынули. Нужно эту — видите, полная блондинка. Первая моя благоуханная любовь.

Благоуханную любовь извлекли из альбома, и сантиментальный господин прочел:

— «Катерина Арсеньева (прозв. Беленькая) род. в 1882 году. 1899–1903 занималась проституц., с 1903 г. — магазинная воровка (мануфактурн. товар)».

III

Гости пожимали плечами, а некоторые (самые нахальные) осмелились даже хихикать.

— Интересно, — сказал старик, — что написано на обороте карточки вашего отца?

— Воображаю, — отозвалась дама.

— Не смейте оскорблять этого святого человека! — крикнул я. — Он выше всяких подозрений. Это светлая, сияющая добротой и любовью душа!

Я вынул отца из альбома и благоговейно поднес

карточку к губам. Целуя ее в припадке сыновней любви, я потихоньку взглянул на обратную сторону и прочел:

— «Иван Долбин. Род. 1862 г. 1880 — мелкие кражи, 1882 — кража со взломом (1 г. тюрьмы), 1885 — убийство семьи Петровых — каторга (12 л.), 1890 — побег. Разыскивается. Особые приметы: густой голос, на правую ногу прихрамывает. Указательный палец левой руки искалечен в драке».

За столом, где лежал альбом, послышался смех и потом восклицания — насмешливые, негодующие.

Я отшвырнул портрет отца и бросился к альбому… Несколько карточек уже было вынуто, и я, смущенный, растерянный, без труда узнал, что моя бедная матушка сидела в тюрьме за вытравление плода у нескольких девушек, а любимые братья, эти изящные красавцы, судились в 1901 году за шулерство и подделку банковских переводов. Дядя был самый нравственный член нашей семьи: он занимался только поджогами с целью получения премии, да и то поджигал собственные дома. Он мог бы быть нашей семейной гордостью!

— Эй, вы! Хозяин! — крикнул мне гость, ста-

рик. — Говорите правду: где вы взяли альбом? Я утверждаю, что этот старый альбом принадлежал когда-то сыскному отделению по розыску преступников.

Я подбоченился и сказал с грубым смехом:

— Да-с! Купил я его сегодня за 2 рубля у букиниста. Купил для вас же, для вашего развлечения, проклятые вы, нудные человечишки, глупые мучные черви, таскающиеся по знакомым, вместо того чтобы сидеть дома и делать какую-нибудь работу. Для вас я купил этот альбом: нате, ешьте, рассматривайте эти глупые портреты, если вы не можете связно выражать человеческие мысли и поддерживать умный разговор. Ты там чего хихикаешь, старая развалина?! Тебе смешно, что на обороте карточек моих родителей, родственников и друзей написано: вор, шулер, проститутка, поджигатель?! Да, написано! Но ведь это, уверяю вас, честнее и откровеннее. Я утверждаю, что у каждого из вас есть такой же альбом, с карточками таких же точно лиц, да только та разница, что на обороте карточек не изложены их нравственные качества и поступки. Мой альбом — честный откровенный альбом, а ваши — это тайное сборище тайных преступников, развратников и распутных женщин… Пошли вон!

Оттого ли, что было уже поздно, или оттого, что альбом был просмотрен и впереди предстояла скука, — но гости после моих слов немедленно разошлись.

Я остался один, открыл форточки, напустил свежего воздуха и стал дышать. Было весело и уютно.

Если бы у моего альбома выросла рука — я пожал бы ее. Такой это был хороший, пухлый, симпатичный альбом.

Два преступления господина Вопягина

— Господин Вопягин! Вы обвиняетесь в том, что 17 июня сего года, спрятавшись в кустах, подсматривали за купающимися женщинами… Признаете себя виновным?

Господин Вопягин усмехнулся чуть заметно в свои великолепные, пушистые усы и, сделав откровенное, простодушное лицо, сказал со вздохом:

— Что ж делать… признаю! Но только у меня есть смягчающие вину обстоятельства…

— Ага… Так-с. Расскажите, как было дело?

— 17 июня я вышел из дому с ружьем рано утром и, бесплодно прошатавшись так до самого обеда, вышел к реке. Чувствуя усталость, я выбрал теневое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать… Нечаянно оборачиваюсь лицом к воде — глядь, а там, на другом берегу, три каких-то женщины купаются. От нечего делать (завтракая в то же время — заметьте это, господин судья!), я стал смотреть на них.

— То, что вы в то же время завтракали, не ис-

купает вашей вины!.. А скажите… эти женщины были, по крайней мере, в купальных костюмах?

— Одна. А две так. Я, собственно, господин судья, смотрел на одну — именно на ту, что была в костюме. Может быть, это и смягчит мою вину. Но она была так прелестна, что от нее нельзя было оторвать глаз…

Господин Вопягин оживился, зажестикулировал.

— Представьте себе: молодая женщина лет двадцати четырех, блондинка с белой, как молоко, кожей, высокая, с изумительной талией, несмотря на то, что ведь она была без корсета!.. Купальный костюм очень рельефно подчеркивал ее гибкий стан, мягкую округлость бедер и, своим темным цветом, еще лучше выделял белизну прекрасных полных ножек, с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительными ямоч…

Судья закашлялся и смущенно возразил:

— Что это вы такое рассказываете… мне, право, странно…

Лицо господина Вопягина сияло одушевлением.

— Руки у нее были круглые, гибкие — настоящие две белоснежных змеи, а грудь, стесненную материей купального костюма, ну… грудь эту

некоторые нашли бы, может быть, несколько большей, чем требуется изяществом женщины, но, уверяю вас, она была такой прекрасной, безукоризненной формы…

Судья слушал, полузакрыв глаза, потом очнулся, сделал нетерпеливое движение головой, нахмурился и сказал:

— Однако там ведь были дамы и… без костюмов?

— Две, господин судья! Одна смуглая брюнетка, небольшая, худенькая, хотя и стройная, но — не то! Решительно не то… А другая — прехорошенькая девушка лет восемнадцати…

— Ага! — сурово сказал судья, наклоняясь вперед. — Вот видите! Что вы скажете нам о ней?.. Из чего вы заключили, что она девушка и именно указанного возраста?

— Юные формы ее, господин судья, еще не достигли полного развития. Грудь ее была девственно-мала, бедра не так широки, как у блондинки, руки худощавы, а смех, когда она засмеялась, звучал так невинно, молодо и безгрешно…

В камере послышалось хихиканье публики.

— Замолчите, господин Вопягин! — закричал судья. — Что вы мне такое рассказываете! Судье вовсе не нужно знать этого… Впрочем, ваше

откровенное сознание и непреднамеренность преступления — спасают вас от заслуженного штрафа. Ступайте!

Вопягин поклонился и повернулся к дверям.

— Еще один вопрос, — остановил его судья, что-то записывая. — Где находится это… место?

— В двух верстах от Сутугинских дач, у рощи. Вы перейдете мост, господин судья, пройдете мимо поваленного дерева, от которого идет узкая тропинка к берегу, а на берегу высокие, очень удобные кусты…

— Почему — удобные? — нервно сказал судья. — Что значит — удобные?

Вопягин подмигнул судье, вежливо раскланялся и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.

Шутка

Василиса Нестеренкова занимала скромное, чуждое светскости и блеска, общественное положение — она торговала семечками и апельсинами. Поэтому все другие занятия и должности, которые возвышались над уровнем ее коммерческих операций, казались ей уделом людей исключительных, отмеченных Богом, и на этих людей Василиса смотрела с явным почтением и тайным страхом.

Жоржа Зяблова, парикмахерского подмастерья, который изредка покупал у нее апельсины, она считала человеком недюжинным и пареньком «с продувной головой», а на свою дочь, сумевшую без посторонней помощи выдвинуться и стать в житейской иерархии на недосягаемую головокружительную высоту, — она молилась.

Дочь ее занимала место кассирши в Москве в мануфактурном магазине купца Хлапова, изредка писала матери письма, которых та не могла читать, и присылала деньги, которых та не решалась тратить. Потому что была она неграмотна и мечтала о приданом для своей дочери.

* * *

— Жоржик… — заискивающе говорила госпожа Нестеренкова, кутаясь в дырявый платок, — так вы ж мне напишете? А? А?

Парикмахерский подмастерье закатывал глаза, хмурил брови, шевелил толстыми пальцами и в задумчивости насвистывал что-то длинное.

— Да… Напиши! Вы думаете, это легко писать? Я четыре года учился, пока научился. А теперь так насобачился, что могу с маху написать письмо. Это тоже нужно знать, где какое слово поставить, где тире.

— Тире? — бессмысленно прищурилась госпожа Нестеренкова. — Да зачем оно?

— Как зачем? Молчали бы лучше, когда не знаете.

Он задумался.

— Фразы тоже. Разные. Все это знать нужно. Ну-ка, попробуй ты, матушка, написать! Воображаю!..

— И как это вам, Георгий Кириллыч, все это ниспослано… — с явной грубой лестью прошептала семечница. — И откуда что берется?! И как же это у человека должны шарики работать, чтобы, не пито не едено, цельное письмо накострячить!

Жорж неожиданно обиделся на сказанное семечницей вульгарное слово.

— Что? «Накострячить»? Ну и кострячь сама письма, если тебе надо! Тоже, скажите пожалуйста… «Накострячить»!..

Он повернулся спиной и хотел уходить, но семечница схватила его за руку и удвоила порцию грубой лести и подмазыванья:

— Господи! Да куда ж вы?.. Такой прекрасный, умный господин и вдруг — уходит. Такой, можно сказать, красавчик, за которым девки помирают, и вдруг, это самое… Вчера еще хозяин ваш лимонад покупал у меня, разговаривал: «Много, — говорит, — у меня этого народу, много дармоедов, только, — говорит, — Зяблов, Георгий Кириллыч, распроединственный золотой человек».

— Да ты врешь.

— И с чего это с такого я бы соврала? Ни на ноготь не прибавила, вот верное слово!

И соврала старуха. Правда, парикмахер покупал у старухи лимонад, правда, разговаривал о Зяблове, но, главным образом, в таком тоне:

— Дня не дождусь, когда этот паршивец уберется. Пьяница, лгун и чуть ли не на руку нечист!

Но — Жорж был грамотен, являл себя знатоком

тире, фраз и междометий, и находившаяся под гипнозом всего этого старуха несла сплошную околесину.

— «Умру, — говорит, — кому дело передать?» — «Да кому ж, — говорю я, — и передать, как не Жоржику?» Посмотрел на меня: «Ему и передам!»

— Да ты врешь, старуха! — восклицал Жорж, смеясь счастливым смехом, будто бы кто-то тихонько щекотал его. — Так и сказал?

— Так. Ей-богу, так!

Неожиданно щепетильному Жоржу показалось, что старуха фамильярничает с ним.

Он заложил руки в карманы брюк, повернулся к собеседнице вполоборота и холодно сказал:

— В сущности говоря, что вам угодно?

— Жоржик! Красавец! — заегозила старуха. — Так я же это самое и прошу!

— Что — это самое? Выражайтесь яснее!

— Да письмо ж.

— Что — письмо?

— Да написать. Я ж неграмотная, верное слово!

— Кому письмо?

— Да дочке же моей! Что в Москве-то. Дочка. Так вот ей. Деньги она мне еще намедни прислала.

Жорж сосредоточенно нахмурился.

— А отчего ж ты неграмотная? А?

— Да где ж мне было… — развела руками госпожа Нестеренкова. — Сначала была все маленькая да маленькая — рано было… А потом вдруг — большая! Глядишь — и поздно.

— То-то и оно, — недовольно проворчал Жорж. — Как детей рожать, так вам грамоты не нужно, а как письма им писать — занятых людей беспокоите…

— Я ж не даром! — всплеснула руками встревоженная старуха. — Заплачу, как полагается.

Жорж посвистал.

— Гм… Написать разве?

Старуха, молча кутаясь в платок, стояла перед Жоржем и со страхом следила за игрой его лица, на котором ясно было написано:

«Захочу — напишу, захочу — и не напишу».

— Ладно, — сказал Жорж. — Напишу.

Семечница вздрогнула от радости.

* * *

Жорж сидел в каморке у старухи.

— Вот вам, — говорила она, носясь из угла в угол, — яичница, колбаса, рыба жареная. Водочки выкушайте.

— «Выкушайте», — лениво передразнил благо-

душно настроенный Жорж. — Я не пью водки с красной головкой. В ней сивуха.

— Можно с белой головкой, — залебезила семечница, пряча за уши выбивающиеся пряди волос. — Сейчас пошлю девчонку.

— Я не хочу колбасы без чесноку! Я люблю с чесноком!

— Да она ж и есть, Георгий Кириллыч, с чесноком.

— Да, знаем мы… с чесноком, — проворчал Жорж. — Письма им еще пиши! Целый день работаешь как собака: то каких-то дураков брей, то какие-то письма пиши… Невесело это, знаете.

Говоря эти ленивые слова, Жорж в то же время лихорадочно пил водку, ожесточенно набрасывался на яичницу и рыбу и, недовольно крутя головой, обнюхивал белый хлеб.

— Что это он, как будто, черствый… А?..

Закончив насыщение, Жорж съел еще пару апельсинов, изнеженным движением откинулся на спинку убогого дивана и зевнул.

— Ты… тово, Василиса… Я бы вздремнул немного перед письмом… А ты бы постерегла, чтоб никакой черт меня не бесп…

Глаза его сомкнулись.

Старуха вздохнула, растерянно посмотрела на

гостя, но сейчас же согласилась, захлопотала…

— Ну что ж… отдохните. Благо сегодня праздник, в паликмахтерскую не иттить. Позвольте подушечку вам…

Жорж с усилием поднял веки и возмущенно прошептал:

— По… чему мухи… бес… покоют?

— Теперь-то? — сказала старуха. — Зимой?! Не беспокойтесь, Георгий Кириллыч. Никаких мух-то и нет.

— Чигарики на курузах, — прошептал Жорж, тщетно желая что-то объяснить.

— Чего извольте? — забеспокоилась старуха.

Но Жорж уже спал.

Старуха села на скамеечку около его головы и, глядя ему в лицо, погрузилась в терпеливое ожидание: когда он проснется и напишет то, что ей нужно.

* * *

Писали письмо.

Жорж проснулся в веселом, приподнятом настроении, и ему все было смешно: как это он неожиданно опьянел, как заснул и как он, по словам старухи, требовал, засыпая, совершенно неизвестной вещи: чигариков на курузах.

Смешна ему была и сама семечница со своей суетливостью, тайной боязнью, что он откажется писать письмо, и весело было ему чувствовать, что ближайшая семечницына судьба — всецело в его руках.

И пришла неожиданно ему в голову совершенно юмористическая, безумно веселая затея: написать старухиной дочке письмо совсем не так, как будет диктовать старуха.

Перспектива повеселиться за счет бестолковой, глупой старухи так захватила веселого подмастерья, что он придвинул бумагу, чернила и, даже упустив из виду возможность поломаться в отношении густоты чернил и пококетничать трудностью писать вообще, — благодушно сказал:

— Ну Василиса… говори. Что писать-то?

Улыбнувшись счастливой улыбкой, госпожа Нестеренкова склонила набок голову, подперла ее рукой, сладко замечталась и потом сказала тоненьким дребезжащим голосом:

— Дорогая дочка Варенька! Очень я удивилась твоему присылу пяти рублей и за что тебя благодарю и кланяюсь…

«Дорогая дочка Варенька, — писал, заливаясь внутренно хохотом, Жорж. — Эк чем вздумала

меня удивить — пятью рублями!.. Ты бы мне сто выслала… Или двести! Тогда бы я тебя благодарила и кланялась… А так — что ж: на один день выпивки с соответствующей закуской мне и хватит только…»

— Написал? — спросила семечница.

— Написал, — отвечал Жорж.

Семечница поджала губы.

— Ну… Что ж бы еще такое? «И очень также прошу тебя, Варенька, с хозяевами быть тихой, скромной, без галош не выходить и беречься от климату, вообще, также…»

«Прошу тебя, уважаемая Варенька, — склонив набок голову, выводил подмастерье, — чтобы не очень-то церемониться с хозяевами, потому — эти черти разве понимают? Куска фиксатуару или гребенки старой в карман не сунешь: сейчас же заметят!.. Смотри не сядь в галошу и соблюдай климатические условия в отношении тишины…»

— Есть?

— Сделано! — сказал Жорж. — Хоть на выставку! Хорошее письмо, Василиса, получит твой, как это говорится, отпрыск… Еще что писать?

Василиса сразу сделалась мечтательной.

— И, кроме всего того, — сказала она нараспев,

тонко-претонко, — береги себя, как ты девушка, и мужчина вас, дур, всегда на худое потянуть может… Он-то и деньги, пожалуй, покажет, рублем поманит, — только анафемские это деньги, нечистые… Не для девушек они!.. Сохрани себя до хорошего человека, по закону который, по доброму согласию, через отцов церкви, по поводу замужества…

— Правильно, — кивнул головой Жорж. Обмакнул перо в чернильницу и приписал:

«И имей в виду, что наше дело женское, и от трудов праведных, как это говорится, каменных домов не купить. Служба-то службой, да и после службы подработать можно, если ты не дура! Мужчинами-то дураками хоть пруд пруди… Оберешь его как липку, так что и не заметит!!! А замужество — это, брат, вилами по воде писано. Да-с. Это тебе любой отец церкви скажет. Кланяется тебе один очень интересный господин по имени Жорж Зяблов, который, будь ты здесь, — был бы тебе хорошим кавалером и ухажором. Очень умный и красивый. Прощай, дочка, жду от тебя деньжат, да побольше, не скупись. Целуем тебя с этим Жоржем! Твоя мать потомственная, почетная семечница и кавалерша ордена Льва и Солнца — Василиса! Пьем за ваше здоровье!

Ура!»

Конец письма понравился Жоржу чрезвычайно. В нем был и тонкий, здоровый юмор, и несколько дружеских теплых слов по его, Жоржа, адресу, и легкий шутливый тон по отношению к глупой сантиментальной семечнице — все было округлено, закончено.

— Готово, мамаша! — воскликнул шутливо Жорж, хлопая ладонью по письму. — На чаек, с вашей милости.

Счастливая старуха захлопотала, засуетилась, сунула подмастерью в руку полтинник, наклеила на конверт марку и, не чуя под собой от удовольствия ног, побежала на улицу.

Отыскала почтовый ящик и бережно, тщательно всунула в отверстие письмо, протолкнув его пальцем как можно дальше.

В зеленой комнате
(Послеобеденные разговоры)

— Я где-то читал, — сказал мой друг Павлов, — что цвет обоев в комнате очень влияет на настроение человека… Голубые обои располагают к лени, неге и мечтательности, желтые — действуют тяжело, угнетающе, красные дают настроению повышенный интенсивный тон, а белые умиротворяют, смягчают и успокаивают человека…

Есть у некоторых людей такие характеры: если они услышат о каком-нибудь удивительном явлении — то не успокоятся, пока не приведут примера или явления еще более удивительного, случая еще более странного. Если при таком человеке рассказать о том, что индейские слоны нянчат ребят, он снисходительно улыбнется и расскажет, что австралийские кенгуру не только нянчат ребят, но и дают им первые уроки Закона Божьего, лечат от золотухи и помогают прорезываться зубам. Если при таком человеке рассказать, что вы видели в цирке атлета, поднимающего десять пудов и держащего в зубах

взрослого зрителя, — этот человек сейчас же вспомнит об одном малоизвестном кузнеце, которого он знал и который поднимал одной рукой шестнадцать пудов, а зубами, «совершенно шутя», держал лошадь и перегрызал подковы.

Седой, маленький господин внимательно выслушал Павлова, тихо улыбнулся и качнул головой.

— Это что! Я помню случай, который никогда не изгладится из моей памяти. Все, кому я ни рассказывал, были ошеломлены этим поразительным случаем, многие считают его беспримерным и необъяснимым, но я, по зрелом обсуждении, нахожу, что в нем не было ничего сверхъестественного, необъяснимого… Вы позволите рассказать его?

Мы были очень заинтригованы.

— О, конечно, конечно!

Рассказ маленького, седого господина…

В прежнее время я был очень богат и жил широко, шумно и весело. Однажды, наняв и обмеблировав роскошную барскую квартиру, я решил устроить новоселье. Пригласил человек полтораста своих друзей и знакомых, заказал ужин и думал провести вечер приятно, разнооб-

разно и весело. Гости все были народ отборный, хороший, потому что богатому человеку, конечно, есть из чего выбирать…

Сначала все сидели в моей громадной столовой, пили чай и мирно обсуждали исход какого-то осложнения на Балканах.

Потом перешли в гостиную, разбились на группы и стали доканчивать разговоры, начавшиеся в столовой.

Около меня сидели двое — инженер и адвокат — и обсуждали фразу одного из них, что «славянские государства — это какое-то гнездо ос».

— Вообще мы, славяне, — пожал плечами адвокат, — народ вздорный, непрактичный и тупой… Стыдно сознаться, но это так…

Инженер недовольно поморщился.

— Гм… Видите ли, я сам славянин и не соглашусь с тем, что вы сказали о славянском племени… Конечно, те, которые сами чувствуют в себе эти черты…

Адвокат побагровел.

— Слушайте, милостивый государь!.. Если я вас правильно понял…

— Да, да, — резко рассмеялся инженер, — вы совершенно правильно поняли меня! Человек, который унижает великое племя, считающее

его своим, человек, характеризующий это племя вздорным и тупым, — вероятно, выводит это печальное заключение на основании автобиографических данных.

— Вы за это ответите! — вскричал адвокат, хватая инженера за руку. — Такие оскорбления смываются кровью!

— Прочь грязную лапу! — заревел инженер. — С удовольствием прострелю твою ограниченную, лишенную высоких мыслей голову.

Разговор этот был так неожидан, что я не успел даже замять его.

Адвокат вскочил, отошел в сторону и стал шептаться с полным красивым офицером. До меня долетели слова:

— Вы не откажетесь, конечно, полковник, быть свидетелем?..

— О, с удовольствием… Другого я сейчас найду.

Адвокат отошел, а полковник остановил проходившего мимо сына банкира и шепнул ему:

— На одну минуту!.. Затевается дуэль… Надеюсь, вы не откажетесь быть вторым свидетелем, вместе со мной.

Банкирский сын свистнул.

— Ду-эль?.. Какие же это идиоты вздумали подставлять свои лбы под пули?..

— Милостивый государь! — раздраженно возразил полковник. — Я бы попросил вас умерить выражения там, где дело касается моих друзей… Это по меньшей мере бестактно!

— Прошу без замечаний! — вспыхнул его собеседник. — Если вы носите военный мундир, то это не значит, что вы можете говорить чепуху! Тоже, подумаешь: бестактно!

— Ах, так?.. — с трудом сдерживая себя, прошипел полковник. — Надеюсь, что все вами сказанное обязывает вас, как честного человека…

— Пожалуйста! — пожал плечами банкирский сын. — Я хотя и не военный, но пистолет держать умею!..

— Ладно! Жду ваших свидетелей!..

Банкирский сын, с дрожащими от негодования губами, отошел к столу и нагнулся к сидящему за столом студенту.

— Миша… Неприятная история! У меня, кажется, дуэль. Ты не откажешься быть секундантом?

Миша подумал.

— Извини, брат, но откажусь. У меня на носу экзамены, а если я впутаюсь в эту историю — бог весть, чем она кончится.

— Ну вздор — экзамены. Неужели ради меня ты

не сделаешь этого?

— Ей-богу, милый, не могу.

Банкирский сын криво усмехнулся.

— Не можешь?.. Скажи прямо — трусишь.

— Ну-ну, брат… полегче! За такие слова — знаешь?

Шепот их перешел в бешеное шипенье и свист. Как две разъяренные пантеры, отскочили они друг от друга, и студент, ни минуты не медля, быстро подошел ко мне.

— Что? — спросил я изумленный, сбитый с толку. — Небось секундантом хотите пригласить? Слышал, все слышал… Да что вы, господа, белены объелись, что ли?

— Вы можете не соглашаться, — угрюмо сказал студент, — но таких выражений я не допущу. Нужно быть бесцеремонным идиотом, чтобы в качестве хозяина…

— Довольно! — вскричал я. — В качестве хозяина я не могу хорошенько отколотить вас, но завтра я пришлю вам своих друзей…

К нам подлетели четыре человека.

— Не согласитесь ли вы… — начал один.

— Быть, — успел вставить другой.

— Секундантом, — докончили двое.

— Куда вы лезете, — оттолкнул первый второ-

го. — Я его приглашал первый, а не вы!

— Что?! Толкаться? Да знаете ли вы, что подобные поступки смываются кровью…

— Сделайте одолже…

— Ой! Кто это на ногу наступил?

— А вы не подставляйте.

— Ах, так! Я вас хотя не знаю, но вот вам моя карточка…

— А вот моя, черт вас дери!

В гостиной стоял невообразимый шум… Все вопили, бешено брызгали слюной, ругались и толкали друг друга. Большинство гостей наступало на меня, спрашивая, где я мог достать так много грубиянов, мужиков и бестактных ослов.

В ужасе схватился я за голову и выбежал в другую комнату. Возмущенные гости выбежали за мной. Я упал в кресло с закрытыми глазами и долго сидел так.

А когда открыл их, то увидел, что около меня стоит вызвавший меня на дуэль студент и миролюбиво говорит мне:

— А ведь я, мне кажется, погорячился… Вы уж меня простите! Я готов извиниться.

— Помилуйте, — радушно сказал я. — Ну какие там извинения!.. Я сам виноват.

Около нас инженер держал адвоката за пугови-

цу и, пожимая плечами, говорил:

— В сущности говоря, вы правы: конечно, славяне, в общем, тупы и непрактичны… Чего это я давеча на вас набросился…

— Ну все-таки — я вас понимаю. Обидно! — бормотал, сконфуженно глядя вниз, адвокат. — Мне не следовало этого говорить. Извиняюсь и думаю, что все будет забыто. Вашу руку!

К студенту Мише подошел банкирский сын и, красный от смущения, сказал:

— Свинья я, Миша! Ударь меня по физиономии!

— За что? — удивился Миша. — Скорее, я был не прав. Пожалуй, если хочешь, я действительно буду секундантом у тебя.

— Не надо, дорогой, любимый Миша. Уже не надо. Я помирился с этим симпатичным славным полковником.

Всюду были ласковые улыбки и дружеский шепот. Полное спокойствие воцарилось среди нас.

* * *

Маленький, седой господин замолчал.

— Вот она какая, история-то!

— Да в чем же дело-то? — с живым недоумением воскликнул Павлов.

— Как… в чем дело? — удивился старичок. — Разве я вам не сказал? Все дело в гостиной, где мы были раньше, и приемной, куда мы потом перешли.

— Э, черт! Да что же там такое было?

— Неужели вы не догадываетесь? Гостиная была оклеена темно-красными обоями, с ярко-красной мебелью, а приемная у меня окрашена белой краской.

— Ну?!!

Старичок хитро посмотрел на нас.

— Цвета-то… Влияют как на настроение! Не правда ли?

Павлов негодующе пожал плечами:

— Если красный цвет действует возбуждающе, белый умиротворяюще, то зеленый вредно действует на человеческое воображение — заставляя бесстыдно лгать!

Я обвел глазами комнату, в которой мы сидели.

Она была зеленая.

Исчадие города

I

Среди пугающего неожиданного завывания автомобильных гудков, бешеных звонков трамваев, немолчного топота лошадиных копыт, мелькания электрических лампочек и головокружительного верчения кинематографических лент, среди несущейся по громадным улицам обезумевшей от желания жить толпы, среди театров с пряными, развратными, испорченными, как старый сыр в угоду гурману, — пьесами, среди всего этого бродят растерянные люди с потухшими тусклыми взорами, и никто не подозревает — какие странные, неслыханные болезни носят они в себе…

* * *

Учитель гимназии Сверкалов надевал перед зеркалом воротничок и что-то мурлыкал тоненьким голоском.

Жена посмотрела на него и дружески усмехнулась.

— Что? Предвкушаешь ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения? Смотри — не опоздай!

Про себя она подумала:

«Пусть скорее уходит. Я тогда сейчас же засяду за вышивание туфель ко дню его именин… Надо, чтобы он ничего не подозревал о туфлях».

В это же самое время Сверкалов почувствовал в груди страшную тяжесть, в ногах дрожанье, а сердце похолодело, как кусок льда.

«Что это значит? Что это? — прошмыгнула быстрая мысль в голове. — Почему она сказала: «Смотри — не опоздай»? Что это значит: «Ряд веселых минут и вечер приятного отдохновения»?.. Что она имела в виду?»

Сверкалов задумался, потупив омраченное лицо.

«Не думает ли она, что я еду к Ликушиным ради самой госпожи Ликушиной?.. Не думает ли она, что между нами что-то есть? Какой вздор! Если оно так — необходимо рассеять это нелепое подозрение…»

— Скажи откровенно, — спросил с наружным хладнокровием Сверкалов. — Как ты находишь madame Ликушину?

Взгляд его сверлил жену.

— Как? Да ничего. Она милая, — равнодушно отвечала жена. — Еще может нравиться.

«Что это такое? — похолодел Сверкалов. — Что значит этот намек?»

Жена в это время думала о туфлях и вздрогнула, когда муж схватил ее за руку.

— Знай же, что я эту Ликушину ненавижу! Она мне противна!

Жена удивленно взглянула на него.

— Почему? Что она такое сделала?

К Ликушиной Сверкалов был совершенно равнодушен, и вопрос жены застал его врасплох.

«Подозревает, — заледенело сердце. — Так и есть — подозревает…»

— Ты спрашиваешь — почему?

И, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, бедный учитель гимназии махнул на все остальное рукой:

— Потому что у нее есть любовник.

Жена пожала плечами и усмехнулась.

— Да тебе-то что… Ведь не влюблен же ты в нее?..

— Почему ты это спросила?! — быстро-быстро заговорил Сверкалов, хватая жену за руку. — Что это значит? Неужели ты подозреваешь?.. А? А? Говори…

— Бог с тобой, — удивилась жена. — Я только не понимаю, с чего ты так волнуешься… Я ведь знаю, что ты любишь меня…

«Что это? — внутренне дрожал Сверкалов. — Искренность или ирония?.. Что она думает? О, я бы много дал, чтобы узнать, что она думает…»

Тут же он решил окончательно рассеять подозрения жены.

— Ты знаешь, между прочим, что Ликушина имеет целую челюсть вставную… Бррр!.. И волосы красит.

Думая о туфлях, жена машинально спросила:

— Да? Откуда ты знаешь такие подробности?

В груди Сверкалова что-то оборвалось. Похолодело.

«Конец!.. У нее самые определенные подозрения».

Не попадая рукой в рукав пиджака, Сверкалов подозрительно и злобно закричал:

— Что ты пристаешь ко мне с Ликушиной? Что это значит?

— Господи! Да кто ж к тебе пристает? Ты сам же начал о ней разговор. Чего ты волнуешься? Не буду же я ревновать тебя к Ликушиной.

«Конец! — охнул внутренно Сверкалов. — Гибель!»

Схватился за голову и выбежал из дому.

II

Севши в трамвай, Сверкалов первым долгом вынул двугривенный и стал держать его на виду, весь замирая от опасения, что в нем могут заподозрить пассажира, желающего прокатиться без билета.

Кондуктор раза два промелькнул мимо него, отбирая деньги у других, а Сверкалов тянулся за ним, беспокойно повторяя:

— Получите же с меня… Почему вы не берете с меня?!

Наконец кондуктор протянул руку к Сверкалову. Взял его двугривенный, повертел в руках и, равнодушно возвращая, сказал:

— Пожалуйста, перемените. Это оловянный.

«Конец, — оборвалось внутри у Сверкалова. — Он, наверное, думает, что я нарочно хотел подсунуть ему фальшивый… Черт знает что! Еще, пожалуй, подумает, что я сам и сделал его… Какая гадость».

Сверкалов ненатурально засмеялся, взял обратно деньги, вынул другие и сказал:

— Это мне подсунули где-нибудь. Вот, получите.

И, посмотрев на застывшее лицо кондуктора, заискивающе спросил:

— Что, много у вас работы?

Сейчас же стало ясно, что вопрос, после случая с двугривенным, совершенно нелеп и неуместен. Нужно было загладить его.

Сверкалов снова вынул из кармана оловянный двугривенный, осмотрел его и сказал:

— Ей-богу, как настоящий! Ха-ха! А вы небось думаете: «Вот, мол, барин хотел всучить под шумок фальшивый двугривенный...» А? Говорите, черт вас возьми... думали?..

Во рту накипала скверная горечь.

«Зачем я это говорю? Глупо, бессмысленно. Ведь я действительно тянулся за кондуктором так настойчиво, будто в самом деле хотел сплавить двугривенный... Боже! Как тяжело!.. Как гадко...»

Так как Сверкалов был уверен, что его соседи подозревают в нем фальшивомонетчика, то посмотрел на полного блондина в очках и сказал:

— Вот я — имею в гимназии службу, зарабатываю тысячи две, человек более или менее обеспеченный... А каково бедному, если ему попадется фальшивый двугривенный... Не правда ли? Мне-то ничего... Служба, доверие начальства... Гм...

Полному господину нужно было сходить на остановке. Он недоуменно посмотрел на Сверкалова, встал и вышел.

«Конец! — по своей привычке охнул Сверкалов. — Гибель!»

Не дожидаясь следующей остановки, он выскочил из трамвая и остальную часть пути, с тяжелым сердцем, прошел пешком.

III

Горничная попросила Сверкалова в кабинет Ликушина.

— Барин говорит по телефону… сейчас придет.

Сверкалов сделал несколько шагов по кабинету, подошел к столу и стал рассматривать разные безделушки… Взял машинально какое-то кожаное потертое портмоне и стал рассеянно вертеть его в руках.

Сзади раздался неожиданный голос:

— А! Вы здесь!..

Сверкалов вздрогнул и выронил портмоне.

— Не беспокойтесь, — сказал Ликушин, быстро нагибаясь. — Я подниму.

«Конец! — заскрежетал зубами Сверкалов. — Что он подумает? Что он может подумать? Застал меня одного в кабинете, с чужим портмоне в ру-

ках… Господи, как это противно… Как гнусно!..»

— Портмоне рассматривал, — болезненно улыбаясь, сказал он. — Очень замысловатая штука.

— Что вы, — небрежно возразил хозяин. — Самая примитивная штука: нажать сверху пружину — оно и раскроется!

«Да? — задрожал внутренне Сверкалов. — Не думаешь ли ты, что и я нажимал пружину и лазил внутрь?.. Этого только еще недоставало…»

— А мне его не удалось открыть, — заявил он угрюмо.

Хозяин отложил портмоне в сторону и взял гостя за руки.

— Да? Ну как поживаете, мой дорогой? Что поделывали последнее время?

«Кошельки чужие открывал», — болезненно усмехнулся про себя Сверкалов. А вслух сказал:

— Ничего. Скажите, где вы купили это портмоне?.. Я бы очень хотел приобрести себе такое. Я его поэтому и рассматривал!

— Господи! Да в самом паршивом магазине можно его купить… Что это вы так заинтересовались этим портмоне?

Сверкалов, бледный, с прыгающими губами, нагнулся к хозяину.

— Почему заинтересовался? Не думаете ли вы,

что я хотел ознакомиться с его содержимым? А? Вы уж говорите прямо?

«Как он глупо шутит», — поморщился внутренно Ликушин. — Ха-ха, милейший! Немного же заработали бы вы!.. Там какая-то мелочь… Жена ваша здорова?

— Здорова, — отвечал отрывисто Сверкалов. — С вами случалось когда-нибудь: взял в руки какую-нибудь вещь — совершенно машинально… Начинаешь ее вертеть в руках и только потом с удивлением спохватишься: Э! Как эта вещь попала тебе в руки?! Случалось?

— Не помню, — удивился Ликушин. — А что?

— Да так спрашиваю. Кстати, знаете, я скоро получаю от тетки наследство. Так что в деньгах совершенно не нуждаюсь…

В кабинет вошла хозяйка дома и поздоровалась со Сверкаловым.

— Хе-хе! — сказал Сверкалов. — Почему же вы, Дмитрий Павлыч, не расскажете супруге о только что происшедшем забавном инциденте… Представьте, прихожу я, — Дмитрия Павлыча нет… Беру совершенно машинально это портмоне, вдруг входит он. Я, от неожиданности, роняю портмоне, и мне сделалось смешно: вдруг Дмитрий Павлыч подумает, что я хотел вытащить

содержимое кошелька и был застигнут на месте преступления.

Ликушин внимательно взглянул на Сверкалова.

— Да почему вы придаете такое значение этому пустяку? — медленно спросил он.

«Подумал! — оборвалось сердце. — Раньше не думал и не придавал значения, а теперь, после моих бестактных разговоров и объяснений, что-то подозревает. Теперь — конец!.. Гибель!»

Сверкалов выхватил из кармана бумажник и закричал:

— У меня есть деньги… Вот триста рублей! Я в чужих не нуждаюсь… Не думайте!.. Не ду-у-у…

Упал в кресло и закатился долгой томительно жуткой истерикой.

Ликушины забегали, схватили воду, терли виски, охали и недоумевали.

IV

За окном был веселый, ликующий праздник: торжествующе гудели автомобили, сверкало электричество и тревожно-радостно звонили трамваи, празднуя грубую победу над человеком…

Анекдоты из жизни великих людей

Памяти Марка Твена

I

Недавно один знакомый сказал мне:

— После смерти Марка Твена в печати появилось несколько анекдотов из его жизни. Все газеты перепечатывают их, а читатели покатываются со смеху. Ну и забавник же был этот знаменитый юморист! Читали?

— Не читал. Смешно?

— Да уж так смешно, что мы за животики держались. Вечно он что-нибудь этакое выкинет. Подождите… не помню ли я? Ну конечно, припомнил! Например, такой анекдот: к нему очень приставали разные лица с просьбами — дать свой автограф. Он раздавал их направо и налево, но вскоре узнал, что его автографы продаются за большие деньги, служа предметом корыстного торга. Он был так возмущен этим, что одному господину из числа спекулянтов, который обратился к Твену с просьбой об автографе, — ответил

письмом, написанным на пишущей машине. В этом письме Твен негодовал на то, что его автографами торгуют, и называл такую торговлю позорным явлением. Хо-хо-хо!

Я терпеливо переступил с ноги на ногу.

— Ну? Ну-ну?

— Да что — ну? Вот и все.

— А анекдот-то где же?

— Тут же. Это и есть анекдот.

И он стал хохотать, корчась и размахивая руками в припадке истерического веселья.

Я ушел от него и вскоре встретился с другим знакомым.

— Я думал, — еле сдерживая улыбку, заявил другой знакомый, — что Твен был только юмористом в литературе… Но оказывается, что он был таковым и в жизни. Последний анекдот о Твене, перепечатанный всеми газетами, немало распотешил читателей и доставил им много веселых минуточек. Не слышали?

— Не помню, — подумав, сказал я. — Какой анекдот?

— О его женитьбе! Ха-ха!

Мой собеседник сел на скамью, уткнул голову между колен и весь задрожал от хохота.

— До сих пор не могу вспомнить спокойно!

Ха-ха! Влюбился знаменитый юморист в одну девушку и попросил у ее отца руки дочери таким образом: «Вы ничего не замечаете?» — спросил Твен отца. «Ничего», — отвечал отец. «Понаблюдайте внимательней — может быть, и заметите».

Оглушительный припадок хохота прервал рассказ моего знакомого. Он кашлял, раскачивался и в изнеможении отмахивался руками.

— Да я вас слушаю, — поощрил я его. — Продолжайте.

— Да я и кончил, — отдышавшись, сказал он. — Это и есть анекдот о женитьбе Марка Твена.

Я скромно молчал.

— Однако вы невеселый человек, — обиженно заметил знакомый. — Вас ничем не проберешь. Разве что на вас может подействовать шутка Твена со своим тестем. Это уж такая вещь, которая даже мертвого заставит расхохотаться. Однажды тесть подарил Марку Твену большой дом. Знаменитый юморист поблагодарил его и прибавил: «Если вам когда-нибудь вздумается приехать к нам погостить — для вас всегда найдется теплый угол».

— Весь анекдот? — осторожно спросил я.

— Весь. Хе-хе! Так и говорит: «Для вас, — говорит, — всегда найдется теплый угол».

— Больше никаких анекдотов о Твене не имеется?

— Есть еще один. Об автографах. Тоже препотешный, признаться.

— Об автографах я уже знаю, — задумчиво возразил я. — Не надо рассказывать. До свидания.

Весь тот день я был задумчив.

«Как это могло случиться, — думал я, — что такой безмерно веселый всемирный юморист оставил после себя такие странные унылые анекдоты? Одно из двух: или они кем-либо выдуманы после смерти Твена, или Твен действительно имел в жизни эти три случая, но ни в одном из них не думал острить, поступая так, как поступил бы всякий другой обыкновенный человек. А кто-то подслушал разговор с тестем, прочел деловое письмо к спекулятору автографами, да и вообразил, что это и есть анекдоты. И записал их. И напечатал. И перевели. И смеются».

Я слишком люблю Твена и чту его память, чтобы оставить покойника с такими вялыми, скучными анекдотами.

Я решил придумать другие анекдоты для веселого, остроумного Твена. Я твердо верю, что он заслуживает большего. Мне кажется, что такой бриллиант должен быть в лучшей оправе, чем

та — из тяжелых неуклюжих булыжников, — которой его окружили бестактные неумелые почитатели.

Написать несколько анекдотов для меня не стоило большого труда — стоило только порыться в своей памяти и вспомнить все те шуточки, которые случалось мне отпускать в веселой компании. Я твердо уверен, что за мной никто не ходил по пятам и не записывал сказанного мной, без чего все равно все мои остроты погибли бы для света. А так они, по крайней мере, принесут пользу светлой памяти веселого Твена.

II

Спустя некоторое время после этого в газетах появилась новая серия свежих анекдотов о Твене.

Вот некоторые из них:

По одному источнику

Сидя в одном обществе, Твен потешал слушателей веселыми шутками и анекдотами.

Один из слушателей, позавидовав Твеновым лаврам, заявил:

— Я сегодня тоже сочинил препотешный анек-

дотец. Вы позволите его рассказать вам?

И он начал рассказывать какую-то смешную историйку, но на половине был остановлен Твеном:

— Постойте! Мне кажется, что я смогу докончить придуманный вами анекдот.

И, к великому восторгу и смеху публики, великий юморист тут же блестяще закончил начатую его завистником историю.

Все были поражены талантливым проникновением Твена в мысли рассказчика.

А Твен застенчиво покраснел и скромно заявил:

— О, это сущие пустяки! Дело в том, что у меня и у него в кабинетах висит отрывной календарь, очевидно, одного и того же издания.

Портрет

Однажды Твен и его приятель совершали загородную прогулку на велосипедах. По близорукости Твен налетел на какой-то предательский камень и покатился под откос вместе с велосипедом.

Его приятель, как завзятый спортсмен, первым долгом заинтересовался состоянием велосипеда.

Он крикнул сверху:

— Цела ли рама, дружище?

— Рама-то цела… — отвечал Твен из оврага. — Но зато портрет, кажется, вдребезги!

Самоубийца

Однажды Твена спросили:

— Покушались ли вы когда-нибудь на самоубийство?

— Да, — серьезно ответил Твен. — Единственный раз в жизни. Это было во время моего путешествия по России — в Москве. Взгрустнулось мне — я и решил.

— Каким же образом вы покушались?

— Я пытался утонуть, спрыгнув с Кузнецкого моста.

Вся соль твеновского ответа заключается в том, что «Кузнецким мостом» в Москве называется обыкновенная улица без всякого признака не только моста через воду, но даже и капли какой-нибудь воды.

Разница

Твен несколько раз обещал издателю одной американской газеты написать рассказ, но все время что-нибудь мешало ему.

— Помилуйте, — сказал однажды издатель. — Такой великий человек и вдруг — обманывает!

— Чем же я велик? — удивился Твен.

— Ну да! Вы для Америки были тем же Робинзоном Крузо, который, попав на необитаемый остров, первый возделал и украсил этот остров.

— Ну между мной и Робинзоном Крузо большая разница, — отвечал Твен, подумав. — У него на всю жизнь был один Пятница, а у меня на одной неделе семь пятниц!

III

Когда вышеприведенные анекдоты о Твене появились в печати, они вызвали общий восторг и удовольствие.

Печатая эти анекдоты, газеты сопровождали их такими предисловиями:

«Неувядаемый юмор в творениях великого юмориста, оказывается, был его спутником и в обычной жизни. Его маленькие шутки, расточаемые в разговорах с друзьями и знакомыми, — настоящие перлы! В них сразу можно узнать незлобивый смех и веселье великого американца. Вот некоторые из этих перлов…»

И тут же приводились истории с портретом, календарем, Кузнецким мостом и Пятницей.

Сначала эти похвалы льстили моему самолюбию, а потом мне сделалось обидно.

Все хвалили покойника Твена, а меня никто даже не потрепал по плечу. Ни одна газета даже и не подумала приписать хотя один рассказанный анекдот — мне, как владельцу его и автору.

Я был в тени.

Тогда я пошел в одну редакцию и заявил:

— А ведь анекдоты-то о Твене — это мои. Я их отчасти выдумал, а отчасти некоторые истории действительно со мной случились. Я их и тиснул под маркой Твена. А теперь я не хочу больше. Прошу меня разоблачить в вашей газете!

Но редактор хладнокровно возразил мне:

— Эти анекдоты прославились постольку, поскольку они принадлежали всемирно остроумному великому Твену. А если эти истории случились с вами — никому они не нужны, и никто бы их и не напечатал! Подумаешь — кому интересны эти черты из вашей биографии!

— Почему же неинтересны? — огорченно спросил я.

— Да потому, что вы никому не известный маленький человек. Когда сделаетесь знаменитым и прославитесь — тогда другое дело…

Я круто повернулся спиной и пошел делаться

знаменитым и прославляться. (Между прочим, могу сознаться, что это ужасно трудно.)

IV

Ради заработка я изредка сочиняю анекдоты о великих людях. Так как тратить на этих великих людей лучшие из своих выдумок и анекдотов не имеет смысла (может быть, они мне самому пригодятся впоследствии), — я пускаю в оборот следующие вещи, тем не менее приводящие невзыскательную публику в восторг.

О Суворове

Однажды Суворов перед битвой с французами спросил встречного солдатика:

— Как думаешь — побьем басурманов?

— Так точно! — отвечал бойкий солдатик.

Великий полководец тут же дал ему серебряный рубль и сказал:

— Ну ступай.

О Петре Великом и шуте Балакиреве

Как известно, великий преобразователь никогда не расставался со своей знаменитой

дубинкой.

Однажды пуговица с его камзола оторвалась и закатилась под стол.

Великий основатель Петербурга нагнулся, пошарил дубинкой под столом и достал пуговицу.

Находившийся поблизости шут Балакирев спросил:

— Ну что, Алексеич, нашел пуговицу?

О Гоголе

Однажды великий сатирик пришел к знакомым.

— Какова погода? — спросили его.

— Дождь идет, — отвечал незабвенный творец «Ревизора».

И тут же повесил мокрый плащ на гвоздик.

* * *

Вот что я пишу и печатаю о великих людях.

Сам же я, признаться, в частной жизни говорю вещи гораздо более ценные, веселые и достойные всяческого внимания.

Но они так и гибнут бесследно. Что ж…

Одинокий Гржимба

I

Тот человек, о котором я хочу написать, — не был типом в строгом смысле этого слова. В нем не было таких черт, которые вы бы могли встретить и разглядеть на другой же день в вашем знакомом или даже в себе самом и потом с восхищением сказать присутствующим:

— Ах, знаете, я вчера читал об одном человеке — это типичный Петр Иванович! Да, признаться, есть в нем немного и Егора Васильевича… Хе-хе!

В этом смысле мой герой не был типом. Он был совершенно оригинален, болезненно нов, а может быть — чрезвычайно, ужасающе стар.

Мне он представлялся удивительным осколком какого-нибудь распространенного несколько тысяч лет тому назад типа, ныне вымершего, исчезнувшего окончательно, за исключением этого самого Гржимбы, о котором речь идет сейчас. Везде, где появлялся Гржимба, он производил впечатление странного допотопного чудовища, чудом сохранившего жизнь и дыхание под многовековым слоем земли и теперь выползшего на

свет божий дивить и пугать суеверный православный народ.

И еще — я находил его похожим на слона-одиночку. Африканские охотники рассказывают, что иногда от слоновьего стада отбивается отдельный слон. Он быстро дичает, мрачнеет, становится страшно злым, безрассудно свирепым и жестоким. Бродит всегда одинокий, а если встречается со слоновьим стадом, то вступает в драку, и его, обыкновенно, убивают.

Гржимба был похож на такого слона.

Моя нянька сказала о Гржимбе другое.

Когда она немного ознакомилась с ним, то всплеснула морщинистыми руками, заплакала и воскликнула:

— Что же это такое! Бедненький… Ходит как неприкаянный.

Нянька да я — мы были единственными людьми, которые почему-то жалели дикого, загадочного «неприкаянного» Гржимбу.

А вообще — его все считали страшным человеком.

II

Когда мне было 10 лет — мать моя держала гостиницу и меблированные комнаты в небольшом

провинциальном городке на берегу широкой реки.

Однажды мы сидели за утренним чаем и занимались рассказыванием друг другу сновидений, пригрезившихся нам в эту ночь.

Мать, как женщина прямая, честная, рассказывала то, что видела в действительности: ей грезилась «почему-то лодка», и в этой лодке сидели наши соседи Хомутовы, «почему-то» все в маленьких-маленьких платочках… и «почему-то» они говорили: «Идите к нам!»

Я слушал мать лениво, рассеянно, придумывая в это время себе сон поэффектнее, позабористее, чтобы совершенно затмить простодушные маменькины лодочки и платочки.

— А мне снилось, — густым голосом прогудел я, раскачивая головой, отчего моя физиономия, отражаясь в самоваре, кривлялась и ненатурально удлинялась, — мне снилось, будто бы ко мне забрались двенадцать индейцев и схватили меня, чтобы оскальпировать. Но я — не дурак — схватил глобус да глобусом их. Ого! Убежали да еще томагавки забыли.

Я помолчал немного и равнодушно добавил:

— Потом слона видел. Он что-то орал и хоботом пожрал всех наших жильцов.

Мать только что собралась изумиться красочности и разнообразию моих грез, как на парадных дверях прозвенел резкий звонок.

— Пойди, открой, — сказала мать. — Я швейцара услала.

Я вскочил, помчался, издавая громкие, пронзительные, но совершенно бесцельные крики, подбежал к стеклянным дверям и… остановился в изумлении: за ними было совершенно темно, будто бы неожиданно вернулась ночь.

Машинально я повернул ключ, и дверь распахнулась. Послышалось урчанье, проклятие, и на линии горизонта моих глаз я увидел два нечеловеческих, чудовищно толстых колена. Мне пришлось сильно задрать голову, чтобы увидеть громадный, необъятных размеров живот, вздымавшийся, опадавший и опять раздувавшийся, будто бы в нем ходили какие-то внутренние волны.

Мне нужно было отбежать на десяток шагов, чтобы увидеть этого человека во весь рост. В то время он показался мне высотой в пять-шесть аршин, но после я узнал, что он был трехаршинного роста. Гора-живот переходила в гору-грудь, которая заканчивалась громадной шеей. А на шее сидела небольшая голова с круглыми, красными

щеками, обкусанными усами и маленькими злыми глазками, которые свирепо прыгали во все стороны. Голову покрывал поношенный цилиндр, и — что меня поразило больше всего — цилиндр держался на голове с помощью черной ленты, проходившей под подбородком. Точь-в-точь как пожилые дамы завязывают лентами старомодные шляпки.

— Мальчишка, — хриплым, усталым голосом небрежно уронил удивительный незнакомец. — Есть вино?

— Не знаю… — растерялся я. — Спрошу у мамы.

Я побежал к матери, а когда мы с ней вернулись, то нашли его уже в гостиной сидящим на диване, со скрещенными на животе руками, ходившими ходуном вместе с животом, и расставленными далеко друг от друга огромными ножищами в пыльных растрескавшихся сапогах.

— Что вам угодно? — спросила мать, и по ее тону было видно, что она перепугана насмерть.

— Стакан вина.

— У нас вино внизу… Где общая столовая. Впрочем… (незнакомец в это время сердито заурчал)… пойди вниз, принеси им стакан вина.

Я принес бутылку белого вина и стакан.

Стараясь не подходить к посетителю близко,

я издали протянул руки, насколько мог, именно таким образом, как в зверинце кормят страшных слонов.

Гигант взял бутылку и стакан. Стакан внимательно осмотрел, сунул в карман рыжего сюртука, а из бутылки вынул зубами пробку, выплюнул ее и сейчас же перелил содержимое бутылки в свою страшную пасть.

Я в это время смотрел на его живот: заметно было, что он оттопырился еще больше.

Посетитель презрительно осмотрел пустую бутылку, сунул ее в карман (потом оказалось, что он это делал со всяким предметом, приковывавшим его внимание) и отрывисто спросил:

— Жить можно?

— Вы хотите сказать, есть ли комнаты? — робко спросила мать. — Да, есть.

— Где?

— Пожалуйте, я покажу.

Мы пошли странной процессией: впереди катился крохотный, как горошина, я, за мной маленькая мать, а сзади колоссальная, стукавшаяся обо все притолоки своим цилиндром туша незнакомца.

— Вот комната, — сказала мать, поворачивая ключ в дверях.

Незнакомец прорычал что-то, выдернул ключ, быстро вскочил в комнату, и мы немедленно услышали звук повернутого изнутри ключа.

— Вот тебе раз, — только и нашлась сказать моя бедная мать.

III

Когда пришел швейцар и проснулись некоторые квартиранты, мы рассказали им о нашем новом страшном жильце. Все были потрясены теми подробностями, на которые я не поскупился, и теми слезами, на которые не поскупилась мать.

Потом пошли на цыпочках слушать, что делается в комнате чудовища.

Оттуда доносилось заглушенное ворчание, проклятия и стук падавших стульев, будто бы жилец был чем-то недоволен.

Неожиданно ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась, и мы все в ужасе отпрянули. В самом верху образовавшейся щели на головокружительной, как мне казалось, высоте появилась голова, сверкавшая злыми глазенками, и хриплый голос проревел:

— Эй! Горячей воды и полотенец! Чего вы, анафемские выродки, собрались смотреть на меня? Людей не видели, что ли?

Голова скрылась, и дверь захлопнулась.

Слуга понес ему воду и полотенца, и потом, когда мы собрались в столовой, рассказал страшные вещи: жилец сидел в углу в полной темноте и проклинал всех на чем свет стоит, жалуясь на свою уродливость, толщину и тяжелую жизнь.

При появлении слуги он схватил его за руку, оттащил от порога, а дверь снова запер на ключ. Вел он со слугой длинный разговор, главным образом о еде, расспрашивал, много ли дают кушаний и можно ли здесь получить «настоящие порции»? Во время разговора беспрестанно мочил горячей водой полотенце и выжимал его на лицо и шею, перемежая это занятие отборной руганью. Потом свернул полотенце в жгут и стал бить им по столу, в такт длиннейшему разговору о жареной баранине и картофеле с хлебом.

— Я очень боялся, — озираясь, говорил нам слуга, — чтобы он не хватил меня по голове мокрым полотенцем. Тут бы из меня и дух вон!..

Обед принес матери новые огорчения.

Неизвестный потребовал себе в комнату двойную порцию, а когда ему налили громадную чашку щей и дали восемь котлет, он потребовал еще столько же, жалуясь, что это «не настоящая порция».

Дали ему еще.

А через час он прокрался в столовую, где как раз никого в то время не было, — и утащил к себе телячью ногу и два белых хлеба.

Обглоданную ногу я нашел в тот же вечер лежащей в коридоре, около дверей этого человека.

С большим трудом удалось взять у него для прописки паспорт: он не хотел пускать слугу в комнату, отчаянно ругался и рычал, как медведь.

По паспорту он оказался дворянином Иваном Гржимба и после паспорта показался нам еще таинственнее и ужаснее.

Ночью я долго не мог уснуть, раздумывая о неведомом, неизвестно откуда пришедшем Гржимбе и о его страшной судьбе. Ужасало меня то, что в нем не замечалось ничего человеческого, ничего уютно-обыкновенного, что было в каждом из нас… Он не смеялся, не плакал, не разговаривал ни о чем, кроме еды, и мне казалось, что много лет он уже так бродит с места на место, оторвавшийся слон от семьи других слонов, не понимаемый никем и сам ничего не понимающий. Сейчас, среди ночи, он представлялся мне сидящим в углу своей запертой комнаты и жалующимся самому себе на свою страшную судьбу.

«Зачем он обтирает шею мокрым горячим по-

лотенцем? — пришло мне в голову. — Для чего это?»

Я знал, что белых медведей в зверинцах, чтобы они не издохли, обливают холодной водой, и, не задумываясь, объяснил себе таким же образом и поведение Гржимбы.

«А вдруг, — подумал я, — горячая вода остынет и Гржимба умрет?»

Мне было жаль его. Нянька тоже жалела его.

«Неприкаянный»... Это верно, что неприкаянный. Что-то он теперь делает?

А Гржимба как раз в это время стоял у дверей детской и грозил мне кулаком.

Я был уверен, что это сон, но оказалось, что поведение Гржимбы было явью. После мы выяснили, что Гржимба ночью бродил по комнатам и отыскивал съестное. Жильцы слышали его тяжелое хриплое дыханье в коридоре, а утром мать недосчиталась в маленькой буфетной двух коробок сардин и банки варенья.

Коробки из-под сардин мы нашли в коридоре у его дверей. Очевидно, ключей для коробок у него не было, и он просто голыми пальцами разломил толстые жестяные коробки.

IV

Прошло три дня. Мать все время ходила мокрая от слез, потому что часть жильцов выехала, боясь за себя, а Гржимба не только не платил денег, но прямо разорял коммерческое предприятие матери.

Днем он съедал почти все, что было заготовлено в кухне, а ночью, когда все спали, бродил везде одинокий, чуждый, непонятный, бормоча что-то под нос, и отыскивал съестное. К утру в доме не было ни крошки.

На четвертый день мать, по категорическому требованию оставшихся жильцов, заявила полиции о происшедшем, и в тот же вечер я был свидетелем страшной сцены: явилась полиция — бравая, бесстрашная русская полиция — и застала она дикого, слоноподобного жильца врасплох. Он был одинок и безоружен, а полицейских с дворниками собралось десять человек, не считая околоточного.

К Гржимбе постучали.

— К черту! — заревел он.

— Отворите, — сказал околоточный.

— Кто там? Ко всем чертям. Прошибу голову! Откушу пальцы! Проткну кулаком животы!

— Это я, — сказал околоточный. — Коридорный. Принес вам кой-чего поужинать…

За дверью послышалось урчанье, брань — и ключ повернулся в дверях.

Два дюжих городовых налегли на дверь, один просунул в щель носок сапога, и вся ватага с шумом вкатилась в комнату.

В комнате царила абсолютная темнота, а из одного угла за столом слышался страшный рев и проклятия, от которых дрожали стекла.

Черный гигант отломил кусок железной кровати и свирепо размахивал им, рыча, сверкая в темноте маленькими глазками.

— Бери его, ребята, — скомандовал околоточный.

Городовой подлез под стол, схватил громадные, как бревна, ноги и дернул… Гржимба пошатнулся, а в это время сзади, с боков обхватили его несколько дюжих рук и повалили на сломанную кровать. Он вырвался и еще долго сопротивлялся с глупым мужеством человека, не рассуждающего, что организованной силе все равно придется покориться.

Когда его связали и вывели, комната имела такой вид, будто бы в ней взорвалась бомба. Мы, столпившись в углу, с ужасом смотрели на это-

го странного, никому не понятного человека, а он рычал, отплевывался и, вздергивая головой, поправлял сползавший цилиндр, поломанный и грязный, державшийся на той же широкой черной ленте.

— Что же с ним делать? — спросил старший городовой околоточного.

— В Харьков! — рявкнул Гржимба.

— Что — в Харьков?

— В Харьков! Отправьте! Туда хочу!

И его увели — эту тяжелую пыхтящую гору, окруженную малорослыми победившими его городовыми.

В ту ночь мы с нянькой много плакали.

Я представлял себе громадного вечно голодного Гржимбу, без папы, без мамы, без ласки, — бедного нахального Гржимбу, который насильно внедряется в разные дома, а его ловят, вытаскивают оттуда, причем он безуспешно пытается сопротивляться, и потом его высылают в другой город, как тяжелого, никому не нужного слона… И так бродит из города в город одинокий Гржимба — таинственный осколок чего-то непонятного нам — того, что, может быть, было несколько тысяч лет тому назад.

Откуда Гржимба? Где он одичал?

Нянька тоже плакала.

Чудеса

То, что случилось со мной в первый день Пасхи, — навсегда поселило в моей душе убеждение, что есть такие странные, необъяснимые явления в нашей жизни, которые не поддаются самому внимательному анализу и перед которыми мы стоим, как перед загадочной завесой, скрывающей за собой целый ряд удивительных чудес и тайн.

Мы стоим перед этой завесой, недоумевающие, с пальцем, положенным на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— Что же?! Что это было?

И молчит завеса.

* * *

Был первый день Пасхи. 12 часов пополудни.

Я стоял перед зеркалом во фраке, свежевыбритый, в чудесном настроении, так как был я молод, стояла весна, и теплое солнце матерински ласкало всякого, кто подвертывался под его лучи.

Сначала поехал я к Болдыревым. Мать семейства и дочери приняли меня весело, радостно,

все насквозь пронизанные весенним светом и радостью красивого праздника.

Просидел я у них даже больше положенного на визиты срока, что-то около получаса. Закусывали.

Когда я вышел от них, настроение у меня было прекрасное, а стоявший на углу извозчик в новом армяке, с примазанными маслом волосами, умилил и рассмешил меня своей праздничностью и своим видом человека, понимающего серьезность ниспосланного Богом праздника.

Мне пришло в голову невинно подшутить над ним, таким торжественным и строгим.

— Извозчик! — сказал я, подходя. — С Новым годом!

Он посмотрел на меня, пожал плечами и солидно ответил:

— Воистину Воскресе!

— Хорошая у тебя лошадь, — сказал я. — Какой породы? Лягавая?

— Работницкая.

— Бегать умеет?

— Побежит.

У него был такой солидный, приличный вид, что мне сделалось стыдно своих шуток. Я протянул ему руку и сказал:

— Прощай, брат. Кланяйся там отцу, дедушке.

— Покорниче благодарим. Дед вымер нынче.

Я сочувственно вздохнул и отошел.

* * *

Потом сидел у Крамалюхиных. Удивительная вещь — Пасха! Встретили меня как родного, тогда как в обычное время отношения наши не выходили за рамки простого холодного знакомства.

Жена Крамалюхина отказалась христосоваться.

— А я все-таки поцелую вас, — улыбаясь, сказал я.

— Да как же вы меня поцелуете, если я не хочу?

— А я все-таки поцелую.

— Не понимаю, право…

Я рассмеялся. Чудачка и не думала, что это так просто.

— Ей-богу, поцелую!

— Право… мне даже странно…

Она отвернулась, а я воспользовался этим моментом и поцеловал ее в шею.

— Ого! — сказал муж.

Я залился смехом.

— Ну? А говорили — не похристосуюсь. Вот и

похристосовался!

— Однако, — сказал муж.

— Не правда ли? Хе-хе. Стоит только захотеть. Кстати, — вспомнил я. — Знаете вы анекдот о «стоит только захотеть»?

— Какой анекдот?

— Я вам расскажу…

Мне пришло в голову, что анекдот этот не совсем приличен и при даме рассказать его неудобно. Но эту мысль заменила другая:

«В сущности, ведь она замужняя и прекрасно все должна понимать…»

И я сказал вслух:

— Анна Петровна! Разрешите рассказать этот смешной анекдот при вас. Правда, он немножко, как это говорится, того, — ну да ведь и вы — хе-хе — не девочка же. Я думаю — прекрасно все понимаете, а?

Я, улыбаясь, заглядывал ей в лицо, а она встала и неожиданно куда-то вышла.

— Странная она какая-то сегодня, — удивился я.

— Это вы ее со своим анекдотом прогнали, — объяснил муж. — Нельзя же при дамах неприличные анекдоты рассказывать.

На меня от этих слов сразу повеяло такой

непроходимой пошлостью узких мещанских узаконений и копеечной моралью людей, зарывшихся в свое грошовое мещанское благополучие, что я не выдержал и сказал:

— Почему? Ну будем, дорогой Илья Ильич, откровенны хоть раз в жизни. Ведь не институтка же ваша жена? Представьте, если бы я был ее любовником — она бы выслушала от меня этот анекдот и только бы посмеялась. Я буду говорить, извините меня, просто: то, что мы с ней чужие, — это простой случай! Конечно, я не говорю…

Муж хотел что-то возразить, но в это время вошла жена.

— Ильюша! Тебя сейчас просят по важному делу к Дебальцевым. Нужно тебе сейчас ехать, а мне уже пора в театр на дневное представление.

— Простите, — сказал я. — Я не буду вас задерживать. Только какие же сегодня театры? В первый день театров не бывает.

— Бывает.

— Уверяю вас — не бывает. Я это хорошо знаю. Вас, наверное, обманули!

Она закусила губу:

— Ну один театр все-таки открылся.

Прекрасно зная, что в первый день в театрах не играют, я был поражен до глубины души.

Очевидно, Анна Петровна была жертвой чьей-то глупой шутки.

— Это надо выяснить, — сказал я. — Вы позволите мне поехать с вами? Нет ли здесь какой-нибудь глупой шутки или чего-нибудь еще похуже? Дело в том, что я могу поклясться, что в первый день ни в каких театрах не играют.

— Это театр в частном доме, — сказала она, задумчиво отворачиваясь.

— Ах, так?.. А что идет?

— Эта… Сирано де Бержерак.

— Прекрасно! Я давно хотел видеть эту пьеску. («Отчего бы мне не посмотреть ее?» — подумал я.) Слушайте, поедем вместе.

— Это неудобно, — быстро ответила она. — Я по приглашению.

— Пустяки! Я заплачу десять рублей. В пользу там каких-нибудь вдов или сирот. Вот. Получите!

Вынув десять рублей, я пытался всунуть их ей в руку, но она не взяла.

— Стесняетесь от молодого человека деньги получать? — пошутил я. — Явление в наш практический век беспримерное! Ну прощайте. Не буду вас задерживать.

* * *

Я вышел. Так как следующий визит был у меня намечен в книжке «к Ахеевым», я взял извозчика и поехал.

Несмотря на теплый ясный воздух, мне почему-то взгрустнулось.

«В сущности, — подумал я, — к чему это все? Все эти визиты, окорока, английская горькая, христосование? Ведь все равно все умрут. И я умру… И извозчик умрет».

Сердце мое охватила смертельная жалость к этому понуренному, терпеливо сидящему на козлах человеку, который должен умереть, и — ни одна душа о нем не вспомнит. После безрадостной жизни — безвестная смерть!

— Извозчик! — предложил я. — Хочешь, я доставлю тебе удовольствие?

— Какое? — обернулся он.

— Хочешь, я тебя покатаю? Ты садись на мое место, а я на твое. Хочешь?

— Нельзя. Обштрахуют.

Мне до слез было жаль этого покорного печального человека.

— На сколько? — спросил я. — Ну самое большее, на двадцать пять рублей? Так получай их! А

теперь — пересаживайся!

Может быть, с точки зрения уличного благоприличия это и было странно, но моральная красота моего поступка искупала какие-то глупейшие уличные правила, и я, без тени смущения, перелез на козлы.

Уличные моралисты — судите меня!

Я довез извозчика до самого подъезда Ахеевых и, остановившись, слез. И неожиданно в голову мне пришла простая человеческая мысль, центром которой был оправлявший в этот момент сбрую извозчик.

«Извозчик, — подумал я, — такой же человек, как и другие… Почему я могу войти к Ахеевым, а он не может? Потому что на нем грубый армяк и что он крестьянин? А Кольцов? А Никитин? И я спрошу их прямо: вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате… А посадите ли вы его с собой за стол?»

Уговорить извозчика стоило мне больших трудов. Наконец он согласился, и я, демонстративно обвив рукой его шею, чтобы еще больше подчеркнуть равность наших положений, вошел с ним к Ахеевым.

У них были гости: какой-то старец и толстая дама.

— Здравствуйте! — сказал я громко. — Христос Воскресе! Вот вы, господа, либеральничаете, говорите о меньшем брате… А посадите ли вы его с собой за стол?

Остановившись посреди комнаты, мы с извозчиком внимательно следили за выражением лиц хозяев.

— Отчего же, — сказал Ахеев. — Теперь такой праздник, что мы всякому рады. Садитесь.

— Не бойся, милый, — дружелюбно толкнул я извозчика в спину. — Садись. Я знаю, что у этих добрых людей слово не расходится с делом. Дайте моему другу извозчику стакан коньяку.

И так как я решил идти до конца, то попросил:

— И не какой-нибудь дряни, а лучшей марки. Он такой же человек, как и мы.

Извозчик принялся за еду и питье, а мы сидели и молчали. Смотрели на него.

Но было скучно. Я это чувствовал.

— Отчего вы все такие скучные? — спросил я. — В жизни так мало радости, что смех и веселье нужно изобретать.

Толстая дама улыбнулась.

— Посоветуйте, что делать. А мы уже повеселимся.

— Итальянцы любят шутки, мистификации, —

сказал я, — а мы не любим. Давайте сделаем какую-нибудь мистификацию!

— Какую?

Я обвел глазами стол.

— Можно устроить мистификацию для визитеров. Смотрите: вино из бутылок можно вылить — заменить уксусом, сырную пасху посыпать солью и перцем, в окорок, вместо гвоздики, натыкать маленьких гвоздиков, а куличи выдолбить внутри и насыпать туда земли с цветочных горшков и окурков.

Я расхохотался.

— Вообразите их удивление, когда они начнут есть и пить. Ха-ха! Я вам сейчас это все устрою.

— Да не надо, — сказал Ахеев.

— Почему же не надо? Надо. Вы увидите, как это будет превесело.

Я опрокинул цветочный горшок и, высыпав землю, стал поливать ее мадерой.

Произошла глупейшая сцена: хозяин вырвал у меня бутылку и бестактно крикнул:

— Не смейте этого делать!

— Почему? Вы же просили… мистификацию…

Он вырвал у меня кулич, верхушку которого я успел уже снять, и крикнул:

— Убирайтесь вон!

Я изумленно посмотрел на него.

— Вы сумасшедший! Я же вас не трогаю!

— Пойдем, — сказал извозчик.

Я посмотрел на лицо хозяина, который, казалось, готов был перервать глотку за какой-то кулич и початую бутылку скверной мадеры, — и мне сделалось противно сидеть среди этих людей… И мучительная, тяжелая тоска охватила мою душу.

— Жалкие вы черви! — с отвращением сказал я. — Идем, мой друг. Ты еще не сыт? Эй, вы! — надменно продолжал я. — Я беру у вас эту колбасу, жареную курицу, бутылку коньяку и графин водки. Не беспокойтесь — плачу. Человек с душой торгаша! Получите двенадцать рублей… Ха-ха! Сдачи не надо.

Вконец уничтоженный хозяин и гости не смели посмотреть мне в глаза. Хозяину, очевидно, было смертельно неловко за свой бестактный поступок с куличом.

* * *

Мы подошли к пролетке, и я разложил на сиденье собранные с собой припасы.

— Ешь, извозчик, пей. А я посижу около лошади, постерегу, чтобы ее не украли конокрады.

В то время в городе свирепствовала шайка конокрадов, и поэтому моя боязнь этих дьявольски хитрых людей была небезосновательной.

Извозчик пил коньяк прямо из бутылки, а я сидел у ног лошади, глядел на него и думал:

«Вот кто никогда не покинет меня! Из таких именно самородков, черноземных людей и выходят честные старые преданные слуги».

Будущее показало, что я не ошибался.

— С визитами я не поеду! — сказал я сам себе. — Пора уже прекратить этот глупейший обычай.

О, традиции, всосанные с молоком матери! В душе все-таки было смутное неопределенное чувство боязни, что знакомые обидятся, если я о них не вспомню. Но этому горю можно было помочь.

Мимо проходил рассеянный сосредоточенный человек без шапки. Я остановил его.

— Милый! Вот тебе записная книжка… Сделай по ней, вместо меня, визиты. Тут у трех я уже был, а у остальных не был. А это тебе за труды. Двадцать рублей. Довольно? Скажи, что я, мол, кланяюсь… Не забудешь?

Он молча взял деньги, книжку и ушел. Будто гора свалилась с моих плеч.

* * *

Солнце склонялось к закату. Какая-то тихая, неопределенная грусть вползала в душу. Мы сидели с извозчиком у колес пролетки, и каждый думал о своем.

— Спой мне, — тихо попросил я, очнувшись, — что-нибудь тихое, задушевное, отчего бы душа сладко и больно сжималась.

Извозчик послушно открыл рот и запел. Глухие надтреснутые звуки выходили, разливаясь в предвечернем воздухе. Но вот они окрепли, зазвенели — и полилась широкая безудержная русская песня.

— И-и-э-э-ух — ха! Г-а-а-а, — пел извозчик, и тихо припал, притаился истомленный солнцем воздух.

— Кто здесь песни орет? А? Отчего ты не на козлах? — раздался сверху чей-то грубый голос. — В участок захотел, полосатый черт.

Мы вскочили.

Перед нами стоял грубый, с красным лицом, городовой и махал кулаком.

— Вы кричать не имеете права, — возразил я. — А если вы оскорбили моего товарища, назвав его полосатым чертом, то он выше этого. Стыдно

ругаться! Вы себя этим унизили, а не его. Сами вы полосатый невыносимый дурак!

— А-га-га! — завопил городовой. — Ругаться? Пойдем!

Я вырвался из его рук, ударил его кулаком в лицо, отчего он упал, отбежал в сторону и крикнул своему другу извозчику:

— Спасайся! Бежим! Против нас целый заговор — я все понял! Держись около меня.

И мы побежали.

На нашем пути встретилась какая-то церковь.

— Храм Божий! Сюда! — скомандовал я. — Здесь мы в сравнительной безопасности.

— Пойдем на колокольню, — предложил извозчик.

— Прекрасно! Беги вперед!

Колокольня была открыта. Мы вбежали по узкой лесенке и захлопнули за собой обе двери. В глазах моего спутника горело мужество, а его беззаветная храбрость ободряла и меня, усталого, измученного.

— Часов пять мы здесь продержимся, — сказал я. — А там придет подмога. Мои молодцы не дремлют.

Мы залегли на колокольне.

Я отламывал кирпичи, на случай защиты от

неожиданного нападения, а мой верный извозчик схватился за язык большого колокола и, раскачав его, зазвонил тревожно и громко.

— Надо бы так устроить, — посоветовал я, — чтобы наши друзья услышали эти призывные звуки, а враги не догадались, где мы.

Извозчик обещал приложить к этому все усилия и зазвонил еще громче. Я выглянул в амбразуру окна.

— Идут! Борись, брат! Мужайся.

Мы поцеловались, схватили кирпичи и осыпали ими черную толпу врагов, глухо шумевшую внизу.

— Сдавайтесь! — крикнули они.

— Ни за что! — отвечал я, высовываясь. — Лучше смерть, чем позор.

Извозчик прищурился и бросил в них кирпичом; потом сел под колокол и сразу, как мертвый, уснул.

— Борись, Петя, — посоветовал я, прилег у окна и положил голову на какую-то скамеечку.

Что было дальше — не помню.

* * *

Если бы все случившееся произошло глухою ночью, когда осенний ветер дует в трубы и тем-

ные силы справляют свой дикий шабаш, туманя и мороча человека, сбитого ими с толку, — это еще было бы допустимо.

Но как могло случиться среди бела дня то, что рассказано выше, — я до сих пор не могу объяснить.

И стоим мы теперь с моим другом извозчиком, недоумевающие, с пальцами, положенными на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:

— За что? На два месяца? За что же, господи?

Первый дебют
(Рождественская история)

Настроение на этом собрании было какое-то особенное, приподнятое.

Старый, пыльный чердак, заваленный массой разного хлама и украшенный красивыми гирляндами тяжелой от пыли паутины, давно не видел такого оживления и подъема духа.

Первым говорил самый почтенный из всех призраков, — призрак старого повесившегося нотариуса.

— Милостивые господа! — начал он. — Сегодня мы имеем юридическое и моральное право исполнить наше главное назначение, — явиться людям, живущим в этом доме, и хорошенько напугать их. В качестве юриста я, не останавливаясь на моральной стороне дела, укажу на наше юридическое право: сегодня наступит знаменитая, популярная среди призраков ночь, ночь под Рождество, и мы будем большими дураками, если не воспользуемся хорошенько этим прекрасным случаем. Моральное освещение нашего предполагаемого предприятия я предоставляю моему

уважаемому соседу, отцу дьякону.

Призрак дьякона крякнул и сказал:

— Одобряю! Прихожане погрязли в грехах и забыли о будущей жизни… Да… это самое… надо им сделать тонкий намек на это толстое обстоятельство.

Дьякон прислушался к вою ветра в трубе, потрогал свою печень и со щемящей тоской в голосе добавил:

— Сколько они этой водки вылакают за праздник — уму непостижимо!

Призраки притихли, грустно поникнув головой.

Желая нарушить печальное молчание, призрак коммивояжера поднял голову и сказал:

— А за границей мы уже являлись…

— Что?

— За границей, говорю, наш брат уже отпраздновал эту ночь.

— Почему?

— Как же! У них на тринадцать дней раньше. По новому стилю. Я был в Берлине, там являлся, теперь здесь буду.

Все с завистью посмотрели на расторопного коммивояжера, а нотариус сказал:

— В сущности, вы, как русский подданный, не

имеете права являться в Берлине. Вас могли за это притянуть… Бррр… как воет ветер!

Приютский мальчишка, хлебнувший, в свое время, под горячую руку уксусной эссенции, посмотрел в темный, не освещенный луной угол и прошептал:

— А мне, дяденьки, страшно чивой-то!

Нотариус обернулся к нему и сухо спросил:

— Ты — первый год?

— Первый.

— Сам?

— Сам. Хозяин шпандырем уж оченно дубасил.

— Причина, положим, глупая. Но являться тебе все-таки нужно… Господа, разрешите поставить на очередь вопрос: кто к кому в этом доме желал бы явиться?

— Я желаю явиться в жилище третьего этажа, моей бывшей соседке, — сказал сухощавый призрак старой девы. — Однажды, я просила у нее на один час красный зонтик, а она, дрянь этакая, не дала… Напугаю я ее за это до смерти!

— Вздорная бабенка, — шепнул старый нотариус своему соседу, бакалейному лавочнику. — Я, господа, беру на себя смелость явиться в пансион для благородных девиц во втором этаже. Я имею на это юридическое право.

Хотя нотариус соврал (никакого юридического права он не имел), но ему уступили, причем бакалейщик взял на себя квартиру мануфактурщика, с которым он был знаком домами, а дьякон пожелал до смерти перепугать содержателя ресторана со спиртными напитками.

Более опытные призраки расхватали себе всех хороших жильцов, а бедный, приютский мальчишка молчал и поэтому когда вспомнили о нем, то ему достался старый меняла четвертого этажа, сухой, черствый старик.

Втайне призрак приютского мальчишки мечтал о графе первого этажа, в квартире которого он как-то разглядел через окна красивый потолок и шкуру медведя на диване, но теперь графа забрал себе коммивояжер, и мальчишка робко согласился на скучного, неприятного менялу…

— Ну, мы будем собираться, — распорядился нотариус, — а вы, отец дьякон, пошаркайте пока по полу ногами и порычите немножко.

— За… зачем это? — умирая от страха, спросил приютский мальчишка.

Нотариус подмигнул,

— Это им там внизу до ужаса взвинтит нервы… И когда мы явимся, они уже будут хорошенько *приготовлены.*

* * *

Приютский мальчишка, оставшись на чердаке последним, задрапировался в дырявую простыню, которую ни один из призраков не хотел брать, и, вздохнув, поплелся к своему меняле.

По пути он дрожал от страха, а в голову ему приходила мысль: бросить свою простыню и удрать во все лопатки.

Но, боясь насмешек своих товарищей и чувствуя жадное любопытство к тому, как испугается его старый меняла, призрачный мальчишка отогнал трусливые мысли и бодро вошел в спальню менялы.

Хозяин раздевался, чтобы лечь спать. Он повязал уже голову платком и, почесав худую волосатую ногу, хотел улечься, как сонный взгляд его упал на стоящего в углу приютского мальчишку.

— Это что такое? — скрипучим голосом спросил он и стал вглядываться старыми тусклыми глазами… — Это что такое? Неужто, привидение? Гм… странно!

Видя, что меняла не испугался, призрак мальчишки помялся немного, потом нерешительно поднял руки и зарычал:

— Гуууууу!!.

Меняла неторопливо встал, взял свечу и, подойдя к призраку, окинул его строгим взглядом.

— Привиденье? — отрывисто спросил он.

— Бууууу!

— Не строй дурака! Привиденье?

— Да, дяденька.

— Зачем?

Мальчишка подумал и решил сказать самое страшное, что он знал:

— Пришел взять твою душу, а потом наставить синяков на руках, на голове и исполосовать всю спину.

— Гм, — угрюмо усмехнулся меняла, — широко задумано! Для чего же это тебе нужно?..

Этот вопрос застал приютского мальчишку врасплох. Он и сам не знал, для чего ему все это нужно.

Растерявшись, мальчишка выпучил свои призрачные глаза и снова загудел:

— Уууууу!

— Удивительно остроумно! — сердито проворчал меняла. — Чем глупости выкидывать, лучше бы делом каким занялся... Да, право! Ходят, ходят тут всякие, а зачем — и сами не знают. — «Я призрак! Я привидение! Я пришелец из загроб-

ного мира!!» — Да мне-то какое до этого дело? Подумаешь! Я понимаю, если бы это кому-нибудь приносило пользу, а то ведь так — дурака валяете!

Приютский мальчишка стоял сконфуженный и еле удерживался, чтобы не расплакаться.

— А тебе, паренек, стыдно! Ты призрак молодой совсем, перед тобой вся… (старик замялся) вся… смерть впереди, а ты, вместо того чтобы делами хорошими заниматься, по ночам шатаешься, людей пугаешь. Ведь вот испугайся я, ты бы обнаглел и готов был бы мне на голову сесть, а теперь, увидев, что твое дело не выгорело, стоишь как пень и не знаешь, что делать дальше… Уу… Безнравственный мальчишка!

Меняла с презрением отвернулся от уничтоженного призрака и, кряхтя, лег под одеяло.

Приютский мальчишка, притаив дыхание, выждал несколько минут и потом, подкравшись к задремавшему меняле, потихоньку ущипнул его за ногу.

— Вот я тебе ущипну, негодяй! Ты мне будешь щипаться… Проваливай!

Призрак потоптался еще несколько минут около кровати менялы. Он попытался сдернуть с него одеяло, но неудачно, потом дернул старика

за ухо.

Меняла делал вид, что спит и не замечает стараний приютского мальчишки.

Прибегнув в последний раз к своему излюбленному приему, густому гуденью, и видя его безрезультатность, призрак мальчишки горько вздохнул и, обескураженный, нехотя зашагал на чердак.

Вокруг нотариуса сидела почти вся компания вернувшихся призраков, и все обменивались впечатлениями минувшей ночи.

Общий результат был таков, что все обитатели дома перепугались до смерти.

Когда же очередь дошла до приютского мальчишки, он нагло улыбнулся и, приняв суровый вид, стал рассказывать:

— Когда он меня увидел, то чуть не умер от страху. А я на него как напал! А-а, говорю ему, такой-сякой! Делом не занимаешься, глупости все на уме! Вот я тебя сейчас! А он плакал, просил прощенья и, залезши под кровать, трясся, как осиновый лист. Я его поколотил хорошенько и ушел!

Труха

Это было самое веселое, оживленное место предпраздничного рынка. Лавчонка, маленькая, полутемная, была битком набита покупателями, а на улице у входных дверей стоял бойкий, крикливый мальчишка и зазывал еще новую публику.

— Пожалуйте! — кричал он, раскрывая рот так, что углы губ касались концов его громадных ушей. — Эй! К нам пожалуйте! Очень даже прекрасные привидения, покойники, девочки на всякий рост, бесприютные собачки-с! Громадный выбор занесенных снегом странников, волки-с. Только у нас настоящие волки! Эй!

А в лавчонке крику было еще больше.

Приказчик, держа в правой руке за шиворот что-то длинное, одетое в белый саван, с деланым изумлением кричал:

— Это-с, по-вашему, не привидение?! А что же это тогда, по-вашему, такое, если не привидение? Который год торгуем — никогда не было, чтоб сумлевались! Вы, вероятно, ваша милость, не видели никогда настоящего привидения, потому

такое и говорите!

— Да оно… не страшное! — робко возражал покупатель и косился на фигуру, беспомощно болтавшуюся в мужественной руке приказчика.

— Это не страшное? — изумлялся приказчик. — Да какие ж тогда страшные бывают?! Обратите внимание на их личико: мертвецкая бледность и глаза, как свечки. Вот эту кнопку только нажать… А голос! Извольте прислушаться!

Приказчик нажал рукой спину привидения. Оно заскрипело и, захлопав ртом, проревело:

— Ищи документы, раскрывающие тайну твоего рождения — на чердаке, в двойной крышке старого сундука!

Рот захлопнулся, глаза потухли и фигура безжизненно повисла в приказчичьих руках.

Покупатель призадумался.

— Ничего… Слова хорошие. Из них можно что-нибудь сделать… Гм… Тайна рождения… Заверните!

— Браку не надо ли? — спросил приказчик, заворачивая покупку.

— А что у вас за брак?

— Чиновник один. Раскаивался в ночь под Рождество, что выгнал больную жену с ребенком. А они как раз и пришли в эту ночь, под видом

нищих.

— Ну?

— Ну вот. А мальчишка наш лавочный, что орет сейчас у дверей, чтоб ему пусто было, — вынул чиновника из коробки, да и отвертел ему голову. Согласитесь — не может же жена возвращаться к безголовому чиновнику. Целый набор испортил, негодяй. Возьмите! Дешево бы отдал…

— Да куда ж он мне?..

— Ну можно что-нибудь такое… Жена могла бы держать корчму, пользующуюся дурной репутацией, а муж тоскует по ней и приезжает в рождественскую ночь, желая сделать сюрприз. Его не узна́ют и убивают. И только после, по отрезанной голове, с которой ей дали поиграть, — дочка узнает черты своего любимого папы. Прекрасный сюжет!

— Пожалуй! — сказал покупатель, раздумывая. — Я в провинцию пошлю, куда-нибудь. Там это любят. Только вы и голову не забудьте положить.

— Помилуйте-с — все здесь, в коробке. Прикажете сверху вьюги положить? Копеек на тридцать.

— Разве у вас теперь вьюга отдельно продается? — удивился покупатель.

— Да-с. Лучше комбинируется. Можно чинов-

ника — и вьюгу, заблудившегося мальчика — и вьюгу. Почти что она везде идет.

— Тогда посыпьте чиновнику на двугривенный. Да мне отдельно дайте немножко. Можно просто стихотворение в прозе о вьюге сделать. Благодарю вас.

* * *

В лавку вошла дама в очках.

— Здравствуйте! Позвольте мне одного замерзающего мальчика. Поменьше только и похуже одетого.

— Не держим-с, — вздохнул приказчик. — Погоды нынче, как назло, теплые, а товар скоропортящийся.

Дама растерянно посмотрела на приказчика.

— Тогда, может быть, найдется девочка на улице, прильнувшая к оконному стеклу, за которым елка?

— Продали-с. Была одна прильнувшая девочка, и ту для детского журнала взяли. Много не держим, потому из моды выходит. Из новенького чего не пожелаете ли: палач, вешающий родного племянника, экспроприаторы, нападающие в рождественскую ночь на усадьбу, раскаявшийся губернатор? Много теперь идет.

— Что-нибудь с волками нет ли? — спросила дама.

— Пожалуйте-с: охотник в лесу и волки, испугавшиеся праздничного колокола; прохожий и волки; заброшенная усадьба и волки; тройка лошадей и волки. Прикажете завернуть?

— Дайте с заброшенной усадьбой. А старые преданные слуги у вас не продаются отдельно? Я бы взяла одного.

— Сделайте одолжение. Только я бы, мадам, посоветовал вам лучше слугу с тройкой взять. А волков отберете отдельно. Усадьба тоже у меня случайная осталась — от экспроприаторов. Один покупатель экспроприаторов забрал, а усадьбу, на которую нападают, оставил. Совсем бы задаром.

* * *

Высокий, представительный беллетрист, обладатель известного имени и целой тучи забранных всюду авансов, стоял у прилавка и безнадежно оглядывал наваленных в беспорядке привидений, волков и экспроприаторов, которых сразу можно было узнать по зверским, размалеванным красным лицам и громадным пистолетам, заткнутым за пояс.

— Все у вас, почтеннейший, — грустно говорил беллетрист, — одно и то же… Те же волки, раскаявшиеся старики, обсыпанные вьюгой, и разные бездомные женщины.

Приказчик развел руками и сказал извиняющимся тоном:

— Трудновато для вас подобрать. Так, мелюзга какая, — все берет. С руками рвут. Из провинции какой приедет, так он и привидение возьмет, и прохожего старика. Усадьбу с экспроприаторами увидит, и ту возьмет. Волков ему предложишь — и волками не побрезгует. И волков-то дашь ему старых, облезлых, с одышкой. А уж до вьюги как доберется, — дорвется до дешевки, — так всю покупку запорошит, что и не разберешь — где усадьба, где волк! Простой народ. Вам, конечно, этого не предложишь.

— Из новенького нет ли чего?

— Особенно — нет. Рождество под тропиками, унесенные льдиной в святую ночь, палач, вешающий племянника. Предложить вам разве Рождество на дирижабле?

— Фу, какая пошлятина! — поморщился беллетрист. — Нельзя ли что-нибудь из очень старого? Такого старого — что уже основательно надоело и забыто. Можно стилизацию сделать.

— Спущусь в погреб, пороюсь, — вздохнул усталый приказчик. — Там такое есть, что сорок лет не ворошили.

Через десять минут приказчик вылез с запыленной, облезлой коробкой и бросил ее на прилавок.

— Не подойдет ли? Самая старинная вещь. Антик-с.

— Что это такое? — брезгливо поморщился беллетрист, оглядывая коробку.

— Девица в заброшенной бане, гадающая на суженого, который в безвестной отлучке. Вот-с — свечи, два зеркала, девица… Это гроб, который отражается. Делается это просто, вот так: сюда — зеркала, тут свечи… девицу садим на эту скамеечку. Теперь стоит только выдвинуть из зеркала этот гроб — трах! Девица падает. Ее находят в обмороке утром, на следующий день. Потом горячка, почтальон, письмо, извещающее о смерти жениха. Старина-матушка! Возьмите!

В глазах писателя читалось колебание…

В лавку вошел высокий, худой гимназист с красными, как гусиные лапы, руками и густо рассыпанными по лицу веснушками. Глаза его смущенно бегали по непривычной обстановке, а сам он робко жался к дверям и говорил страшным сиплым, искусственным басом.

— Нет ли у вас чего для рождественского рассказа? Чтоб недорогое.

— Митька! — крикнул приказчик мальчику. — Покажи им бездомную собачку.

— Нет ли… странника замерзающего? — робко спросил гимназист, умоляюще смотря на приказчика.

— Нет, — сухо отвечал приказчик. — Берите или бездомную собачку, которая ходит под Рождество по улицам, или — елочку, которую срубили для детей и которая тоскует по родному лесу.

Митька повел гимназиста в угол и стал открывать перед его носом маленькие коробочки.

— Вот бездомная собачка. Видите — подавишь ее — она визжит! А это тоскующая елочка.

— А прильнувшей девочки нет? — шепотом спросил гимназист.

— Вышли. Да берите собачку — чего там! Можно агромадный рассказище написать. Вьюги дам на три копейки.

Мальчишка завернул гимназисту бездомную собачку, отщипнул от куска клочок вьюги, грязный, уже начавший подтаивать, и сказал:

— Этой штукой перед употреблением посыплете собачку. Сохранять в холодном месте. До свиданья-с.

Беллетрист, следивший с улыбкой за этой сценой, вдруг засмеялся и сказал приказчику:

— Знаете? Я куплю у вас эту собачку и этот кусочек вьюги, но только — вместе с гимназистом.

— Для чего вам? — изумился приказчик.

— Да я из этого прекрасную вещь сделаю: «Первый рождественский рассказ». Гимназист, сочиняющий свою первую вещь, — это прелестно!

— Да как же я собачку… с гимназистом продам? — спросил приказчик.

— Да что ж такое! Заверните их вместе и вынесите на извозчика. Подумаешь — церемониться с гимназистом!.. Никто и не узнает.

— Слушаю-с!..

* * *

В лавку ввалилась хохочущая компания.

Один из компании наступил беллетристу на ногу, поставил лежащее на прилавке привидение вверх ногами, к великому веселью товарищей, и крикнул:

— Эй! старичок! Покажи нам свою дребедень!

— Это не дребедень, — обиженно возразил приказчик, — а прекрасные сюжеты для рождественских рассказов. Прошу не держать привидения

вниз головой.

— Кто это такие? — спросил беллетрист шепотом.

— Юмористы. Пустейшая и беспардоннейшая публика. Придут, перевернут все, осмеют и почти ничего не купят. Прежде юморист хороший был… Солидный. Придет — дай ты ему пьяного визитера, перепутавшего знакомые дома, или чиновника, который не получает ожидаемого ордена, или загулявшего купца. Основательный был юморист. А теперь рассобачились. Эй, господин, господин! Нельзя так делать… Что же вы в одну коробку суете и пожар усадьбы, и замерзшего странника, и детскую елку…

Компания забавлялась тем, что посадила призрака верхом на замерзающего странника и заставила их плясать перед елкой, взявшись за руки со страшными экспроприаторами и худыми рождественскими волками.

Потом свалили все это в кучу и, найдя коробку вьюги, стали с хохотом бросать ее горстями друг другу в лицо…

Я вошел в лавку, обвел всех присутствующих взглядом и сказал приказчику:

— Пришел к вам за сюжетом…

— Сделайте милость! — вежливо изогнул-

ся он. — Что прикажете: палача, вешающего племянника, вьюгу с волками, пожар усадьбы, призрака…

— Старый дуралей! — обиженно закричал я. — Неужели ты не понимаешь, что мне этого мало?! Я беру все сразу: усадьбу, экспроприаторов, вьюгу, беллетриста, племянника, палача, гимназиста, твоих мальчишек, самого тебя, всю твою бестолковую рухлядь, и я прошу завернуть мне это в бумагу, чтобы я мог унести домой с одним-единственным желанием и целью — сжечь весь этот вздор, эту глупую труху раз и навсегда!.. К черту рождественские рассказы!

«Аполлон»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу… По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он… называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, — секрет, — я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета, — сказал приказчик. — Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего… Следующий номер вам

дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет как по маслу.

— Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке — изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

— Аполлон — бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного… Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов…

Заинтересованный диковинным «Аполлоном» — я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать, — Иннокентия Анненского — называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

> Жасминовые тирсы наших первых менад примахались быстро…

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку… Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

> В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов…

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»…

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

> Так как танец – есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем

людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни.

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов — привели меня в решительный восторг.

«Действительно! — думал я. — Как мы живем… Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены… Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу…

«Вот оно! — подумал я. — Начинается!..»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

— «О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жалованье у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глазение на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь… Позвольте вашу руку, madame!.. Вот так… Господа! Ну зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа… Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома. — Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами…

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали… Слышали?

Я пожал плечами:

— Ах уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуаз-

нейшего из Антисмертинов…

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного — вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно…

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы первых наших менад. Вам только поручи какое-нибудь дело… Благодарю вас, не беспокойтесь… Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек.

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит!.. Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?! — гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так

понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— …Жаловаться? Архиплуты, протобестии…

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— …Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что…

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь.

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

— Тирсы уж очень примахались, господин околоточный…

— Знаем мы вас, — скептически сказал околоточный. — Напьются, а потом — тирсы!..

Проклятие

Однажды Леонид Андреев затосковал.

Сначала его забавляли неизвестные молодые люди, приезжавшие к нему по два и по три раза в день, — а потом надоели.

Каждый из них, явившись к Андрееву, уводил писателя в угол и, судорожно вцепившись в пуговицу его бархатной тужурки, подавленным шепотом спрашивал:

— Что вы скажете о мессинском землетрясении?

И он смотрел на Андреева такими испытующими глазами, что тому делалось ясно: неизвестный молодой человек подозревает его в организации и устройстве этого бедствия.

— А что? — тоже подавленным шепотом спрашивал испуганный Андреев. — Я в то время был у себя на даче… и, клянусь вам…

— Нет, я хочу знать, как вы находите это землетрясение?

— Оно… ужасно… неприятно, — неуверенно отвечал Андреев.

— Да? Очень вам признателен. Я так и напишу:

«Леонид Андреев в дружеской беседе высказал свой ужас и возмущение перед загадочными силами природы, которые…» Очень вам благодарен! Бегу.

И он убегал, уступая место другому молодому человеку, такому же симпатичному и юркому.

Второй молодой человек тоже цеплялся за Андреева, как утопающий за соломинку, и с истерическим любопытством спрашивал:

— Какое ваше мнение о Толстом?

— О Толстом? Великий старик, сделавший…

— Благодарю вас. Очень рад был с вами побеседовать! Я так и напишу: «Недавно Андреев в тесном семейном кругу высказал не лишенное оригинальности мнение о Толстом. «Толстой, — сказал писатель, — хотя и велик, но его старость и сопутствующие этой поре жизни немощи лишают его возможности дать вещи, подобные незабвенным прежним — „Анне Карамазовой“ и „Братьям Карениным“». Мерси. Лечу.

Третий молодой человек, стоявший в затылок за вторым, ловким движением ноги отбрасывал второго, уже насытившегося, в сторону и спрашивал Андреева в упор:

— О Метерлинке! Что скажете?

— Метерл…

— Благодарю вас! Я так и сообщу нашим читателям! Я очень рад, что ваше мнение совпадает с моим. Лечу. Привет супруге.

Постепенно все это приелось Андрееву.

— Ах, как бы я хотел развеселиться! — говорил он.

— Господи! — удивлялась жена. — Что же может быть легче! В передней есть еще три молодых человека. Позвать? Может, они тебя развеселят…

* * *

Однажды Андрееву пришла в голову лукавая мысль: потихоньку, инкогнито, уехать в Москву и там повеселиться вовсю.

Он остриг волосы, надел черные очки и, взявши чемоданчик, поехал в Москву.

Умылся в номере гостиницы, радостно ухмыльнулся и, довольный собой, зашагал на Тверскую.

Навстречу ему шли две московские барышни.

— Вот Андреев, — сказала одна.

— Леонид, — добавила вторая.

Они остановились и повернули за писателем, смотря на него с изумлением и страхом.

— Идет по улице… — прошептала одна с остолбенелым лицом.

Другая всплеснула руками:

— Смотри, смотри! В калошах… Андреев в калошах!

— Что вам угодно, барышни? — со вздохом спросил Андреев.

— Ай-ай-ай! — взвизгнули обе. — Разговаривает!

И, обезумевши от ужаса, бросились врассыпную.

На Тверскую Андреев не пошел. Накупил газет и, печальный, побрел в свой номер.

В первой газете, которую он развернул, было написано:

> «Передают из достоверных источников, что Леонид Андреев находится в настоящее время в Антверпене. Писателю город очень понравился. Целыми днями его видят гуляющим по набережной и в гавани».

> «А надо будет, в самом деле, когда-нибудь, – подумал Андреев, – проехаться в Антверпен. Вероятно, любопытный город». Отложил первую газету и взял другую.

> «На днях в дружеской беседе Леонид

Андреев, – сообщалось во второй газете, – восхищался немецким поэтом Бирбаумом. Он считает его одним из лучших представителей немецкой поэзии».

— Бирбаум… — прошептал Андреев. — Странная фамилия. Надо будет почитать что-нибудь Бирбаума…

Встал и, потянувшись, взглянул на часы.

— Ужасно однообразные газеты нынче… Восемь часов… Пойду-ка я куда-нибудь в театр повеселиться.

Вышел, сел на извозчика и сказал:

— Вези меня, братец, в какой-нибудь театр. Смерть хочется повеселиться. Хе-хе…

— В Художественный? — спросил извозчик.

— Можно и в Художественный. Впрочем, нет, брат. Там идет моя «Анатема». Вези куда-нибудь в другое место. К Коршу, что ли.

Приехав в коршевский театр, Андреев купил билет и на цыпочках вошел в зрительный зал.

На сцене стоял актер в студенческом мундире, страстно взывая к актрисе:

— Оль-Оль! Я люблю тебя! Посмотри на эти Воробьевы горы…

— «Дни нашей жизни», — разочарованно про-

шептал Андреев. — Экая незадача!

Неприятная горечь накоплялась в груди и комком подкатывала к горлу.

Он встал, вышел на улицу и сел на другого извозчика.

— Вези меня, голубчик, в какой-нибудь театр, кроме Художественного и Солодовниковского.

— Пожалуйте!

Подойдя к кассе третьего театра, Андреев взял билет и спросил кассиршу:

— А что сегодня идет?

— «Анфиса» Леонида Андреева. Очень хорошая вещь.

Андреев скомкал билет и со стоном выбежал на улицу.

— Есть еще один театр, — сказал он сам себе, — но у меня и пьеса еще одна есть: «Жизнь человека». Я уверен, что наткнусь именно на нее. И еще один есть театр. Но туда не стоит и показываться: там, я знаю, — «Черные маски».

Во взоре его светилось отчаянье.

Громадный равнодушный город катил перед ним тысячные людские волны, громадный город заключал в себе массу развлечений, но — все они были не для него.

— Для всех, кроме него! Ха-ха!

Чем дальше, тем все больше и больше ему хотелось повеселиться… Взгляд его упал на гигантскую огненную вывеску:

СИНЕМАТОГРАФ
«МОДЕРН»

«Пойду я хоть в синематограф», — подумал несчастный и уныло побрел в иллюминованный подъезд.

* * *

Через минуту публика в ужасе шарахнулась от какого-то невысокого черного человека, который со страдальческим воем, расталкивая всех, бросился к выходу.

В синематографе демонстрировали сенсационную картину:

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
У себя на даче.
Только самое короткое время!
Леонид Андреев на моторной лодке.
РЕДКОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Леонид Андреев и Оскар Норвежский за чаем!

Леонид Андреев говорит в граммофон.
Невозможное стало возможным!
СПЕШИТЕ
СМОТРЕТЬ!

На лице Андреева застыла мертвенная скука; в глазах виднелось страдание. Он махнул рукой и пошел на вокзал написать жене письмо, — что завтра выезжает обратно.

— Открыточку? — спросила его продавщица в вокзальном киоске. — Вот, пожалуйста… Не желаете ли: Леонид Андреев, последний выпуск.

Андреев, шатаясь, отошел от киоска, опустился на колени и, воздев руки кверху, заплакал:

— Господи! За что ты меня проклял?!

Служитель муз

— К вам можно?

Не дожидаясь ответа, ко мне в кабинет боком протиснулся высокий парень с тупым взглядом исподлобья и порывистыми, без всякой логики, движениями.

— Это вы самый и есть редактор?

— Не скрою… Я, действительно, немного замешан в этом деле.

— Так. Странно только, что лицо у вас не редакторское. Такое, какое-то… недалекое.

— Послушайте…

— Да вы не обижайтесь… Ведь я не ставлю вам этого в вину.

— Что вам нужно?

— Принес стихи!

— Хорошо… Оставьте! Ответ через две недели…

— Э, нет! Мы эти штуки знаем… Я хочу, чтобы вы их сейчас прочли.

Будучи втайне зол на посетителя за его отзыв о моем лице, я решил затянуть ответ еще больше, чем на две недели.

— Зайдите как-нибудь зимою. Тогда я… Впро-

чем, можно прочесть их и сейчас!

Последняя фраза была произнесена мной невольно, после того как я поднял глаза на посетителя и увидел направленное на меня дуло револьвера.

Съежившись, я небрежно спросил:

— Вы хотите показать мне систему вашего револьвера?

— Нет, я хочу показать свою систему беседы с людьми вашего пошиба. Скажите, хотели бы вы получить кусок свинца в лоб?

Я категорически отказался от этого.

— Во-первых, мне сейчас некогда! Затем, ваше предложение так неожиданно… Я подумаю. Зайдите на днях.

— Да ты стихи прочтешь или нет?! — заревел посетитель, потрясая револьвером.

— Конечно, конечно… Я уверен, что стихи ваши превосходного сорта.

— Еще бы! Эй! Убери от звонка лапу, а то я ее перешибу!!

— Вы думаете, я хотел позвонить? Глубоко ошибаетесь… Какой у вас красивый почерк!

— Нужно быть упадочником и дегенератом, чтобы, держа такое произведение в руках, восхищаться только почерком. Читай, — только с

чувством!

Я исполнил его приказание лишь наполовину, потому, что стал читать рукопись с чувством глубокого отвращения. Она начиналась так:

Что вы жирные? Что серые?
Дьявол вас на свет призвал…
Думы – мыши… вас без меры я
Ненавидел. Целовал.
Ваш овал.
Как шаман, я дик, я страшен —
Не хочу в подвал,
Одинок, я в зубьях башен
Черепа овал
Целовал!..

Закрывши глаза и приложив в рассеянности револьвер к животу, поэт наслаждался музыкой своих стихов. Я хотел потихоньку дернуть его за руку, палец которой был на курке, но поэт открыл один глаз и вопросительно посмотрел на меня.

— Читали вы что-нибудь подобное?

Совершенно искренно я ответил:

— Ничего подобного я не читал.

— То-то же… Вы третью строку поняли?

— Ах, это где мыши?.. Очень, очень мило.

— Вы поняли, что такое мыши?

— Как же! Это такие серые животные из породы грызунов, которые…

— Боже! И такой человек — редактор! Ну, где у вас мозги? Я спрашиваю, где ваши мозги?

Боясь, чтобы он в поисках моих мозгов не вспомнил о револьвере, я поспешил замять этот щекотливый вопрос.

— А эта строка у вас — чудо, что такое!

Как шаман, я дик, я страшен…

Не хочу в подвал!

— Ты догадался, почему он не хочет в подвал?

— Гм… Конечно! Надеюсь, у него были основательные причины для этого.

— У тебя в разговоре ужасно пошлая проза… Я уверен, что тебе непонятна даже такая элементарная строка:

Одинок, я в зубьях башен…

— Испытал ли ты такое одиночество?

— Откровенно говоря, такое одиночество мне не перепадало. Так, вообще, кое-что… было.

— Тебе, вероятно, незнакомо и это переживание:

Черепа овал

Целовал...

— Переживал ты это?

— Погодите... Дайте вспомнить! Вы говорите: овал черепа? Нет!.. Насколько память мне не изменяет — не приходилось.

Я скорбно вздохнул:

— Да и где мне! Так, живешь себе без всякого удовольствия...

— Потому что ты не поэт, а червь.

— Совершенно верно. Это вы тонко подметили.

— Ну так вот... Оставляю тебе это стихотворение... Не благодари! Терпеть не могу, когда мне руки лижут. Заплатить можешь сейчас. Постой — сколько тут строк? Десять? Ну, будем считать для ровного счета — пятнадцать... я беру по три рубля строка (это ты заруби себе на носу), значит, сорок пять... ну, для ровного счета — пятьдесят рублей!

Искоса взглянув на револьвер, я вынул из бумажника деньги и робко положил на стол.

Взявши их, он сказал:

— Только слово «серые» напечатайте серой краской...

— Виноват, но типографские условия...

Стуча револьвером по столу, он отчетливо отчеканил:

— Знайте, что для меня типографских условий не существует! Я хочу, чтобы мои стихотворения производили на публику впечатление…

«Бреда сумасшедшего», — хотел докончить я вслух, но промолчал.

Когда он встал и спрятал опасное оружие, собираясь прощаться, я предложил ему, втайне дрожа от радости, что он уходит:

— Можно там, где вы говорите о жирных мышах…

— Ну…

— Напечатать слово «жирные» жирным шрифтом. Это произведет впечатление…

— Идиот!..

Он презрительно пожал плечами и вышел, пропуская ко мне в кабинет нашего сотрудника.

— Скажите, — угрюмо спросил я, — что это за сумасшедший?

Сотрудник удивленно посмотрел на меня.

— Сумасшедший?.. Это известный поэт-модернист. Его везде охотно печатают.

Я уткнулся в бумаги и проворчал:

— Охотно вам верю.

Лекарство

I

В глаза я называл ее Марьей Павловной, а за глаза — Марусей, Мэри и Мышоночком… Сегодня, когда я ехал к ней, то думал: «Соберусь с духом и скажу!.. Если она ответит “да” — в груди моей запоют птицы и жизнь раз навсегда окрасится приятным розовым светом. Если — “нет”… я ничего не скажу, повернусь и выйду из комнаты… И никто никогда не услышит обо мне ни слова. Только, может быть, через несколько лет до нее и всех ее знакомых дойдет слух о странном монахе, известном своей суровой отшельнической жизнью, который поселился в пустыне, одинокий, таинственный, со следами красоты на изможденном лице, благоволящий мужчинам и отворачивающийся от женщин…»

Это буду я.

Я вошел к Марье Павловне с сосредоточенно-сжатыми губами и лихорадочным блеском в глазах.

— Что это вы такой? — удивленно спросила она.

— Я… должен иметь с вами один… очень важный для меня разговор!

В глазах ее засветились два огонька и — погасли.

— Хорошо. Только я раньше должна съездить в два места… Надеюсь, вы меня проводите?

— Конечно! Как можно задавать такие вопросы?..

— Я сейчас оденусь, заедем в мануфактурный магазин и потом к портнихе. Ладно?

— Хотя бы к двум портнихам!.. — поклонился я.

Она призадумалась.

— К двум? Мне бы, собственно, нужно было к двум, да я не знаю адреса одной. Посидите. Я скоро оденусь. Даша! Сбегай-ка за дворником!

— Зачем это вам дворник понадобился? — изумился я.

— Не могу же я выйти на улицу в одном платье?!

— А разве дворник…

— Это длинная история! Жена дворника, которая служит у каких-то квартирантов, имеет сестру, работающую у той самой портнихи, которой я отдала переделать свою ротонду. Так вот, если жена дворника сообщит сейчас мужу адрес,

где работает ее сестра, — я и пошлю Дашу туда за ротондой.

— Так, так. Это и есть тот адрес — один из двух, — которого вы не знаете?

— Что вы путаете! Это тот адрес, который я знаю. Как же иначе я бы нашла его?

— Смешные вы, женщины! — улыбнулся я.

Она показала мне язык и убежала в другую комнату.

Я уселся, взял газету и прочел ее от начала до конца. Марья Павловна одевалась. Я пересмотрел альбом, взял какую-то книгу, прочел три главы. Марья Павловна одевалась! После шестой главы я имел совершенно точные данные, что Марья Павловна еще не совсем одета, а девятая глава заставила ее выглянуть из комнаты и спросить меня:

— Нет ли у вас крючка для застегивания ботинок? Я не могу найти свой. Целый час ищем!.. Почему вы не носите с собой крючка?

— Хорошо, — кротко отвечал я. — Теперь я буду носить его с собой. Во избежание задержек на будущее время я буду также теперь захватывать с собой щипцы для завивки волос, ротонду и головные шпильки. Если вам нужно еще что-нибудь — вы предупредите.

Она, очевидно, не поняла меня, потому что отвечала:

— Нет, щипцы у меня есть. А вот головные шпильки, если бы вы носили, — я иногда брала бы у вас, потому что они страшно теряются.

Вошла Даша и спросила:

— Не видали, барин, крючка для ботинок? Он тут где-то.

— Не знаю. Я пересмотрел альбом — его там не было. И в книге нет. Может быть, спросить того дворника, который имеет сведения о ротонде?..

И Даша меня тоже не поняла.

— Демьян! — закричала она, выбегая в переднюю. — Не видел барышниного крючка?

Я вошел в ту комнату, где одевалась Марья Павловна, и сказал:

— Придется мне поискать.

Из деликатности я старался не смотреть на причесывающуюся Марью Павловну, но она воскликнула:

— Только, ради бога, не смейте на меня смотреть!

Не посмотреть было уже неловко. Я взглянул на нее, на стоящую около нее пару крошечных ботинок, и спросил:

— Вы эти ботинки и хотите надеть?

— Да… только вот крючка нет.

— Крючок можно купить, — отвечал я. — Его можно сделать, найти, украсть, но — увы — он будет вам бесполезен.

— Почему?!

— Потому что ботинки ваши не на пуговицах, а на шнурках.

Она засмеялась.

— Да? А ведь и в самом деле! Даша! Не ищи крючка… А вы, сударь, уходите пока.

Я вышел и от скуки опять взялся за газету. Выглянула Даша и спросила:

— Барин, не видели барышниной брошки?

— Не знаю, где она. Впрочем, вы можете взглянуть на крышу соседнего дома. Не зацепилась ли она каким-нибудь образом за дымовую трубу.

Даша с озабоченным видом взглянула в окно, развела руками и ушла обратно в комнату барышни.

— Там нет… Под ковром смотрели?

— Смотрела. И в умывальнике нет.

— Ах ты ж, господи!

Я нервно вошел в их комнату и спросил:

— Куда вы ее обыкновенно кладете? Какого она вида?

— Обыкновенно она у меня на груди. А вид у нее

такой… знаете, что у лошадей на лапах бывает!

— На каких лапах?

— Ну такое… Копыто называется…

— Я не помню у вас такой брошки-копыта. Вероятно, подкова?

— Да, да… Такое, знаете, что стучит.

— Так бы вы прямо и сказали!.. Такое, что стучит — это всякий догадается. Подкову я помню. Ювелир, значит, уже вставил бирюзу, которая выпала? Помните, мы на той неделе вместе отдавали?

— Нет еще.

— Так она, значит, у ювелира? Скажите, сколько времени затрачиваете вы обыкновенно на поиски в этой комнате вещи, находящейся в другой улице?

— Действительно, она у ювелира! Даша, глупая, не ищи: я совсем и забыла.

Так как я был признан дамами очень сообразительным, толковым парнем, то меня оставили на всякий случай присутствовать при завершении туалета.

Все пошло гладко, если не считать того, что дамы тщетно пытались открыть флакон с духами, проклиная тугую пробку. Мне не стоило большого труда убедить их, что открывать его не имеет

смысла, так как он совершенно пуст, и что, вероятно, можно достигнуть больших результатов, если открыть другой флакон, стоявший тут же и по горло наполненный духами.

II

Когда мы приехали в магазин, приказчик галантно поклонился нам, но сейчас же побледнел и взглядом, полным ужаса, уставился на розовую, улыбающуюся Марью Павловну.

— Покажите мне что-нибудь новенькое на блузку. Только — самое новое. Я всегда бываю у вас, и вы всегда показываете мне старое.

«Какой негодяй!» — подумал я.

Приказчик полез на какую-то лестницу и стал сбрасывать на прилавок целый водопад разных разноцветных тряпок, — с таким видом, будто бы он хотел устроить между собой и покупательницей крепкую надежную баррикаду, за которой можно укрыться.

В глазах его виднелось отчаяние и покорность судьбе.

— Вот это, сударыня… Прелестный рисунок.

— Этот? Вы смеетесь надо мной! Это бабы платки такие носят.

— Тогда вот! Самый последний крик делямод.

— Этот? Нет, вы, право, надо мной смеетесь!

Я никогда не видел, чтобы так смеялись. На лбу приказчика выступил пот, а губы пересохли и нервно дрожали… Куски материй сыпались с полок дождем, развертывались, забраковывались, скрывались под свежей струей новых материй, которые, отверженные, в свою очередь стонали под тяжестью все новых и новых кусков, которые то были «аляповаты», то слишком в крупную, то слишком в мелкую клетку… А одна материя подверглась суровому осуждению даже за то, что клетка на ней оказалась слишком средней.

— Вот эта мне нравится, — робко сказал я, указывая на какой-то желтый угол, торчавший снизу.

Приказчик с благодарностью взглянул на меня, но потом вздохнул и сказал:

— Это не материя. Это оберточная бумага из середины куска. Вот это очень недурно, кажется.

— Это? — в искусственном восхищении вскричал я. — Это великолепно!

— Покажите еще что-нибудь в этом роде, — ласково попросила моя спутница.

Приказчик уже не стоял за прилавком, а лежал где-то наверху на огромной груде измятых скомканных кусков. Мы должны были задирать

головы, чтобы видеть этого доброго человека, который хриплым голосом кричал нам сверху:

— Вот тоже… рекомендую… Дернье крик делямод…

Образ действий приказчика меня изумлял.

Что могло удержать его от одного незаметного жеста руки, которым можно было бы опрокинуть на голову покупательницы часть этой груды «чего-нибудь на блузку»… Откапывание погребенной под развалинами покупательницы и вся последующая веселая суматоха дали бы приказчику некоторую возможность передохнуть и собраться с силами, а покупательница на собственной голове и плечах убедилась бы, что бывает очень неудобно, когда «что-нибудь на блузку» — весит от восьми до десяти пудов.

Последние «крики делямод», доносившиеся сверху, делались все тише и тише. Я понял, почему приказчик, увидев мою спутницу, побледнел от ужаса, а моя спутница в это время мягким, как серебряный бубенчик, голосом говорила:

— Этот цвет немного темен или, вернее, слишком для меня светел… Кажется, ничего я не подберу.

Она вздохнула и встала, ласково кивнув головой извивавшемуся где-то наверху телу при-

казчика.

— Мы уходим? — спросил я. — В таком случае, заверните мне, господин приказчик, вот этот кусок и этот… и этот!

— Для чего это вам? — изумилась Марья Павловна.

Я хотел сказать ей, что приказчик в самом худшем случае заслужил не этой бессмысленной для меня покупки трех кусков, а пожизненной пенсии и воспитания детей на казенный счет. Впрочем, едва ли ему нужна была пожизненная пенсия, так как, по своему наружному виду, бедняга мог дотянуть не дольше, чем до конца текущей недели.

III

Мы вышли из магазина — я, нагруженный громадным свертком, она, пустая, с победоносно веселым видом, — и сели на извозчика.

— Ну? — спросил я.

— Ну?

— Куда же ехать?!

— Да к портнихе. Ведь я же говорила.

— Извозчик, к портнихе.

— На какую улицу прикажете?

— На какую улицу? — спросил я, оборачиваясь

к своей спутнице.

— Такая… длинная. Я позабыла, право, как она называется.

— А, длинная! Так бы вы и сказали. Вероятно, еще по бокам стоят дома и у каждых ворот сидит дворник? Да?

— Да, да. Что-то в этом роде. Там еще есть четырехэтажный дом с такими воротами.

— С какими?

Она вытянула вперед пальцы и неопределенно пошевелила ими.

— Вот с такими, знаете?..

— Ах, вот такие ворота? Очень красивые. А улицы вы так и не знаете?

— Да я знала, да позабыла. Помню, сейчас нужно вправо завернуть.

— Извозчик! Направо.

— Да куда он едет?! Не туда! Направо!

— Он и едет направо!!

— Тогда, значит, налево.

— Эти извозчики вечно путают, — сурово проворчал я. — Дело в том, что у извозчиков и у прочих мужчин правая сторона случайно совпадает с правой рукой, а у женщин она совпадает — с левой! И мужчины так тупы, что не могут к этому привыкнуть.

— Вообще вы, мужчины… — критически сказала Марья Павловна и улыбнулась с сознанием собственного превосходства.

Мы повернули на какую-то улицу и поскакали по ней, причем я бросал проницательные взгляды на все дома с «такими» воротами. А моя спутница в это время украдкой перекрестилась.

— Что это на вас напала такая богомольность? — пожал я плечами. — Не хотите ли вы посвятить себя Богу?

— Нет, — сказала она. — Я так узнаю, где правая сторона.

— То есть… как же это?

— Да ведь крестятся правой рукой! Я перекрещусь и думаю: «Ах, вот она где, правая сторона».

— Изумительно просто! И дорогу можно находить, и грехи в то же время замаливать. Если бы все знали этот остроумный способ — не было бы заблудившихся и грешных людей.

— Вы льстите мне! — кокетливо хлопнула она меня перчаткой по руке. — Да это и не я придумала. Подруга.

— Богато одаренная натура, — одобрительно сказал я.

IV

Ввиду громадного количества домов с «такими воротами» — портниху мы не нашли.

Когда через час ехали обратно, Марья Павловна вспомнила:

— А что вы мне хотели сказать такое серьезное? Помните, давеча дома говорили? Еще говорили, что это для вас очень важно!..

И я не назвал ее мысленно ни Мэри, ни Мышонком, а зевнул и сказал:

— Ах, да! Я хотел спросить только: где вы покупаете такое прекрасное печенье к чаю?

И с этого момента пустыня лишилась одного из лучших отшельников, которые когда-либо спасались в ней.

Визитер
(Опыт характеристики)

Всякий, кому приходилось видеть визитера в начале его хлопотливой деятельности, знает — какое это чистенькое, надушенное, сверкающее белизной белья и лаком ботинок существо!

Перед выходом из дому визитер долго стоит у зеркала и приглаживает несколько волосинок, отставших у уха; он долго возится над тем, чтобы кончик его белого галстука не заскакивал за край жилета, и заботливо удаляет крошечную невинную пылинку, развязно усевшуюся на носке ботинка. Пушинка на рукаве фрака приводит его в нервный трепет. Она сбрасывается с рукава так энергично, что даже производит при падении легкий стук. Двумя пальцами вытаскивается из жилетного кармана маленький кончик красного шелкового платочка — ровно настолько, чтобы на общем фоне черного и белого алело необходимое декоративное пятнышко.

Вот что проделывает визитер, собираясь уходить. Нет нужды, что на пятом визите фрак его будет обсыпан пудрой, вымазан горчицей, и на

носке ботинка уютно прикурнет прилипшая головка кильки; а на десятом визите галстук лихо передвинется набекрень, и пряжка его будет весело болтаться на мужественной груди визитера, а в красном шелковом платочке, засунутом за жилет, будет завернут плохо прожеванный кусок колбасы, не могший проползти в сузившееся визитерово горло.

Нет нужды! Визитер, одеваясь дома, о будущем не думает.

Все его мысли и мироощущение — в настоящем.

* * *

Явившись в знакомый дом, визитер первым долгом бросается всех целовать, преисполненный нежной любви и ласки к прекрасному человечеству.

Мужчины, по большей части, переносят поцелуи визитера стоически. Лишь некоторые отрывают визитера после первого же поцелуя, так что следующие два — приходятся в воздух.

Визитер этим не смущается: воздух так воздух — он поцелует и воздух. И воздух хороший человек.

С дамами визитеру приходится повозиться.

— Ах, я, простите, не целуюсь.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно.

— Помилуйте, такой праздник… Нужно обязательно поцеловаться.

— У меня принцип — не целоваться. Ах, ах!

У многих дам единственный принцип в жизни — не целоваться на Пасху. Во все остальное время их легкомысленной жизни они целуются без всякого порядка и смысла, и тому же визитеру легче добиться прикосновения женских губ зимой, осенью и летом, чем на Пасху.

Если дама продолжает отказываться, визитер, обуреваемый высокими порывами, набрасывается на даму и, скрутив ей руки, целует ее в лопатку, в гребенку, торчащую из волос, и в тот же безропотный воздух.

Обыкновенно неприхотливый визитер удовлетворяется этим слабым выражением христианской любви, и его немедленно ведут к столу.

— Закусите-ка… Рюмку рябиновой?

В первые два визита визитер обыкновенно разбирается в напитках и закусках чрезвычайно тонко: он сначала выпьет померанцевой и закусит кусочком икры; потом зубровки и — ветчины; напоследок — рюмку коньяку и отведает кулича.

От коньяку поморщится, а кулич похвалит.

Следующие визиты усыпляют в визитере чувство излишней изысканности: сначала он пьет какой-нибудь ликер, закусывает омаром, а потом переходит на простую водку, заедая ее сахарным розаном с кулича.

И чем дальше — тем вкус его делается менее изысканным, но более прихотливым, идя рука об руку с рассеянностью.

Налитое по ошибке, вместо белого вина, прованское масло он хочет закусить ветчиной, но рука его попадает немного дальше, отщипывает кусок разноцветной бумажной бахромы с окорока и отправляет это красивое произведение хозяйского сынишки — в рот.

— Хорошая семга, — одобрительно кивает головой визитер, прожевывая бумагу. — По… чем продавали?

Потом он неистово хохочет сам над собой, объясняя всем, как он ошибся, сказав вместо «покупали» — «продавали»…

Он замечает свои ошибки и спешит сознаться в них. Это его бесспорное достоинство. И хохочет он с открытым ртом, из которого торчит полусъеденная разноцветная бумага, а галстук уже успел передвинуться, и пряжка как живая пляшет на

груди, в такт смеху веселого хозяина.

* * *

На первых визитах хозяева дома еще делают кое-какие попытки завязать с визитером беседу. Прием один и тот же:

— В какой церкви были у заутрени?

— В соборе.

— А где разговлялись?

— Дома.

— А хорошие у вас куличи вышли?

— Хорошие.

— А летом вы на даче?

— На даче.

— Как вообще поживаете?

— Да ничего. Ну мне пора.

— Да посидите еще.

— Нет, нет, что вы!

Последующие визиты делают визитера человеком очень оригинальным, полным свежих неожиданностей, но вести с ним обыкновенную светскую беседу делается чрезвычайно затруднительным.

На вопрос:

— Где были у заутрени?

Он, зрело обдумав свой ответ, говорит:

— Четырнадцать. Да еще восемь позавчера.

— Что восемь?

— Высокий такой блондин. Живи, говорит, у меня — чего там!

— Что?

— Вот вам и что! Его из печки вытащили, а он пополам. Тесто жидко замесили, что ли. Вы позволите еще рюмочку ветчины?..

На самом последнем визите визитер уже не говорит, а только иронически и подозрительно посматривает на всех исподлобья.

В этот период своей жизни он легко и безболезненно отвергает все завоевания тысячелетней культуры и цивилизации, с такой любовью созданной предками. Он может неожиданно расхохотаться; или начнет с аппетитом раскусывать хрустальный бокал; или будет пытаться влезть в рояль, с категорической, не допускающей возражений просьбой.

Разбудить его в половине шестнадцатого.

* * *

Закончив все визиты, визитер долго бродит по улицам, полный смутных, неопределенных мыслей. Редко кому приходилось видеть визитера в таком переходном состоянии, но автору этой

статьи однажды удалось подсмотреть, как вел себя в вышеприведенном случае визитер.

Он брел неверными шагами вдоль улицы, изредка одобрительно похлопывая по стенам и заглядывая в отверстия водосточных труб.

Он был в таком состоянии, что на главное не обращал внимания… Вызывали к себе его интерес только пустяки.

Шагая по улице, он увидел лежащую на своем пути спичку. Он изумленно остановился над ней и застыл в напряженной позе.

Потом, осторожно подняв ее, подошел к дремавшему дворнику у ворот.

— Человек! Где у вас склад ненужных отбросов?

— Чего-с?

— Укажите такое место, где бы я мог положить этот предмет, мешающий правильному движению пассажиров.

— Да бросьте ее, — сказал, засмеявшись, дворник. — Чего там.

Он взял из рук визитера спичку и бросил ее на землю.

— Нет, милый дворник, ты этого не делай. Зачем ты это делаешь? Это делать нехорошо.

— Да кому же она мешает? — сказал дворник.

— Тут люди ходят. Зацепится кто-нибудь, упадет, сломает ногу. Ему больно будет... Умрет... без... миропомазания...

Он нагнулся, поднял снова спичку, вырыл под воротами пальцем ямку, положил в нее спичку и засыпал ямку, облегченно вздохнул.

— Так-то оно и спокойнее... Прощайте, Никифор.

Визитер побрел дальше, остановился у какого-то подъезда и сел на ступеньку.

Рассеянный взгляд его упал на ботинок, на котором присохла оброненная им в предпоследнем доме килька.

Визитер снял ее с ботинка и положил на ладонь.

— Бедненькая! — сказал он, глотая слезы. — Неужели ты уже умерла? Нет! Ты еще будешь жить. Я тебя возьму к себе, и там, в тепле и холе, ты проживешь остаток дней твоих. О, жестокие, безнравственные люди!.. Господи, боже ты мой! За что, спрашивается? За что?

И он, раскачиваясь, баюкал пыльную кильку на руках, гладил ее, целовал и отогревал своим дыханием.

Потом вынул шелковый платочек, разостлал его на коленях, положил в него кильку и, с тру-

дом поднявшись, сунул все это в карман белого жилета.

Побрел, пошатываясь, и я потерял его из вида.

* * *

Один знакомый рассказывал мне прелюбопытную историю, касающуюся пасхальных визитов.

Она совершенно достоверна, так как знакомый этот служит чиновником в Пробирной палатке и имеет в Петербурге двухэтажный дом.

Я не думаю, что такой человек мог бы выдумать свою историю или раздуть ее, или изукрасить.

Да он был и слишком глуп для этого.

Кто знает хорошо институт пасхальных визитов — тому эта история не покажется особенно странной и небывалой.

* * *

Вот что он рассказал.

Однажды перед Пасхой пришлось ему поехать по делам из Петербурга в Харьков.

Город этот был незнаком ему, и он всю страстную субботу проскучал. На другой день утром, когда проснулся, солнце светило в окно и около его кровати лежал тщательно вычищенный

фрак.

Чиновник Пробирной палатки сладко и радостно потянулся на кровати и сказал сам себе:

— Нынче нужно делать визиты — первый день Пасхи, слава богу! Пора бы одеваться.

Он встал, оделся, побрился и вышел на улицу. На улице сторговался с извозчиком, сел в пролетку, вынул записную книжку с разными адресами и заглянул в нее.

— Вези меня на Дворянскую, номер 7.

Приехал на Дворянскую, отыскал, как и значилось в книжке, квартиру номер 4 — и позвонил.

— Дома? — спросил он горничную. — Принимают? Христос Воскресе.

— Пожалуйте-с! Воистину.

Чиновник был радостно встречен хозяином дома, расцеловался с ним и подошел к хозяйке с протянутыми губами.

— Да я не христосуюсь с мужчинами, — кокетливо заявила хозяйка.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно!

Чиновник все-таки поцеловал сначала какой-то рюш у нее на шее, потом серьгу в ухе, потом воздух, а потом все трое, весело смеясь, направились к столу.

— Рюмочку зубровки! Попробуйте нашего кулича — нынче, кажется, удачные.

— Попробую! Да, кулич прекрасный.

— Где были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В университетской церкви.

— А где разговлялись?

— Дома.

— Летом на даче думаете?

— На даче. Ну мне пора.

— Да посидите еще! В кои-то веки соберетесь.

— Нет, нет, что вы.

Чиновник вышел, сел на извозчика и заглянул в книжку.

— Московская, 12, квартира 20.

Извозчик привез. Чиновник позвонил, похристосовался с плутоватой горничной, расцеловался с хозяином, был несказанно удивлен отказом хозяйки от христосования и потом пил доппель-кюммель.

— Где были у заутрени?

— В университетской церкви.

— Летом на даче?

— Да, ну мне пора. До свиданья-с.

— Куда же вы?

Третье место, куда поехал извозчик, было:

— Ивановская, 9, квартира 6.

После обычного христосования и двух рюмок коньяку хозяйка спросила:

— Где были у заутрени?

— В университетской. Хотел было в Исаакиевский собор, да далеко, знаете, от меня.

— Я думаю, — сказала хозяйка.

— Да, — подтвердил чиновник. — Минут сорок нужно ехать.

— Откуда?!!

— Да от меня!

— Помилуйте, что вы говорите!.. Как же от Харькова до Петербурга сорок минут езды?

Чиновник встал, потрясенный до самого дна.

— Это… какой город?

Хозяйка засмеялась.

— Вот тебе раз! Человек в Харькове сидит на Ивановской улице у Сверчковых, — да не знает, что это за город.

— Так вы Сверчковы? — вскричал чиновник. — А у меня в книжке записан такой адрес: Ивановская, 9, квартира 6 — Чаплыгины. Вы, значит, не Чаплыгины?

— Да нет же — мы Сверчковы.

— Тогда извините, — растерялся чиновник. — Всего лучшего. Я уж пойду.

— Куда же вы — посидите!

* * *

— Понимаете, — говорил мне, рассказывая об этом случае, чиновник, — экая чепуха получилась. И в Петербурге, и в Харькове есть и Московская, и Дворянская, и Ивановская. Я по петербургским адресам и ездил.

— Да как же они вас принимали, незнакомого? — спросил я удивленно.

— Да им-то что?.. Приехал визитер, во фраке, христосуется, был у заутрени, пьет водку — значит, все как нужно, все как следует... А мое тоже положение — разве все знакомые лица упомнишь? Не разговорись я об Исаакии — так бы никто ничего и не заметил.

Жизнь посылает нам удивительные хитросплетения и устраивает самые замысловатые комбинации.

Если история, рассказанная выше, и кажется невероятной, то повторяю: не мог же чиновник Пробирной палатки, владелец двухэтажного дома, выдумать ее?!

Свой крест…

Noblesse oblige[11]

Однажды канцлер докладывал королю о текущих делах.

— …Кроме аудиенции, которую, ваше величество, вам предстоит дать завтра итальянскому послу, сегодня вам будут представляться: турецкий посланник, поверенный в делах Мексики и…

Король поднял свое бледное угрюмое лицо и неожиданно произнес странные, неслыханные слова:

— А… знаете что? Ну их всех к черту!

— Ваше королевское величество! Осмелюсь напомнить, что с итальянским посланником предстоит беседа о новом торговом договоре…

— А… знаете что?.. Ну их всех к черту. Отвяжитесь от меня с вашими договорами! — крикнул король. — Не желаю! Довольно. Никаких приемов, официальных обедов и полуофициальных завтраков. Спасибо! Сыт по горло.

---

[11] Примечания: 11
Положение обязывает *(фр.).*

Канцлер почтительно склонился.

— Слушаю-с. В таком случае, может быть, вы не откажетесь принять в пятницу немецкого посла?

Король всплеснул руками.

— Это удивительно! Скажите, неужели мы говорим с вами на разных языках? Неужели вы меня не поняли?

— Слушаю-с. Какие будут теперь приказания вашего королевского величества?

— Никаких. В том-то и штука, что никаких. Надоело мне все это до смертушки! Ухожу я от вас. Уйду в лес, найду какую-нибудь заброшенную хижину и буду жить в ней, питаясь плодами да рыбой, пойманной в ближайшей речке. Ах, если бы ты знал, — сказал задушевным тоном король, переходя на «ты», — как я давно об этом мечтаю.

— Слушаю-с. Прикажете приготовить автомобиль и выработать маршрут?

— Этого только недоставало!! Смешной ты человек, братец… Единственно, что я прикажу, — чтобы мне по дороге никто не мешал, не кричал «ура!» и не приставал с расспросами и услугами. Дай повсюду распоряжение, чтобы считали меня по дороге простым крестьянином. Да приготовь котомку и палку.

— Будет исполнено. Котомка и палка будут, к сожалению, готовы только к вечеру.

— Господи! Почему так долго?

— Котомку я предлагаю сделать из лионского бархата с вышивкой жемчугом, шелками и аграмантом. Палку изготовим вам из розового дуба с золотым набалдашником, украшенным десяточком-другим бриллиантиков…

— Знаешь, что? Ты мне надоел. Если ты это сделаешь, я выброшу твою бархатную котомку и золотую палку в окно, а сам убегу безо всего.

* * *

Ранним утром вышел из дворца король, одетый в крестьянское платье, и пошел на восток.

Пройдя несколько верст, свернул в сторону и зашагал по девственным пустым полям. Только один раз встретился ему работавший в поле человек.

Человек этот, увидев короля, раскрыл рот и выпучил глаза так, что они чуть не высыпались из орбит.

— Чего ты смотришь? — нахмурился король. — Разве ты не знаешь, кто я?

— Так точно. Знаю.

— Ну, кто?

— Кто вы? Простой мужик, ваше королевское величество.

— Тьфу!

Раздосадованный, зашагал король дальше. И вот, углубившись в лес, нашел король то, что искал. Среди высоких стройных деревьев притаилась маленькая заброшенная хижина дровосека, все убранство которой заключалось в маленьком кабинетном рояле, кровати с пружинным матрацем и полдюжине простых венских стульев.

Даже коров не было в этом убежище нищеты и заброшенности!

Король, как ребенок, захлопал в ладоши и нашел, что лучшего помещения ему и не потребуется. Голод стал мучить его.

— В речке должна быть рыба, — подумал король. — Хорошо бы поймать ее. Но чем?

Он задумчиво опустил глаза и вскрикнул от радости: на траве лежала брошенная кем-то удочка. Король схватил ее и помчался к речке. У берега лежал красивый, выдолбленный посредине камень, на котором сидеть оказалось очень удобно. Король забросил в густые камыши удочку и, когда через минуту дернул удилище, на конце лесы держалась большая серебристая рыба. К удивлению короля, она оказалась совершенно очищенной от

чешуи и даже выпотрошенной. Это заставило короля призадуматься. Он еще раз забросил удочку и опять через минуту вынул рыбу, которая была битком набита перцем и лавровым листом, а во рту держала большой очищенный лимон.

«Странная порода», — подумал король и пошел в свою хижину.

В печке весело пылал огонь.

— Откуда это? Гм… Может быть, я нечаянно давеча бросил на стружки спичку — стружки и загорелись? Непонятно…

Король сварил рыбу, съел вкусную, жирную уху и вышел прогуляться. Жажда томила его. По дороге ухо короля уловило журчанье ключа, пробивавшегося в скале.

Жаждущий путник без труда нашел ключ, прильнул к нему — и, изумленный, отпрянул прочь. Вода была сладкая, пахла апельсином, а сбоку на скале висела медная дощечка с надписью: «Газирована. Приготовлена на кипяченой воде».

Глаза короля потускнели и лицо омрачилось. Он тихо отошел от лимонадного ключа и побрел дальше среди роскошных фруктовых деревьев, отягченных большими аппетитными плодами.

Рука его машинально потянулась к белому сочному яблоку. Но яблоко было высоко. Король стал

на цыпочки… Со своей стороны яблоко тоже пригнулось, вздрогнуло и, отделившись от ветки, упало в королевские руки. Близорукий король не заметил, что от ветки шла вниз проволока, терявшаяся в кустах, но близорукий король заметил, что яблоко было искусно очищено от кожицы и даже сердцевина с семенем была выдолблена.

Король швырнул яблоко в кусты и побрел дальше. По дороге он нервно теребил тонкий батистовый платок, который какими-то судьбами очутился в кармане его грубой крестьянской куртки. Потом возвел глаза, свои печальные, потускневшие глаза, к небу — и выронил из рук платок.

В тот же момент из густых кустов высунулась чья-то рука, схватила платок и почтительно протянула его королю.

— Негодяй! — заревел король, хватая эту руку. — Так-то вы устраиваете вашему королю одиночество и жизнь в пустыне!!

Он вытащил за руку растерянного слугу, закричал на него, затопал ногами, покатился в истерическом припадке наземь и стал рыдать и вопить, стуча кулаками по траве.

— Как?! Я хочу быть один, я хочу уйти от вас, и я не могу этого сделать?! Я, король, не могу сделать

того, что доступно ничтожнейшему из моих подданных? Всю жизнь, значит, на меня наложены эти проклятые цепи ненужной мне придворной заботливости и дурацкого комфорта — и никуда я, никуда не спрячусь от них?! И значит, как бы я ни старался — я до самой смерти не сброшу этих бархатных, усеянных жемчугом пут, этих золотых палок с бриллиантовыми набалдашниками… О, если так — довольно! Лучше смерть…

Вокруг рыдавшего короля уже стояла почтительная, молчаливая толпа придворных и робко поглядывала на своего повелителя.

— Лучше смерть! — ревел обезумевший король. — Лучше в реку! Прощайте, мои погубители. Ни с места! Не смейте следовать за мной.

И помчался бедный король к реке. Но как ни спешил король — придворные были резвее его…

* * *

Король добежал до реки и остановился, удивленный: на берегу он увидел маленькую пристань и несколько ступенек, ведущих к воде. Пристань была украшена зелеными гирляндами, цветами и транспарантами, а ступеньки, ведущие к воде, — обиты красным дорогим сукном.

— Это что? — строго спросил король.

Выдвинулся вперед церемониймейстер.

— Это-с? Место для самоубийства, ваше королевское величество. Мы в отчаянии, что не успели нагреть воду и довести ее до температуры вашей ежедневной утренней ванны, — но времени было так мало…

Король опустился на траву (впрочем, не на траву: под него сейчас же подкатили свернутый в трубку персидский ковер) и долго и тихо плакал. Все, окружив короля, молча ждали… Потом король встал, утер слезы и обвел всех страдальческими глазами.

— Ну… черт с вами! Забирайте меня.

И повели короля во дворец.

Принцип

Иван Сергеич имел цельный, гармоничный характер и не гордился этим только потому, что был скромен и прост в обращении; эти качества резко отличали его от других воров, водившихся в трактире «Лужайка», — людей в общей массе крикливых, хвастливых и наглых.

Деятельность Ивана Сергеича имела строго определенное направление, от которого он не уклонялся ни вправо, ни влево: не убивал, но зато и не работал. Только воровал.

К людям не ворующим относился недоверчиво, с легким затаенным презрением, и когда вдумывался в их жизнь, то про себя нередко удивлялся: «Почему они тоже не воруют?»

После долгого раздумья объяснял это себе двумя причинами: беспощадной логикой социального строя (если все обворовываемые будут воровать, то некого будет обворовывать), а также отсутствием предприимчивости и неловкостью лиц, которые предпочитали зарабатывать пропитание трудом.

«И трудитесь, черти, — думал с ласковой на-

смешливостью Иван Сергеич. — Вам же хуже! Все равно украду».

И крал.

Эту веселую человеческую комедию изредка прерывали длинные антракты — именно тогда, когда Иван Сергеич попадал в тюрьму. Здесь он имел возможность бросать ретроспективные взгляды на пройденный путь и каждый раз успокаиваться на том, что ошибок в системе не было: право Ивана Сергеича — воровать, но зато право обворованных — ввергать его в тюрьму… Пожалуйста!

После этого никто не имел возможности упрекать друг друга в несправедливости и дуться один на другого. И по выходе из тюрьмы можно было начинать новую жизнь: трудящиеся, нажившись, должны были снова плохо положить несколько вещей, а Иван Сергеич брал уже остальное на себя.

Воровал Иван Сергеич двадцать пять лет — с тех пор как себя помнил. Если считать, что проживал он в год около двух тысяч, то накрадено им было за всю жизнь мелкими вещами и суммами — пятьдесят тысяч. Эти деньги должны бы вызвать еще большее к себе уважение, если принять во внимание, что ни одна копейка из

них не была нажита обыкновенным трудом или убийствами. Кражи — только кражи.

* * *

Это был превосходный, очень уютный особняк, имевший все данные для того, чтобы понравиться Ивану Сергеичу.

Оба они — особняк и Иван Сергеич стояли друг против друга на глухой, пустынной улице, и один из них думал: «Если выдавить стекло — стоят на подоконнике горшки с цветами или не стоят? Свалишь их или не свалишь?»

Долго размышлять было рискованно: через час прекрасная темная ночь сменится рассветом. Поэтому Иван Сергеич, закусив нижнюю губу, провел по стеклу кольцом, наложил на него какую-то тряпку и через минуту стоял уже на подоконнике, зорко всматриваясь в непроглядную тьму, сгустившуюся в комнате. Мягко спрыгнул босыми ногами на паркет и, простирая вперед чуткие руки, побрел наугад…

— Ох, ч-черт!..

Нога его споткнулась обо что-то мягкое, большое, неподвижное, и Иван Сергеич, падая, схватился рукой за спинку кресла. Кресло стукнулось о стол, на столе задребезжала лампа… Иван

Сергеич присел и сейчас же увидел, как в стороне мелькнула желтая вертикальная полоска света, которая сейчас же перешла в прямоугольник, — и в дверях, освещенный маленькой лампой, показался человек.

Лампу он вытянул вперед и с любопытством водил ею во все стороны до тех пор, пока луч света не упал на присевшего около стола Ивана Сергеича.

Иван Сергеич взвизгнул, выпрямился и бросился к открытому окну, но незнакомец опередил его одним прыжком, не выпуская лампы из рук, сел на подоконник и, усмехнувшись, спросил:

— Испугались?

— Испугался, — признался Иван Сергеич и зашаркал смущенно босой ногой по полу.

— Эх вы! Как же можно быть таким нервным… Не бойтесь. Хозяина дома нет.

Иван Сергеич изумленно сверкнул глазами и спросил:

— Да… а вы кто?

— Я? Вот тебе раз! Ну, угадай-ка, миленький, кто я?

Блуждающие глаза Ивана Сергеича остановились на выдвинутых ящиках письменного стола, на большом солидном узле, валявшемся

на полу, — том самом узле, о который споткнулся он минуту тому назад, — затем глаза Ивана Сергеича перешли на широкую смеющуюся рожу незнакомца, и оба человека, глядя друг на друга, стали смеяться.

— Ах, поди ж ты! — всплеснул руками Иван Сергеич. — А я думаю: хозяин. Тикать хотел. Один ты тут?

— Один.

— Да как ты сюда пролез? Окна были целые, парадные заперты — я толкал.

— А я ключом. Зашел, а потом заперся, чтобы не мешали.

— А если хозяин подойдет?

— Он-то? Каждую ночь в клубе до восьми часов утра в карты режется! Всю хурду-мурду успеем вывезти.

— Вы… везти? — ахнул Иван Сергеич.

— А ты что думал? Эх вы, — засмеялся новый вор. — Сколько уже веков прошло, а все вы, воры, ничему не научились. Простой вы народ — воры! Без плана, без выдержки, без хладнокровия… Тебе бы, дураку, только влезть в окно, рискуя, что тебя сцапают, стянуть какую-нибудь подушку или пальто, ценой в пять целковых, — и убежать… и ты уже думаешь, что большое дело сделал!

— А ты… как же? — спросил, усаживаясь на узел, Иван Сергеич.

— Вот так же! Как видишь!.. Я целую неделю потратил на слежку: как живет хозяин, да что он делает, да когда возвращается вечером? И что ж ты, братец мой, думаешь… Прислуга приходящая, никого больше ни души, а сам из клуба под утро возвращается.

Иван Сергеич вздрогнул.

— А он сейчас не приедет?!

— Будь покоен, братец: верные сведения имею.

Новый вор помолчал.

— Так вот как. И задумал я вычистить квартиру до последнего гвоздика. Переулок глухой — кому помешать нужно? Работай тихенько, смирненько. К семи часам утра заказал я две подводы с нашими ребятами — приедут, все и вывезем.

Иван Сергеич ударил себя по коленкам и восторженно вздернул головой.

— Ловко!! Всё как есть?

— Всё, миленький ты мой. До гвоздочка, до последней карточки. Кой-что я уже и уложил.

— Ловкий, дьявол… Меня-то в долю примешь?

— Почему не принять. Товару много. Расторгуемся. Однако, миленький… Американцы, о которых ты по своему умственному убожеству

не имеешь никакого понятия, говорят: время — деньги. За дело! Я письменным столом займусь, а ты картины снимай.

Новые друзья весело захлопотали.

Наглость и уверенный план другого вора обворожили Ивана Сергеича. Заворачивая в полотняные простыни картины и связывая веревками груды дорогих золотообрезных книг, Иван Сергеич время от времени садился на пол и громко торжествующе хохотал:

— Ай да мы! Ну и мы! Ну и воры нынче пошли!

— Не дери глотку, — скромно сказал новый вор. — Дело нужно делать, а он гогочет… Укладывай лампу в ящик… Да с резервуаром поосторожней! Он, кажется, фарфоровый. Разве вы, черти, понимаете?

Иван Сергеич хлопотал, вертелся по комнате, упаковывал, распутывал веревки, развязывая узлы острыми зубами, и все время среди этих занятий восторженно поглядывал на товарища.

А тот, уложив всего одну этажерку с безделушками и какой-то чемодан, уселся в кресло и важно закурил папироску.

Работы было еще много, но он всем своим видом показывал, что закончить ее предоставляет простоватому Ивану Сергеичу, который с мокрым,

потным лицом то и дело подбегал к товарищу и, держа в руках какой-нибудь альбом с фотографическими карточками, отрывисто спрашивал:

— Брать?

— Бери, Ваня, бери. Все пригодится.

— А салфеточку эту? Неужто и ее брать? На что она?

— А что ж салфеточка — собака, что ли? Зачем ее оставлять… Да поторапливайся! А то ребята с подводами приедут — куда нам все поспеть?

И вместо того чтобы помочь утомленному, запыленному Ивану Сергеичу, он только курил да поглядывал на окна, в которых занимался рассвет…

Приехали «ребята с подводами».

Все было уложено, связано, и Иван Сергеич, еле держась на ногах от усталости и суеты, разрешил и себе закурить папироску.

— Нечего там раскуриваться! — оборвал его безжалостный товарищ. — Помогай таскать вещи. Смотри — до хозяина досидимся.

— А ты чего же не помогаешь? — робко спросил Иван Сергеич.

— Напомогался достаточно! Моя работа раньше была. Не бросай папироски на ковер: прожжешь — за него и полцены не дадут! Черти вы! Разве

понимаете?

* * *

На улице было холодно… Босые ноги чувствовали на мостовой предрассветную сырость.

Товарищ Ивана Сергеича тоже вышел к подводам и равнодушно смотрел, как их нагружали «ребята».

— Готово, ребята? — спросил он.

— Все готово.

Тогда товарищ обратил сонное лицо к Ивану Сергеичу и, улыбнувшись, сказал:

— А теперь — иди себе, братец, подобру-поздорову.

— Как — иди? — ахнул Иван Сергеич. — А вещи? А дележка?

— Какие вещи?

— Да эти! Что мы собирали.

— А разве они твои, эти вещи?

Иван Сергеич рассердился.

— Да ведь и не твои!!

— Нет, мои.

— Это же еще почему такое? Хозяин ты им, что ли?

Незнакомец засмеялся.

— Эх ты! Говорил же я, дураки вы, воры! А кто

ж я? Конечно, хозяин. На другую квартиру переезжаю, с ночи укладывался… А ты тут пришел, помог… Да я ничего не имею. Спасибо, что помог. По крайней мере, честным трудом рубль заработал. Хе-хе! Я даром, братец, чужого труда не хочу. На, получай! За честный твой труд!

Хозяин вынул из кармана рубль и сунул его в руку Ивану Сергеичу…

Уже всходило солнце, когда Иван Сергеич брел по пустой улице недовольный, брюзжащий сам на себя, с серебряным рублем, зажатым в грязный кулак.

Гармоничная натура Ивана Сергеича могла показаться странной непонимающему, недалекому человеку.

Этот рубль, заработанный трехчасовым тяжелым, неблагодарным трудом, жег ему руку.

Проходя по мосту, Иван Сергеич плюнул, очень неприлично обругался и, размахнувшись, выбросил дурацкий рубль в воду.

Функельман и сын
(Рассказ матери)

Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик начинает задумываться — это уже плохо. Что вы думаете, мне обыск нужен, что ли, или что?

— Мотя, — говорю я ему, — Мотя, мальчик мой! Чего тебе так каламитно?

Так он поднимет на меня свои глазки и скажет:

— Что значит — каламитно! Ничего мне не каламитно!

— Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу…

— Ой, — говорит, — отстань ты от меня, мама! У меня скоро экзамен на аттестат зрелости, а потом у меня есть запросы.

Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются запросы, так господин околоточный целую ночь не спит.

— Мотя! Зачем тебе запросы? Что, их на ноги наденешь, когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла? Запросы, запросы. Отцу

твоему сорок шестой год — он даже этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло? Пойди поищи другой такой галантерейный магазин, как у Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже картоночки маленькие по всему магазину развесил! «Цены без запроса».

— Мама, не мешай мне! Я читаю.

Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как раввин. Гениальный ребенок.

Вижу — мой Мотя все крутит и крутит.

— Что ты крутишь?

— Ничего я не кручу. Не мешай читать.

Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это камень или что? Я же так и знала! «Записки Кропоткина»! Тебе очень нужно знать записки Кропоткина, да? Ты будешь больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!

— Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю.

Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый!

И так мне в сердце ударило, будто с камнем.

Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Ко-

нечно, до отца.

— Яков! Что ты тут перекладываешь сорочки? Убежат они, что ли, от тебя или что? Он должен обязательно сорочки перекладывать…

— А что?

— Ты бы лучше на Мотю посмотрел.

— А что?

— Ему надо читать «Записки Кропоткина», да?

— А что?

— Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала захотел, обыска у тебя не было, да?

— А что?

Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен голову крутить!

— Что тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе для него другого места нет? Одевайся, пойдем домой!

Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли? Он читал себе «Записки Кропоткина».

— Мотька, — кричит Яков, — брось книгу.

— А вы, — говорит, — ее подымете?

— Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю.

И как вы думаете, что ответил этот Мотя?

— Попробуй! А я отравлюсь.

Это запросы называется!

— А чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя кто рожал — мать или Кропоткин?

— А что вы, — говорит Мотя, — думаете? Может, я, благодаря ему, второй раз на свет родился.

Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал, и Мотя тоже заплакал. Прямо маскарад!

Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.

— Хороший мальчик, а? Ему еще в носе нужно ковырять, а он уже Кропоткина читает.

— Ну, что же?

— Яша! Ты знаешь, что? Нашего мальчика нужно спасти. Это невозможно.

Так Яша мне говорит:

— Что я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам? Так он отравится.

— Тебе сразу — морда. Интеллигентный человек, а рассуждает, как разбойник. Для своего ребенка головой пошевелить трудно. Думай!

Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо, а два еще лучше.

Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.

— Яша!

— А что?

— Знаешь, что? Нашего ребенка нужно отвлечь.

— Ой какая ты умная — отвлечь! Чем я его отвлеку? По морде ему дам?

— Ты же другого не можешь! Для тебя Мотькина морда — это идеал!.. Он ребенок живой — его чем-нибудь другим заинтересовать нужно… Нехай он влюбится или что?

— Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?

— Ну, пусть он побывает в свете! Поведи его в кинематограф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресторан?!

— Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане? Даже не знаю, как там отворять дверей.

— Что ты крутишь! Что ты мине крутишь? Тебе это чужой ребенок? Это кропоткинское дите, а не твое? Такой большой дурак, и не может мальчика развлекать.

Так пошел он к Моте, стал крутить:

— Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного пройдись. Я ведь же тебя люблю — ты такой бледненький.

Ну, Мотька туда-сюда — стал крутить: то дайте ему главу дочитать, то у него ноги болят.

— Хороший ребенок! Книжку читать — ноги не болят, а с отцом пройтись — откуда ноги взялись.

Надевай картузик, Мотенька, ну же!

Похныкал мой Мотенька, покапризничал — пошел с папой.

Они только за двери — я сейчас же к нему в ящик… Боже ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было — не понимаю! За что только, извините, полиция деньги получает?.. И Кропоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и Буренины — прямо пороховой склад. Эрфуртских программ — так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от всего этого?!

Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка можно было зажарить.

В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.

— Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собственность! Это насилие! Я протестуюсь!!

Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже начинают кричать — так скандал выходит на всю улицу.

— Что ты кричишь, как дурак, — говорит Яков. — От этого книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыграем.

— Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и Каутского!

— Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору — будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе хоть десяток новых книг.

— Потому только, — говорит Мотя, — и пойду с тобой, чтобы свои книги вернуть.

Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.

— Ну что, Мотя, — спрашиваю, — как твои дела?

— Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве можно при такой форме кончать в последнем шаре? Конечно же, он выиграет. Я не успею подойти к бильярду, как у него партия сделана.

Ну, утром встали они, Мотя и говорит:

— Папаша, хочешь контру?

— А почему нет?

Ушли. Слава Богу! Бог всегда слушает еврейские молитвы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.

Раньше у него только и слышишь: «Классовые перегородки, добавочная стоимость, кооперативные начала…» А теперь такие хорошие русские слова: «Красный по борту в лузу, фора, очко, алагер». Прямо сердце радовалось.

Ну, пришли они в двенадцать часов ночи — оба веселые, легли спать.

Пиджаки в мелу, взяла я почистить — что-то торчит из кармана. Э, программа кинематографа. Хе-хе! После Эрфуртской программы это, знаете, недурно. Бог таки поворачивает ухо к еврейским молитвам!

Ну, так у них так и пошло: сегодня бильярд, завтра бильярд и послезавтра тоже бильярд.

— Ну, — говорю я как-то, — слава Богу, Яша… Отвлек ты мальчика. Уже пусть он немного позанимается. И ты свой магазин забросил.

— Рано, — говорит Яша. — Еще он вчера хотел открытку с видом на Маркса купить.

Ну, рано, так рано.

Уже они кинематограф забросили, — уже программки цирка у них в кармане. Еще проходит неделя — кажется, довольно, мальчик отвлекся.

— Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?

— Еще не совсем хорошо, — говорит Яша, — подождем недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выходят?!

Недельку так недельку. Уже у них по карманам не цирковая программа, а от кафешантана — ужасно бойкий этот Яша оказался…

— Ну, довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы Мотя за свои книги засел.

— Сегодня, — говорит Яша, — нельзя еще, мы одному человечку в одном месте быть обещали.

Сегодня одному человечку, завтра другому человечку… Вижу я, Яков мой крутить начинает.

А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.

— Где вы были, шарлатаны?

— У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел, так мы остались.

Странный этот дождик, который на их улице шел, а на нашей улице не шел.

— Я, — говорит Яша, — спать лягу, у меня голова болит. И у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.

Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в карманах такое, что ужас: у Мотьки черепаховая шпилька, а у Яши черный ажурный чулок.

Это тоже дождик?!

То Эрфуртская программа, потом кинематографическая, потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа, что плюнуть хочется.

— Яша! Это что значит?

— Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?

— Где же ты его взял?

— У коммивояжера для образца.

— А зачем же он надеванный? А зачем ты пьяный? А зачем у Мотьки женская шпилька?

— Это тоже для образца.

— Что ты крутишь? Что ты мине крутишь? А отчего Мотька спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни корешки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом убило, паршивцев!

И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за бильярдом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за бильярдом, а ночью с Мотькой по шантанам бегает. Такая дружба, будто черт веревкой их связал. Отец хоть изредка в магазин за деньгами приедет, а Мотька совсем исчез! Приедет, переменит воротничок, и опять назад.

Наш еврейский Бог услышал еврейскую молитву, но только слишком; он сделал больше, чем надо. Так Мотька отвлекся, что я день и ночь плачу.

Уже Мотька отца на бильярде обыгрывает и фору ему дает, а этот старый осел на него не надыхается.

И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому тащат, а в дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раздавленного ананаса или половинку шелкового корсета. И уж они

крутят, уж они крутят…

Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но я у вас хотела одну вещь спросить… Тут никого нет поблизости? Слушайте! Нет ли у вас свободной Эрфуртской программы или Кропоткина? Что вы знаете, утопающий за соломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы… Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он найдет и отвлечется немного… А тому старому ослу — сплошное ему горе — даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и крутить, и крутить до самой смерти…

Законный брак
(Стихотворение в прозе)

На берегу суетилась кучка людей…

Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину, которая лежала, худая, мокрая, в купальном костюме, с закрытыми глазами и сжатыми тонкими губами.

— В чем дело? — спросил я.

— Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.

— Нужно растереть ее, — посоветовал я.

На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он махнул рукой и сказал:

— Не стоит. Все равно ничего не поможет.

— Да как же так… Попробуйте устроить искусственное дыхание… Может, отойдет.

— Мм… не думаю. Не стоит и пробовать, — сказал толстяк, искоса поглядывая на захлебнувшуюся.

— Но ведь нельзя же так… сидеть без толку. Пошлите за доктором!

— Стоит ли, — сказал толстяк. — До доктора три версты, да еще, может, его и дома нет…

— Но… попытаться-то можно?!

— Не стоит и пытаться, — возразил он. — Право, не стоит.

— Я удивляюсь… Тогда одолжите нам вашу простыню, попробуем ее откачать!

— Да что ж ее откачивать, — сказал толстяк. — Выйдет ли толк? Все равно уж… Будем считать ее утонувшей… Право, зачем вам затрудняться…

— Вы жалкий, тупой эгоист! — сердито закричал я. — Небось, если бы это был вам не чужой человек, а жена…

Он угрюмо посмотрел на меня.

— А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть жена… Моя жена!

Мопассан
(*Роман в одной книге*)

I

Недавно, часов в двенадцать утра, моя горничная сообщила, что меня спрашивает по делу горничная господина Зверюгина.

Василий Николаевич Зверюгин считался моим приятелем, но, как всегда случается в этом нелепом Петербурге, с самыми лучшими приятелями не встречаешься года по два.

Зверюгина не видел я очень давно, и поэтому неожиданное получение весточки о нем, да еще через горничную, очень удивило меня.

Я вышел в переднюю и спросил:

— А что, милая, как поживает ваш барин? Здоров?

— Спасибо, они здоровы, — сверкнув черными глазами, ответила молоденькая, очень недурной наружности, горничная.

— Так, так… Это хорошо, что он здоров. Здоровье прежде всего.

— Да уж здоровье такая вещь, что действи-

тельно.

— Без здоровья никак не проживешь, — вставила свое слово и моя горничная, вежливо кашлянув в руку.

— Больной человек уж не то, что здоровый, — благосклонно ответила моей горничной горничная Зверюгина.

— Где уж!

Выяснив всесторонне с этими двумя разговорчивыми девушками вопрос о преимуществе человеческого здоровья над болезнями, я наконец спросил пришлую горничную:

— А зачем барин вас прислал ко мне?

— Как же, как же! Они записку вам прислали. Ответа просили.

Я вскрыл конверт и прочел следующее странное послание:

— «Прости, дорогой Аркадий, что я долго не отвечал тебе. Дело в том, что когда мы в прошлом году встретились случайно в театре Корша, ты спросил у меня, не могу ли я тебе одолжить сто рублей, так как ты, по твоим словам, не мог получить из банка по случаю праздника денег. К сожалению, у меня тогда не было таких денег, а теперь есть, и, если тебе надо, я могу прислать. Я знаю, как ты аккуратен в денежных делах.

Так вот, напиши мне ответ. Пиши побольше, не стесняйся.

Моя горничная подождет. Твой Василиск».

«Судя по письму, — подумал я, — этот Василиск или сейчас пьян, или у него начинается прогрессивный паралич».

Я написал ему вежливый ответ с благодарностью за такую неожиданную заботливость о моих делах и, передавая письмо горничной, спросил:

— Ваш барин, наверное, тут же живет, на Троицкой?

— Нет-с. Мы живем на Двадцать первой линии Васильевского острова.

— Совершенно невероятно! Ведь это, кажется, у черта на куличках.

— Да-с, — вздохнула горничная. — Очень далеко. Прощайте, барин! Мне еще в два места заехать надо.

II

На третий день после этого визита горничная около часу дня снова доложила мне:

— Вас спрашивает горничная господина Зверюгина.

— Опять?! Что ей надо?

— Письмо от ихнего барина.

— Впустите ее. Здравствуйте, милая. Ну, как дела у вашего барина?

— Дела ничего, спасибо. Дела хорошие. Да уж плохие дела — это не дай Господь.

Моя горничная тоже согласилась с нею:

— Хорошие дела когда, так лучше и хотеть не надо.

Отдав дань этикету, мы помолчали.

— Письмо? Ну, давайте.

— «Радуюсь за тебя, дорогой Аркадий, что деньги тебе сейчас не нужны. Между прочим: когда ты был весной прошлого года у меня, то забыл на подзеркальнике пачку газет («Нов. Время», «Речь» и друг.), а также проспект фирмы кроватей «Санитас». Это все у меня случайно сохранилось. Если тебе нужно — напиши. Пришлю. Обнимаю тебя. Ну, как вообще? Пиши побольше. У тебя такой чудесный стиль, что приятно читать. Любящий Василиск».

Я ответил ему:

— «Три года тому назад однажды в ресторане «Малоярославец» ты спросил меня: который час? К сожалению, у меня тогда часы стояли. Теперь я имею возможность ответить тебе на твой вопрос. Сейчас четверть второго. Не стоит благодарности. Что же касается газет, то, конечно, я хожу без

них сам не свой, но из дружбы к тебе могу ими пожертвовать. Именно — передай их своей горничной. Пусть она обернет тебя ими и подожжет в тот самый момент, когда ты ее снова погонишь за не менее важным делом. Спи только на кроватях фирмы «Санитас»!»

— Скажите, милая, — спросил я, передавая горничной письмо, — вы только ко мне ездите или еще к кому?

— Нет, что вы, барин! У меня теперь очень много дела. Мне еще нужно съездить сегодня на Безбородкинский проспект, а потом в Химический переулок. Это где-то на Петергофском шоссе.

— Черт знает что! А в Химический переулок нужно не к Бройдесу ли?

— Да-с, к господину Бройдесу.

— Ага! Так этот Бройдес через час будет у меня. Оставьте ему письмо, я передам.

— Премного благодарю. А то это действительно… Отсюда часа полтора…

III

Приехал Бройдес.

— Данила, — сказал я. — Вот тебе письмо от Зверюгина.

— Ты знаешь, этот Зверюгин — он с ума сошел, — пожал плечами Бройдес. — Его вдруг обуяла самая истерическая деликатность, внимательность и аккуратность. Он буквально заваливает меня письмами. Я бы на месте его горничной давно сбежал.

— Он и тебе тоже пишет?

— А разве и тебе? Представь себе, третьего дня я получил письмо с запросом: не знаю ли я, где находится Главное управление по делам местного хозяйства, — справку, которую можно навести в любой телефонной книге, у любого городового. А вчера присылает мне рубль восемьдесят копеек, с письмом, в котором сообщает, что вспомнил, как мы с ним в прошлом году ездили на скачки в Коломяги и я якобы платил за мотор три рубля шестьдесят копеек. Я уверен, что с ним делается что-то нехорошее…

— Посмотри-ка, что он тебе сегодня пишет.

Бройдес прочел:

— «Дорогой Данила! У меня к тебе большая просьба: не знаешь ли ты адрес Аркадия Аверченко — никак я не могу его отыскать, а очень нужно. Напиши, как поживаешь. Не стесняйся писать побольше (у тебя замечательный стиль), а горничная подождет».

Мы взглянули друг на друга.

— Тут дело нечисто. Человек пишет мне почти каждый день письма, получает на них ответы и в то же время справляется, где я живу! Данила! *Этот человек или очень болен, или здесь кроется какой-нибудь ужас.*

Бройдес встал.

— Ты прав. Едем сейчас же к нему. Вызови таксомотор — он живет черт знает где!

IV

Мы звонили у парадного минуть десять — из квартиры Зверюгина не было никакого ответа.

Наконец, когда я энергично постучал в дверь кулаком и крикнул, что иду в полицию, дверь приотворилась, и в щель просунулась растрепанная голова полураздетого Зверюгина. Он был встревожен, но, увидя нас, успокоился.

— Ах, это вы! Я думал — горничная. Тссс! Тише. Идите сюда и разденьтесь. В те комнаты нельзя.

— Почему?! — в один голос спросили мы.

— Там… дама!

Я бросил косой взгляд на Бройдеса.

— Ты понимаешь, Данила, в чем дело?

— Да уж теперь ясно, как день. Только послушай, Вася… Как тебе не стыдно гонять бедную

девушку по всему Петербургу от одного края до другого? Неужели ты не мог бы запирать ее на это время в кухне?!

— Да, попробуй-ка, — жалобно захныкал Василиск Зверюгин. — Это такая бешеная ревнивица, что сразу поймет, в чем дело, и разнесет кухню в куски.

— Вот… оно… что! — с расстановкой сказал Бройдес. — Бедная девушка! «Вот все вы такие мужчины подлецы: обольстите нас, бедных женщин, совратите, опутаете сладкими цепями, а потом гоняете с Химического переулка на Троицкую, проводя это время в объятиях разлучницы». Так, что ли?

— Так, — бледной улыбкой усмехнулся Зверюгин.

Я уселся без приглашения на стул и спросил:

— Скажи, у тебя нет еще каких-нибудь друзей, кроме нас?

Он понял.

— Есть-то есть, да они или близко живут, или уже я все у них узнал и все им возвратил, что было возможно. Вы не можете представить, какой я стал аккуратный: за эти нужные мне три часа в день я возвратил по принадлежности все когда-то взятые и зачитанные мною книги, я ответил на

все письма, на которые не отвечал по три года, я возвращал долги, вспоминая все до последней копейки! Я просто даже справлялся о здоровье моих милых, моих дорогих, моих чудесных друзей! И я теперь обращаюсь к вам: придумайте что-нибудь для моей горничной… Что-нибудь на три часа! Моя фантазия иссякла.

Я подошел к столу, взял какую-то книгу и сказал:

— Ладно! Это какая книга? Мопассан? Том третий? Завтра же пришли мне эту книжку… Слышишь? Мне она очень нужна. Через час я ее верну тебе. Это ничего, что горничная подождет? И ничего, что ты мне пришлешь эту книгу также и послезавтра?

— О, пожалуйста, — засмеялся он. — Она все равно полуграмотная, моя Катя, — и в этих делах ничего не понимает. Скажи ей, что это корректура, что ли. Ей ведь все равно.

V

Каждый день аккуратно бедная Катя привозила мне том третий Мопассана.

— Ну, как погода? — спрашивал я.

— Ничего, барин. Погода теплая, солнышко.

— Чудесно! Терпеть не могу, когда холодно и

идет дождь.

— Что уж тут хорошего. Одна неприятность.

А моя горничная добавляла:

— В дождь-то совсем нехорошо. Одна грязь чего стоит.

— А как же! Кому такое приятно?!

Я брал Мопассана и уходил в кабинет читать газеты или просматривать редакционные письма. Часа через полтора выходил в кухню и снова возвращал Мопассана.

— Готово. Поблагодарите барина и кланяйтесь ему. Скажите, чтобы завтра обязательно прислал — это, брат, очень нужная вещь!

— Хорошо-с. Передам.

Мопассан за три недели порядочно поистрепался. Обрез книги засалился и обложка потемнела. Через три недели книжка не появлялась у меня подряд четыре дня, потом, появившись однажды, исчезла на целую неделю, потом ее не было десять дней… Самый длительный срок был полтора месяца. Катя принесла мне ее в тот раз, будучи в очень веселом настроении, сияющая, оживленная:

— Барин просили меня сейчас же возвращаться, не дожидаясь. Книжку я оставлю; когда-нибудь зайду.

Да так и не зашла. Это было, очевидно, *там* последнее — самое краткое свидание.

Это была ликвидация.

Счастливица — ты, Катя! Бедная ты — та, другая!

Желтеет и коробится обложка Мопассана. Лежит эта книга на шкапу, уже ненужная, и покрывается она пылью.

Это пыль тления, это смерть.

Американец

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.

Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.

Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.

Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.

— Драсти.

— Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.

— А вы откуда будете?

— На даче я. В Овсянкине. Оттуда.

— Верстов восемь будет отселева…

Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:

— Ничего вам не потребуется?

— А что?

— Да, может, что угодно вашей милости, так есть.

— Да ты кто такой?

— Арендатель, — солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.

— Эту землю арендуешь?

— Так точно.

— Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?

— Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло, — ни тебе дерева́ настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.

— Да что ж ты тут… грибы собираешь, ягоды?

— Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.

— Вот чудак, — удивился Стрекачев. — Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?

— А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоми-

навшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места — один бурелом да сухостой.

— Так с чего ж ты живешь?

— Дачниками кормлюсь.

— Работаешь на них, что ли?

Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.

— Зачем мне на них работать! Они на меня работают.

— Врешь ты все, дядя, — недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.

— Нам врать нельзя, — возразил мужичонка. — Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете?

— Что?

— Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.

— Ну?

— Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.

— Кого?!!

— А это мы вам сейчас скажем — кого…

Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные ча-

сы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость… Долго что-то соображал.

— Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым — дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам кроме губернанки профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки — мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

— Черт тебя разберет, что ты говоришь, — рассердился охотник.

— Действительно, — согласился мужичонка. — Вам непонятно, как вы с дальних дач, а наши окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик. Да я на эту, может,

хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.

— У кого?

— А у дачников.

— Вот у тех, что за рекой?

— Зачем у тех? Те ежели бы узнали — такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

— Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!

Мужичонка почесал затылок.

— Экой ты непонятный! Как да что… Посадишь барина в яму — ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже — на всякий скус потрафют, — рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина… Мало ли.

— Ты что же, значит, — сообразил Стрекачев, — купальщиц на своей земле показываешь?

— Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.

— Вот каналья, — рассмеялся Стрекачев. — Как же ты дошел до этого?

— Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены… Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить — гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли. Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе… Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился — они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.

— Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?

— Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл — прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы… — живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и, как будто вскользь, спросил:

— А хорошо видно?

— Да уж ежели с биноклем, прямо вот — рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал — памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?

— Ну, ты скажешь тоже, — ухмыльнулся конфузливо охотник. — А вдруг увидят оттуда?

— Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин… попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)… всего и разговору на рупь шестьдесят!

— Это еще что за расчет?!

— Расчеты простые, ваше благородие: огрызкинская госпожа теперь купается — дамы замечательные, сами извольте взглянуть — рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак невозможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было…

— А ну-ка… ты… тово…

— Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз… Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться… Пивка не прикажете ли молодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то… Извольте взглянуть.

* * *

Смеркалось…

Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:

— Сколько с меня?

— Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.

— Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.

— Помилуйте-с… Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягина — я уж мелюзги и не считаю, — да Синяковы трое с бабушкой, да…

— Ну, ладно, ладно… Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!

— Счастливо оставаться! Благодарим покор-

ниче!..

И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:

— А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши окромчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться!

Драма в семье Бырдиных

В богатых апартаментах графа Бырдина раздался болезненный стон.

С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голову, застыл граф, и его взгляд — взгляд помешанного — блуждал по странице развернутого иллюстрированного журнала.

— Да, это так, — глухо произнес он. — Сомнений быть не может!

Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини.

* * *

Графиня Бырдина — красавица роскошного телосложения — лежала на изящной козетке и читала роман в желтой обертке, из французского быта.

Ее высокая пышная грудь, как волна в прилив, вздымалась легким дыханием, белые полные руки соперничали нежностью с легкой воздушной материей пеньюара, а волнистая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета.

Вот какова была графиня Бырдина!

* * *

Как вихрь, ворвался несчастный граф в будуар жены.

— Полюбуйтесь! — со стоном произнес граф (они не забывались даже, когда были с глазу на глаз и называли друг друга всегда на «вы»). — Полюбуйтесь. Читали?!

— Что такое? — привстала встревоженная графиня. — Какое-нибудь несчастье?

— Да уж… счастьем назвать это трудно! — горько произнес граф.

Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном французском языке прочла указанное мужем место:

— «В предстоящем зимнем сезоне модными сделаются опять худые женщины. Полные фигуры, так нашумевшие в прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны выйти из моды».

Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожиданным грубым ударом.

Ее потупленный взор остановился на туфельках полной прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром больше, чем нужно…

С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный достойный резца Праксителя стан, и замер

этот взор на высокой волнующейся груди.

И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошенная, склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Момент был такой ужасный, что оба, сами того не замечая, перешли на «ты».

— Простишь ли ты меня, любимый?! Пойми же, что я не виновата!! О, не покидай меня!

Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в угол.

— О, не гляди так! — простонала графиня… — Ну, хочешь уйдем от света! Я последую за тобой куда угодно.

— Ха-ха-ха! — болезненно рассмеялся граф. — «Куда угодно»… Но ведь и мода эта проникнет куда угодно. Нигде не найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и язвительности. Всеми презираемые, будем мы влачить бремя нашей жизни. О Боже! Как тяжело!!

— Послушай… — робко прошептала графиня. — А может быть, все обойдется…

— Обойдется? — сардонически усмехнулся граф. — Скажи: считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым модным в столице?

— О, да! — вырвалось у графини.

— Чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им хозяйку, в самом начале сезона уже

вышедшую из моды, как шляпка на голове своя-ченицы усть-сысольского околоточного?! Что вы на это скажете, графиня?

— О, не презирай меня, — зарыдала графиня. — Я постараюсь, я… я сделаю все, чтобы похудеть…

Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел из будуара.

* * *

Заведующая «институтом красоты» встретила графа Бырдина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его мрачное, расстроенное лицо.

— Граф! — вскричала она. — Ваша супруга…

— Увы! — глухо произнес граф.

Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и потом, сложив умоляюще руки, простонал:

— Вы! На вас вся надежда! Помогите…

После долгого раздумья и перелистывания десятка специальных книг, заведующая «институтом» вздохнула и решительно произнесла:

— Выход один: вашей жене нужно похудеть.

— Но как? Как?

— Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще ее огорчать…

— Хорошо, — произнес граф, и мучитель-

ная, страдальческая складка залегла на челе его. — Будет исполнено. Я люблю ее, но… будет исполнено!

* * *

В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки и безо всяких предисловий начал:

— Подвинься, чего тут разлеглась!

— Граф! — кротко сказала жена. — Опомнитесь!..

— Я уже сорок лет как граф, — сурово прорычал граф. — Но до сих пор не понимаю: как это люди могут целыми днями валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения глупейших романов.

Графиня тихо заплакала.

— Да право! Работать нужно, матушка, хлеб зарабатывать, а не висеть на шее у мужа.

— Граф! Что вы говорите! Ведь у нас около трехсот тысяч годового дохода… зачем же мне работать?

— Зачем? А затем, что ты дура, вот и все.

— Граф!?!!..

— Вот ты мне еще похнычешь!.. Дам по башке, так перестанешь хныкать.

Граф встал, холодно сложил на груди руки и

сказал:

— Да, кстати! Я завел вчера любовницу, так ты тово… не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Хо-хо-хо!

— Граф!!

— Заладила сорока Якова: граф да граф! Думаю начать пить, а вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. Восемь-то ртов — все есть хотят! Не хнычь, тебе говорят! Давно я тебя за косы не таскал, подлюку?!

Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара. И тут на лице его написалось страшное страдание.

— О, моя бедная! О, моя любимая, — шептали его побледневшие уста. — Для нашего общего блага делаю я это.

Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и женскую прислугу и дал всем точные инструкции, как им относиться к графине и как с ней разговаривать.

* * *

Точно тень, бродила бледная похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на двери кабинета мужа, но

войти боялась…

Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых кресел.

— Григорий, барин у себя?

— А черт его знает, — отвечал Григорий, сплевывая на ковер. — Что я, сторож ему, что ли?

— Григорий! Вы пьяны?

— Не на твои деньги напился! Тоже фря выискалась. Видали мы таких! Почище даже видали.

— Ульян! Степан! Дорофей! возьмите Григория — он пьян.

— Сдурели вы, что ли, матушка, — наставительно сказал старый с седыми бакенами дворецкий Ульян, входя в гостиную. — Кричит тут, сама не знает чего. Нечего тут болтаться, вишь, человек работает! Ступай себе в будувар, пока не попало.

Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма.

— Это еще что такое?! — взревел граф, бросая в жену тяжелым пресс-папье. — Вон отсюда!! Всякие тут еще будут ходить. Пошла, пошла, ведьма киевская!

И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам…

Он писал:

«Уважаемая баронесса! К сожалению, должен сказать вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего происшедшего (не буду о сем распространяться) ваше появление на наших вечерах было бы оскорблением нашего дома. Граф Бырдин».

«Княгиня! Надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у нас неудобно. Почему? Не буду объяснять, чтобы еще больше не обидеть вас. Так-то-с! Граф Бырдин».

— Хорошие они обе, — печально прошептал граф. — Обе хорошие — и баронесса, и княгиня. — Но что же делать, если в них пудов по пяти слишком.

А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал по костлявому плечу.

— Скелетик мой, — нежно прошептал он.

* * *

Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа.

Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на страшные, роковые строки свежего номера иллюстрированного журнала…

Строки гласили:

«Как быстро меняется в наше время всесильная царица-мода! Только три месяца тому назад мы сообщали, что устанавливается прочная мода на худых женщин — и что же! Только три месяца продержалась эта мода и канула в вечность, уступив дорогу победоносному шествию женщин рубенсовского типа, с широкими мощными бедрами, круглыми плечами и полными круглыми руками. Ave, modes et robes для полных женщин!!»

— Все погибло! — простонал граф. — Я отказал от дому рубенсовской баронессе и тициановской княгине, а они были бы украшением моего дома. Я извел жену, свел на нет ее прекрасное пышное тело… Увы мне! Поправить все? Но как? До сезона осталось 2 недели… Что скажут?!

Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро отточенную бритву…

* * *

Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла?

Графское это хрипение, графская кровь, графские руки… И недаром поэт писал: «Погиб поэт,

невольник чести»… Спи спокойно!

* * *

На похоронах платье графини Бырдиной было отделано черным валансьеном, а сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что немодная.

* * *

Кладбище мирно дремлет… Тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками:

— Дурак ты, мол, дурак!..

Русские символы

В передней прозвонил звонок.

Так как горничную я отпустил, пришлось выйти самому.

Время было позднее, поэтому я, не открывая дверей, спросил как можно громче:

— Кто там?

Какой-то странный, неестественный фальцет пропищал за дверью:

— К вам барышня пришла… Очень хорошенькая! Пожалуйста, откройте.

— Кой черт! Какая барышня?

— Очень хорошенькая! Откройте — будете иметь полное удовольствие.

— Это вы барышня и есть?

Дребезжащий фальцет пропищал:

— Я-а-а!

— Что же вам нужно?

— Откройте — узнаете. Ах, такой приятный кавалер и так капризничает! Хи-хи!

Голос был странный, неестественный.

Я приоткрыл дверь и выглянул в переднюю.

На меня смотрела красная худая рожа разнос-

чика телеграмм.

Кроме него, за дверью никого не было.

— Это вы сейчас говорили со мной? — строго спросил я.

— Так точно. Я.

И устало, с деревянным выражением лица он добавил:

— Примите телеграмму. Распишитесь… Вот тут.

— Это еще что за штуки? — сердито нахмурился я. — Почему вы прямо не сказали, что — телеграмма?

Он с хитрым видом поглядел на меня.

— Как же! Скажи я вам, что телеграмма, так вы бы меня и впустили! Дудки! Я уж к некоторым господам по три раза ходил… Только скажешь: «Телеграмма» — сейчас же они это из-за дверей: «Пошел, пошел вон! Никаких телеграмм нам не надо!»

— Господи! Да почему же?

— Эх, барин! Неужто не смекаете? Да телеграмму-то приносят когда?

— Ну?

— Когда с обыском жандармы али там полиция приходит. Это уж у них так водится: «Тук-тук!» — «Кто там?» — «Телеграмма!» Откроют дверь, они и

ввалятся. А там уж разбирайся сам — телеграмма или не телеграмма. Так теперь — верите? — ни в один дом не пускают с телеграммой! «Бог с тобой, — говорят. — Знаем мы вас, “телеграфистов”».

Стараясь по возможности быть серьезным, я спросил:

— Так вы всех «барышнями» соблазняете?

— Зачем всех. Мы тоже с понятием… Ежели, скажем, девице депеша, — мы ей мужским голосом что-нибудь этакое скажем; ежели старуха, — очень помогает болонкой за дверью повизжать. Шибко они, старухи, до собак жалостливые… Глядишь, и откроют. Старик идет больше на знакомого, который в карты пришел играть… Замужняя ежели, то уж скажешь: «Ридикюльчик на лестнице нашли — не ваш ли?» Потому замужние очень ридикюли терять обожают. Кого на что взять. Это тоже понятие нужно иметь.

— Вот ты, братец, и дурак, — рассердился я. — Почему тебе пришло в голову, что я только «барышне» открою. Что ж я, по-твоему, развратник какой, что ли?

Он отпарировал:

— Однако ж открыли.

— Открыл… я потому, чудак ты человек, и от-

крыл, что было уж очень любопытно: что это за нелепая образина так пищит.

Почтальон с беспокойством взглянул на меня.

— А разве… не похоже?

— Совсем не похоже. Немазаная телега вместо женского голоса.

— Вот горе-то! — искренно огорчился он.

Мне сделалось жаль беднягу. Я похлопал его по плечу и сказал:

— Ничего, не огорчайся. Я тебе дам такой совет: если жандармы говорят «телеграмма», то им не верят и не открывают дверей. Так? А если ты придешь с телеграммой и скажешь: «Обыск!» — тебе тоже не поверят и, конечно, откроют дверь. Понял? Если они притворяются, то и ты притворяйся.

Он сразу повеселел.

— А ведь и верно, барин. Ну, спасибо. Хе-хе! Здорово удумано: «С обыском»… Открыли дверь, ан это телеграмма. Хо-хо. Мерси вас. Желаем здравствовать.

* * *

На другой день, вечером, я опять услышал звонок в передней. Улыбнулся… Вышел в переднюю.

Спросил:

— Кто там?

— С обыском.

«Ага! — усмехнулся я. — Догадался мой приятель-рассыльный».

Открыл дверь…

И передняя сразу наполнилась жандармами, дворниками и понятыми…

— Позвольте, — возмутился я. — Чего ж вы не сказали, что «телеграмма»?! Это обман! Обыкновенно говорите: «Телеграмма!» — а теперь… черт знает что такое! Я протестую.

Жандарм подмигнул мне и рассмеялся.

— Уже несколько дней, как мы оставили прием с «телеграммой». Никто не верит. А на «обыск» с непривычки многие попадаются. Хе-хе!

* * *

Трудно перехитрить жандарма, господа! Что-то придумает теперь мой друг — бедняга рассыльный?

Индейка с каштанами

Жена заглянула в кабинет и сказала мужу:

— Василь Николаич, там твой племянник, Степа, пришел…

— А зачем?

— Да так, говорит, поздравить хочу.

— А ну его к черту.

— Ну, все-таки неловко — твой же родственник. Ты выйди, поздоровайся. Ну, дай ему рубля три, в виде подарка.

— А ты сама не можешь его принять?

— Здравствуйте! Я и то, я и се, я и туда, я и сюда, я и за индейкой присматривай, я и твоих племянников принимай?

— Да, кстати, что же будет с индейкой?

— Это уж как ты хочешь. И сегодня гостей на индейку позвал, и завтра гостей на индейку позвал! А индейка одна. Не разорваться же ей… Распорядился — нечего сказать!!

— А нельзя половину сегодня подать, половину завтра?

— Еще что выдумай! На весь город засмеют. Кто же это к столу пол-индейки подает?

— Гм… да… Каверзная штука. Ну, где твой этот дурацкий Степа — давай его сюда!

— Какой он мой?! Твой же родственник. В передней сидит. Позвать?

— Зови. Я его постараюсь сплавить до приезда гостей.

* * *

В кабинет вошел племянник Степа, — существо, совсем не напоминающее распространенный тип легкомысленных, расточительных, элегантных племянников, пользующихся родственной слабостью богатого дяди.

Был Степа высоким, скуластым молодцом, с громадным зубастым ртом, искательными, навсегда испуганными глазами и такой впалой грудью, что, ходи Степа голым, — в этой впадине в дождливое время всегда бы застаивалась вода.

Руки из рукавов пиджака и ноги из брюк торчали вершка на три больше, чем это допустил бы легкомысленный племянник из великосветского романа, а карманы пиджака так оттопыривались, будто Степа целый год таскал в каждом из карманов по большому астраханскому арбузу. Брюки на коленях тоже были чудовищно вздуты, как сочленения на индусском бамбуке.

Бровей не было. Зато волосы на лбу спускались так низко, что являлось подозрение: не всползли ли брови в один из периодов изумленности Степы кверху и не смешались ли там раз навсегда с головными волосами? В ущелье, между щекой и крылом носа, пряталась огромная розовая бородавка, будто конфузясь блестящего общества верхней волосатой губы и широких мощных ноздрей…

Таков был этот бедный родственник Степа.

— Ну, здравствуй, Степа, — приветствовал его дядя. — Как поживаешь?

— Благодарю, хорошо. Поздравляю с праздником и желаю всего, всего… этого самого.

— Ага, ну-ну. А ты, Степа, тово… Гм! Как это говорится… Ты, Степа, не мог бы мне где-нибудь индейки достать, а?

— Сегодня? Где же ее нынче, дядюшка, достать. Ведь первый день Рождества. Все закрыто.

— Ага… Закрыто… Вот, брат Степан, история у меня случилась: индейка-то у нас одна, а я и на сегодня и на завтра позвал гостей именно на индейку. Черт меня дернул, а?

— Да, положение ваше ужасное, — покорно согласился Степа. — А вы сегодня скажите, что больны…

— Кой черт поверит, когда я уже у обедни был.

— А вы скажите, что кухарка пережарила индейку.

— А если они из сочувствия на кухню полезут смотреть, что тогда?.. Нет, надо так, чтобы индейку они видели, но только ее не ели. А завтра разогреем, и будет она опять, как живая.

— Так пусть кто-нибудь из гостей скажет, что уже сыты и что индейку резать не надо…

Дядя, закусив верхнюю губу, задумчиво глядел на племянника и вдруг весь засветился радостью…

— Степа, голубчик! Оставайся обедать. Ты ж ведь родственник, ты — свой, тебя стесняться нечего — поддержи, Степа, а? Подними ты свой голос против индейки.

— Да удобно ли мне, дядюшка… Вид-то у меня такой… не фельтикультяпный.

— Ну вот! Я тебя, брат, за почетного гостя выдам, ухаживать за тобой буду. А когда в самом конце обеда подадут индейку — ты и рявкни, этак посолиднее: «Ну зачем ее резать зря, все равно никто есть не будет, все сыты — уберите ее».

— Дядюшка, да ведь меня хамом про себя назовут.

— Ну, большая важность. Не вслух же. А может

быть, и просто скажут: оригинал. Я, конечно, буду упрашивать тебя, настаивать, а ты упрись да еще поторопи, чтобы унесли индейку, а то, не ровен час, кто-нибудь и соблазнится. Это действительно номер! Да ты чего стоишь, Степа? Присядь. Садись, Степанеско!

— Дядюшка, вы мне в этом году денег не давайте, — сказал Степа, критически и с явным презрением оглядывая свои заскорузлые сапоги. — А вы мне лучше ботинки свои какие-нибудь дайте. А то я совсем, тово…

— Ну, конечно, Степан! Какие там могут быть разговоры… Я тебе, Степандряс, замечательные ботинки отхвачу!.. Хе-хе… А ты, брат, не дурак, Степанадзе… И как это я раньше не замечал?.. Решительно — не дурак.

* * *

Когда гости усаживались за стол, Василий Николаевич представил Степу:

— А вот, господа, мой родственник и друг Стефан Феодорович! Большой оригинал, но человек бывалый. Садитесь, Стефан Феодорович, вот тут. Водочки прикажете или наливочки?

Степа приятно улыбнулся, потер огромные костлявые руки одну о другую и хлопнул боль-

шую рюмку водки.

— У меня есть знакомый генерал, — заявил он довольно громко, — так этот генерал водку закусывает яблоком!

— Это какой генерал, — заискивающе спросил дядя, — у которого вы, Стефан Феодорович, ребенка крестили?!

— Нет, то — другой. То мелюзга, простой генерал-майор… А вот в Европе, знаете, — совсем нет генералов! Ей-бо право.

— А вы там были? — покосился на него сосед.

— Конечно, был. Я, вообще, каждый год куда-нибудь. В опере бываю часто. Вообще, не понимаю, как можно жить без развлечений.

Две рюмки и сознание, что какие бы слова он ни говорил — дядя не оборвет его, — все это приятно возбуждало Степу.

— Да-с, господа, — сказал он, с дикой энергией прожевывая бутерброд с паюсной икрой. — Вообще, знаете, Митюков такая личность, которая себя еще покажет. Конечно, Митюков, может быть, с виду неказист, но Митюкова нужно знать! Беречь нужно Митюкова.

— Стефан Феодорович, — ласково сказал дядя, — возьмите еще пирожок к супу.

— Благодарствуйте. Вот англичане совсем, на-

пример, супу не едят… А возьмите, например, мадам, они вас по уху съездят — дверей не найдете. Честное слово.

Худо ли, хорошо ли, но Степа завладел разговором.

Он рассказал, как у них в дровяном складе, где он служил, отдавило приказчику ногу доской, как на их улице поймали жулика, как в него, в Степу, влюбилась барышня, и закончил очень уверенно:

— Нет-с, что там говорить! Митюкова еще не знают! Но Митюков еще себя покажет. О Митюкове еще будут говорить, и еще много кому испортит крови Митюков! Да что толковать — у Митюкова, конечно, есть свои завистники, но… Митюков умственно топчет их ногами.

— Позвольте… да этот Митюков… — начала одна дама.

— Ну?

— Кто он такой, этот замечательный Митюков?

— Митюков? Я.

— А-а… А я думала — кто.

— Митюкова трудно раскусить, но если уж вы раскусили…

В это время как раз и подали индейку. Все жад-

но втянули ноздрями лакомый запах, а Степа встал, всплеснул руками и сказал самым великосветским образом:

— Еще и индейка? Нет, это с ума сойти можно! Этак вы нас всех насмерть закормите. Ведь все уже сыты, не правда ли, господа?! Не стоит ее и начинать, индейку. Не правда ли?

Все пробормотали что-то очень невнятное.

— Ну да! — вскричал Степа. — То же самое и я говорю. Не стоит ее и начинать! Унесите ее, ей-богу.

— А может быть, скушаете по кусочку? — нерешительно сказал хозяин, играя длинным ножом. — Индеечка будто хорошая... С каштанами.

Длинный Степа вдруг перегнулся пополам и приблизил лицо почти к самой индейке.

— Вы говорите, с каштанами?! — странно прохрипел он.

Губы его вдруг увлажнились слюной, а глаза сверкнули такой голодной истерической жадностью, что хозяин взял блюдо и с фальшивой улыбкой сказал:

— Ну, если все отказываются — придется унести.

— С каштанами?! — простонал Степа, полуза-

крыв глаза. — Ну, раз с каштанами, тогда я… не откажусь съесть кусочек.

Нож дрогнул в руке хозяина… Повис над индейкой… Была слабая надежда, что Степа скажет: нет, я пошутил — унесите! Но не такой человек был Степа, чтобы шутить в подобном случае… Стараясь не встречаться взором с глазами дяди, он скомандовал:

— Вот мне, пожалуйста… От грудки отрежьте и эту ножку…

— Пожалуйста, пожалуйста — сделайте одолжение, — дрогнувшим голосом сказал хозяин.

— Тогда уж, раз вы начинаете — и мне кусочек, — подхватила соседка Степы, не знавшая, что такое Митюков.

— И мне! И мне!

А когда (через две минуты) на блюде лежал унылый индейкин остов, хозяин встал и решительно сказал Степе:

— Ах да! Я и забыл: вас генерал к телефону вызывал. Пойдем, я вам покажу телефон… Извините, господа.

Степа покорно встал и, как приговоренный к смерти за палачом, покорно последовал за дядей, догрызая индюшачью ногу…

Пока они шли по столовой, хозяин говорил

одним тоном, но едва дверь кабинета за ними закрылась — тон его переменился.

Вышло приблизительно так:

— Ах, Стефан Феодорович, этот генерал без вас жить не может… Да оно, положим, вас все любят. У вас такой тонкий своеобразный ум, что… Что ж ты, мерзавец этакий, а? Говорил, что будешь отказываться, а сам первый и полез на индейку, а? Это что ж такое? Рыбой я тебя не кормил? Супом и котлетами не кормил? Думал, до горла ты набит, ухаживал за тобой, как за первым человеком, а ты вон какая свинья? Уже все гости было отказались, а ты тут, каналья, вот так и выскочил, а?

Степа шел за ним, прижимая костлявую руку к груди, и говорил плачущим голосом:

— Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с каштанами будет! Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с индейкой никогда и не ел… Поймите, дядечка, что это не я, а каштаны погубили индейку. Я уж совсем было отказался, вдруг слышу: каштаны! каштаны!

— Вон, негодяй! Больше и носу ко мне не показывай.

Дядя выхватил из Степиной руки обгрызанную ногу и злобно шлепнул ею Степу по щеке:

— Чтоб духом твоим у меня не пахло!!

— Дядя, вы насчет же ботинок говорили…

— Что-о-о-о??! Марина, проводи барина! Пальто ему!

* * *

Втянув шею в плечи, стараясь защитить от холода ветхим, коротким воротничком осеннего пальто свои большие оттопыренные уши, шел по улице Степа. Снег, лежавший раньше толстым спокойным пластом, вдруг затанцевал и стал, как юркий бес, вертеться вокруг печального Степы… Руки, не прикрытые короткими рукавами пальто, мерзли, ноги мерзли, шея мерзла…

Он шел, уткнув нос в грудь, как журавль, натыкаясь на прохожих, и молчал, а о чем думал — неизвестно.

Как добыть себе в Праге комнату

Все живущие в Праге хорошо знают, как трудно добыть в этом прекрасном городе даже не прекрасную комнату…

Бесквартирные квартиранты бьются и разбиваются о занятые уже квартиры, как слабая волна о несокрушимый каменный утес.

Любя своих читателей по-христиански, — я хочу дать им очень полезный совет:

«Как добыть себе комнату!»

* * *

Наметив себе владельца уютной комнатки, очень ревнивого и имеющего хорошенькую жену, вы садитесь за стол и пишете жене и мужу два совершенно различных письма…

Первое:

«Мадам! Ваш муж вам изменяет. Если хотите убедиться — идите завтра в 8 часов вечера в гостиницу «Гранд-Отель» и постучите в 42 номер. Ничего не подозревая, он откроет вам, вы ворветесь и застанете его с вашей соперницей. Письмо это сожгите. Захватите на всякий случай

револьвер… Ваш доброжелатель».

И второе:

«Послушайте вы, рогатый муж! Ваша жена вам изменяет. Если хотите убедиться, идите завтра в 8 часов вечера в «Гранд-Отель». Там, в 42 номере живет тот, который надсмеялся над вашим семейным очагом. P. S. Захватите револьвер. Письмо сожгите. Ваш доброжел.».

Можете для верности написать и третье письмо — кроткому, ничего не подозревающему жильцу № 42 «Гранд-Отеля»:

«М. Г. Я знаю, вы живете в «Гранд-Отеле», № 42. Завтра в 8 час. вечера на ваш номер будет сделано преступное нападение с целью грабежа. Когда к вам ворвутся — стреляйте! Ваш доброжелатель».

Послав все три письма, ждите кротко результатов…

Что-нибудь да выйдет: или муж ухлопает жену, или жена мужа, или муж — безвинного жильца № 42, или жилец — мужа…

Одним словом, будет кровавая неразбериха, которая вам на руку… В том или другом случае — кто-нибудь попадет в тюрьму, кто-нибудь на кладбище…

Тут-то вы не зевайте. Занимайте освободившуюся комнату, пока из-под носу не выхватили.

Не смущайтесь, если призраки загубленного вами мужа или жены будут являться вам.

Днем они не являются, а ночью — пусть себе ходят.

Походят, походят, да и отстанут.

Бриллиант в три карата

Недавно я мог разбогатеть. И я с высоко поднятым челом прошел мимо этого богатства, к которому буквально стоило только протянуть руку.

Что меня удержало? Полагаю, исключительно только те принципы, которым еще в детстве научила меня мама, да то кроткое лицо любимой девушки, которое глянуло на меня с небес.

На Пере около русского посольства в 4 часа дня ко мне подошел бедно одетый человек с открытым лицом и спросил:

— Где банкирская контора Иванова?

— Не знаю, голубчик, — вежливо сказал я, разглядывая витрину книжного магазина.

Тогда он обратился к другому господину, стоявшему подле, солидному, приветливого вида господину:

— Где банкирская контора Иванова?

— А зачем вам банкирская контора?

— Да вот хочу русский золотой продать.

На лице солидного ясно отпечаталось ненасытное корыстолюбие.

— Сколько хотите? — спросил он, подмигивая мне…

— Пять лир.

— Давайте.

Я пошел вперед, но солидный догнал меня и, очевидно, не могши сдержать распиравшей его изнутри радости, объявил:

— Видали вы такого дурака? Золотой стоит семь с полтиной, а он за пять отдал.

— А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего? — мягко упрекнул я.

— Ну, вот еще! Дураков учить надо.

В это время человек, так жестоко охарактеризованный солидным, догнал нас и сказал, таинственно озираясь:

— А у меня еще вещички есть… Не купите ли?

Мой новый знакомый заволновался и толкнул меня по-сообщнически локтем: «Не будет ли, дескать, поживы?»

— Только зайдем под ворота.

И тут в полумгле ворот перед нашими очарованными глазами блеснули из бархатной коробочки два великолепных крупных бриллианта…

— Сколько хотите? — истерически заволновался солидный, даже облизнув запекшиеся

губы. — Я куплю.

И шепнул мне на ухо:

— Понимаете… Трехкаратники. Чистая вода. Лир по семьсот. Если хотите, уступлю вам.

Мое врожденное благородство не позволило мне воспользоваться таким щедрым предложением.

— О, что вы! Вам первому предложено…

— Ну, хорошо, я триста лир дам за пару! — засуетился солидный… — Только сейчас в контору сбегаю. У меня тут комиссионно-ювелирная контора. Подождите минутку…

Продавец оказался капризным, как избалованная кокетка:

— Ну, вот еще: ждать! Хотите берите, нет — не надо.

И, замкнувшись в самого себя, побрел вперед.

Мой новый знакомый схватил меня за руку и умоляюще зашептал:

— Не упускайте его из виду! Задержите хоть на пять минут, пока я за деньгами смотаюсь. Двести вам дам за комиссию!.. Идите за ним. Ведь тут на полторы тысячи.

Я догнал продавца и, усмехаясь, сказал:

— А этот субъект здорово разгорелся на ваши бриллианты. Он просит подождать.

— А ну его!.. Не продам я ему, — угрюмо пробормотал таинственный бриллиантщик.

— Почему?

— Не хочу с жидами дело иметь.

— Фи! Стыдитесь! — огорченно заметил я. — При чем тут эта расовая рознь, когда лучшие умы…

— Купите лучше вы. Я вам за сто отдам.

Суетная гордость наполнила мою душу.

«Вот, — подумал я. — Значит, есть же во мне что-то до того привлекательное, что даже незнакомый человек под влиянием этого гипнотического обаяния готов отдать сокровище за десятую долю стоимости».

— Увы, голубчик, — вздохнул я. — У меня и всего-то есть только пятьдесят лир.

— Ну, давайте.

— Красиво ли это будет, — вскричал я в благородном порыве, — если я воспользуюсь вашей неосведомленностью! Знайте же, о продавец, что тот господин оценил ваши бриллианты в полторы тысячи!.. Он говорит: чистая вода.

— А Бог с ними… Куда я их дену?..

О, бедное непрактичное дитя!

Сердце мое дрогнуло жалостью…

— Ну… пойдем со мной в магазин! У меня есть

знакомый ювелир!.. Я попрошу, он вам заплатит не менее тысячи!

— Нет, какие там магазины… Не пойду я… Начнутся расспросы: что да как?

— Послушайте, — прошептал я, и моя честная кровь застыла в не менее честных жилах. — Честным ли способом приобретены эти драгоценности?!

— Ну, что вы, господин! За кого вы меня принимаете?..

— О, простите, простите, — бросился я к нему, в раскаянии пожимая его руку. — Я было усумнился, но ведь это так понятно… И, поверьте, если бы у меня было лир восемьсот…

— Берите за пятьдесят одну штуку!..

— О, нет, нет. Это было бы неблагородно по отношению к вам! Ведь я же вижу, что вы можете получить в десять раз больше… Вот зайдем в этот ювелирный магазин, я устрою…

— В этот? Именно в этот? Зайдем.

Перед намеченным нами магазином стоял человек без шапки, очевидно приказчик, вышедший подышать свежим воздухом.

— Куда вы? — растопырил он руки. — Магазин на полчаса закрыт. Проверка. Приходите через полчаса. А что вы хотели?

Мой спутник доверчиво раскрыл коробочку.

— Ах, какая прелесть! — вскричал приказчик, совершенно ослепленный. — Каратов по пяти! Постойте, куда ж вы?!

Владелец бриллиантов пошел вперед, а человек с наружностью ювелирного приказчика схватил меня за руку и зашептал:

— Ради Бога, не упускайте! Это пятикаратники! Чистая вода! Купите у него, наш магазин даст вам тысячи полторы! Приходите только через полчаса. Не выпускайте!

Богатство сверкало тут же, можно сказать, перед самым моим носом, ослепляло меня, но… имел ли я моральное право пользоваться наивностью доверчивого простака?

— Ну, что?.. Покупаете, что ли? — обратился ко мне этот чудак. (Он видел, что я колебался.)

— Но… у меня только пятьдесят лир!..

— Берите! Все равно, — беззаботно махнул он рукой. Дрожа от тайной радости, я засунул руку в карман и вынул пятьдесят лир… О, что мне сейчас эти жалкие гроши, когда через час я буду обладателем сотен…

— Вы мне дайте тот, который побольше, — жадно прошептал я.

— Пожалуйста!

Я протянул руку к бриллианту, и вдруг… кроткий образ моей умершей невесты будто заглянул с неба мне в душу. «Прав ли ты, обманывая своего ближнего?» — прозвучал голос с небес.

— «О Мэри, — воскликнул я внутренно. — Простишь ли ты меня? О, Мэри, это была только минута слабости!»

Взор мой просветлел… Я спрятал деньги обратно в карман и твердо сказал:

— Нет, друг мой, это было бы преступлением в отношении вас! Такая драгоценная вещь за гроши… о, нет!.. Я дам вам рекомендательное письмо к одному моему богатому приятелю, а для него полторы — две тысячи лир по справедливой оценке ювелира… Куда ж вы?!

Он взглянул на меня непередаваемым взглядом и замешался в толпе.

О, Мэри! Только ради тебя оттолкнул протянутую руку, полную роскоши, красоты и богатства!..

* * *

Ничего не понимаю.

Вчера один знакомый восторженно рассказывал мне о том, что купил он по случаю на Пере четырехкаратник за 35 лир…

— Это нечто изумительное! — кричал он. — Это перл природы!

Пошли мы оба сбывать перл природы в ювелирный магазин, хозяин предложил за «перл» 15 пиастров.

Как катастрофически падают цены на бриллианты!

Вечно-женское

Начался вечер очень мило: я сидел у Веры Николаевны и оживленно беседовал с ней о литературе, о любви, о морях-океанах, о преимуществе жареных пирожков над печеными, об искусстве смешивать духи, о нахалах, пристающих на улицах, и о полной допустимости загробной жизни.

Звонок в передней прервал мое заявление о том, что паюсную икру, размятую с сардинами и соком лимона, — никак нельзя приправлять сливочным маслом.

— Гм… Звонок… Это, вероятно, моя школьная подруга. Я ее не видела двенадцать лет.

«Чтоб ее черт унес», — подумал я. Вслух продолжал:

— Я знал даже людей, которые присыпали ее зеленым луком и петрушкой.

— Подругу? — удивилась хозяйка.

— Икру!..

— Какую? — рассеянно переспросила хозяйка, прислушиваясь.

— Паюсную!..

Я ревниво отметил, что внимание ее было уже

не около меня, а в передней, откуда доносился стук сбрасываемых ботиков и шелест снимаемых одежд.

— Ну да, это она! — просияла хозяйка. — Боже ты мой… двенадцать лет! Ведь мы расстались совсем девчонками! С седьмого класса…

Сначала в комнату влетело что-то темно-коричневое, потом ему навстречу шумно двинулось зеленовато-голубое, потом эти два кружащихся смерча соединились, сплелись воедино и образовали один бурный, бешено вращающийся на своей оси смерч, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме мелькающих рук, писка и чмоканья… Жуткое зрелище!..

В отношении поцелуев разгон был такой, что инерция еще долго не могла прекратиться. Но на третьей минуте подруга засбоила, то, что называется у коннозаводчиков «сошла с круга», и отстала в одном темпе: именно, хозяйка чмокала ее в то самое время, когда щеки подруги отрывались от хозяйкиных губ; чтобы вознаградить хозяйку за этот холостой поцелуй в воздух, подруга ретиво возвращала лобзанье, но в этот момент хозяйкина щека, в свою очередь, уже отрывалась от подругиных губ, и снова поцелуи, как петарды, безвредно разряжались в воздухе.

Наконец смерч распался на свои основные цвета — темно-коричневый и зеленовато-голубой, подруги отдышались, фыркнули, точно запаренные лошади, отчетливо, как по команде, вынули из сумочек какие-то красные палочки, намазали губы, попудрили носы, еще раз обменялись радостными взглядами, и только тогда их внимание обратилось на меня, скромного, забытого, оглушенного, ослепленного шумом и треском.

— Позволь тебе представить, Нюра, мой большой друг.

Подруга бросила на меня рассеянный взгляд и швырнула в мою сторону, как собаке кость:

— Очень приятно.

— Я думаю! — самодовольно хихикнул я, радуясь уже тому, что они обратили на меня внимание.

— Что вы сказали?!

— Я говорю, что Вера Николаевна много мне о вас говорила.

Соврал. Для того и соврал, чтобы они обратили на меня хоть какое-нибудь внимание.

Но нет ничего ужаснее зрелища двух встретившихся после долгой разлуки подруг. От созерцания такой пары холодеет кровь и свертывается мозг у самого стойкого человека.

Они уселись на диван по обе стороны от меня, и с этого момента я превратился в ничтожество, в диванную подушку, через которую можно переговариваться, совершенно ее не замечая.

Глаза их восторженно вперились в лица друг друга, а руки сплелись через меня и невозмутимо покоились на моих кротких коленях.

— Так вот оно, значит, как, — проворковала хозяйка.

— Да-а…

— А ты помнишь Кузика?

Обе дружно рассмеялись.

— Ну, еще бы! «Медам, берит на себе труд». Ха-ха! А где сейчас Лили?

— Ну, как же! Она вышла за Савосю Брыкина!

— Что ты говоришь?! Вот не думала. А Жужуточка?

— Он ведь во Владивосток уехал. Алика на войне убили.

— А помнишь Мику в ящике?

— Ха-ха-ха…

— Какого Мику? — спросил я с наружным интересом.

— Ах, этого вам нельзя знать. Не совсем прилично. Костя Лимончик сделался таким интересным, что не узнаешь. На виолончели играет.

— Что вы говорите?! — ахнул я, будя внутри себя дремлющий интерес к неведомому виртуозу Косте.

— Неужели на виолончели играет? Кто бы мог подумать! Ну и ну!..

— А вы его знаете?

— Мм… Нет.

— Ну, так и не суйтесь не в свое дело. А где сейчас Григорий Кузьмич?..

— Он же живет до сих пор на Почтовой, 82.

Незнакомые имена, фамилии, адреса мелькали передо мной так быстро, будто бы я помимо воли погрузился в чтение старой телефонной книги.

На меня перестали обращать какое бы то ни было внимание. Лица горели, глаза сверкали, а из уст, вперемешку со смехом, сыпались десятки Аликов, Жужуточек и Григорий Кузьмичей. Но не такой я человек, чтобы примириться с небрежностью в отношении, подобной мне, важной особы… Мне скучно, на меня не обращают внимания — так мне сейчас будет весело, и меня почтят самым лихорадочным вниманием! Я внутренне подобрался, подстерегая удобный момент для прыжка…

— А где теперь тот студент, который, помнишь, за тобой ухаживал?

— Адя Берс?

— Адя Берс?! — воскликнул я. — Неужели вы о нем ничего не знаете?

— А вы с ним знакомы?

— Ну!! друзья! Мне его так жалко, что и рассказать невозможно.

— А что с ним?

— Ну, как же. Сварился. В мыле.

— В каком мыле?

— Целая история. Жуткая. Вы Костю Драпкина знаете?

— Нет…

— Ну, еще бы. Так у этого Кости был мыльный завод…

— Не тяните, Господи!!

— …Как-то раз осматривали они с Адей чан, где варилось мыло. Адя нечаянно оступился, да и вниз! Бух! Я до сих пор не могу опомниться от этого кошмара. Как только умываюсь, так и поглядываю на мыло — вдруг найду Адину пуговицу или клок волос.

— Какой ужас! Воображаю горе его сестры Людмилочки.

— Ей все равно, — горестно качнул я головой. — Раздавлена.

— ??!!

— Сенокосилкой. В имении графа Келлера. В пьяном виде.

— Что за вздор?! Разве Люда пила?

— Как лошадь. Алкоголизм. Наследственность. Вместе с Жужуточкой и пили.

— А вы и Жужуточку знаете?

— Как свои пять пальцев. Его повесили в Харбене. Организовал шайку хунгузов. Поймали в опиокурильне. Отбивался как лев. Семь человек.

Я достиг своего. Внимание подруг было приковано ко мне всецело. Ротики их доверчиво раскрылись от избытка интереса и груди порывисто дышали.

Некоторая мрачность и трагизм, которыми были окрашены последние минуты целой вереницы старых друзей обеих подруг, до известной степени искупалась захватывающим интересом и романтичностью фабулы.

Не обошлось и без легкомысленного элемента: Миля пошла на сцену, в кафешантан, и теперь танцует со своим партнером, негром, тустеп.

Я сделался душой маленького общества: все-то я знал, обо всех-то я рассуждал с видом близкого приятеля и общего конфидента.

Царил я около получаса.

После одной из пауз, посвященных отданию

последнего долга трагически погибшему при пожаре кинематографа учителю немецкого языка Кузику, — хозяйка вздохнула и спросила:

— А ты помнишь Катину «Липовку»!.. Что с ним?

— Я знаю, — вырвался я вперед. — Он женился на цыганке из хора Шишкина, и она его от ревности отравила. Совсем на днях. Сулемой. В пирожке дала. С капустой. Как сноп! Предстоит сенсационный процесс!..

Обе подруги внимательно взглянули в мое лицо.

— Кого? — в один голос спросили обе.

— Что — кого?

— Кого отравили?

— Этого самого… Липовку, как вы его… Гм!.. Назвали. Катиного Липовку отравили… Такого человека отравить, а? Здоровяк был. И пел — как малиновка.

— Кто?

— Да этот же, Боже мой… Липовка!

Хозяйка встала с дивана с видом, не предвещавшим ничего для меня доброго и радостного…

— Вы знаете, *что такое Липовка?*

— Это… он… Такой… Липовка. По прозвищу. Брюнетик такой.

— Послушайте, вы! Нахал вы этакий! «Липовка» — это Катино имение, и оно не могло жениться на цыганке из хора, и его не могли отравить!! Как малиновка он пел, чтоб вы пропали?! Я уже давно заметила, что вы слишком развязно отправляете всех на тот свет. Теперь я понимаю…

— Прогони его, — посоветовала разъяренная подруга. — Пусть он уйдет вон!

— Ты когда уезжаешь, Нюра? — спросила хозяйка.

— Через десять дней.

— Так вот что, расторопный молодой человек!.. Уходите и являйтесь не ранее чем через десять дней. Я накладываю на вас епитимью.

Я цинично захохотал, послал дамам воздушный поцелуй и, крикнув: «Привет от меня Жужутке», — вышел в переднюю.

Натягивая пальто, услышал:

— Вот нахал-то. Без него, по крайней мере, наговоримся. Послушай, а где Диночка Каплан?

— В Курске. Уже четверо детей. Ха-ха-ха! А помнишь апельсинное желе на пикнике?..

— А помнишь…

— А помнишь…

Неуклюжая громоздкая машина воспоминаний

запыхтела и двинулась, увозя упоенных подруг в туманную даль. Эх, жизнь наша! Все мелочь, все тлен, дорогой читатель...

Высшая справедливость

Когда Раскатов ввалился в кабинет Кириллова — Кириллов недовольно поморщился:

— Вот еще черти тебя принесли. Тут человек работает, а ты зря шатаешься — только мешаешь.

Не обращая внимания на неудовольствие хозяина, Раскатов развалился на диване, похлопал перчаткой по колену и присвистнул…

— Работаешь? Тебе же хуже. Вот вы все — такие работнички: пока ты тут уткнулся в скучнейшие, дурацкие бумаги — живая жизнь проплывает мимо твоего носа!

Хозяин угрюмо промолчал, надеясь, что гость после такого сухого приема обидится и уйдет, но Раскатов был человек другой складки: он сладко потянулся, засвистал что-то из «Кармен» и вдруг сочно расхохотался.

— Ты чего? — угрюмо покосился хозяин Кириллов.

— Лимонова знаешь?!

— Что за странный вопрос: наш общий друг и приятель.

— То-то и оно, что приятель! Интересно мне

сейчас взглянуть на его физиономию.

Кириллов лениво поинтересовался:

— А что с ним случилось, с Лимоновым?

— Ой, не могу молчать!! Ей-богу, расскажу. Но… надеюсь, это будет между нами?

Кириллов промычал что-то невразумительное — нечто среднее между: «Да ладно уж…» и «Провались ты в болото со своими секретами».

Но Раскатов горел таким свирепым желанием рассказать, что принял это подозрительное мычание как торжественную клятву.

— Ну, так слушай! Ведь правда, жена Лимонова, Ольга Михайловна, — очаровательное существо?

— Мм… предположим! Что ж из этого следует? Позавидуем Лимонову, да и все.

— Нет, брат, ты брось!! Теперь не Лимонову нужно завидовать, а мне!

Кириллов привскочил с кресла:

— Что это значит?!

— А то и значит. Видишь ли, она мне давно нравилась… То есть, конечно, влюбленности особой не было, а так… Просто лакомый кусочек. Ухаживал я за нею вскользь, лениво, совершенно не думая, что из этого выйдет. А сегодня встречаю ее на улице, и вдруг приходит мне в голову шальная мысль: предпринять более энергичные шаги.

Ну… то да се — разговорились. Соврал я, что нынче день моего рождения, и уговорил ее выпить по этому поводу бокал вина. Попали в ресторанчик, мигнул я лакею, чтоб дали отдельный кабинет, и вот… Началось невинными поцелуями, а кончилось… ха-ха-ха! Этакий бедняк этот Лимонов! Интересно бы на него сейчас взглянуть — какие у обманутых мужей лица бывают?..

Кириллов, негодующий и взволнованный, забегал по комнате.

— Послушай, Раскатов! Но ведь это же чудовищно. Ведь Лимонов твой друг…

— Голубчик!! Какое же это имеет отношение? Дружба одно, а… а… хорошенькая женщина совсем другое…

— Но ведь ты же осквернил его семейный очаг!!

— Философия. Тургеневская розовая водица.

— Ты обманул его дружбу, доверие!..

— О-о! Розовый пастушок, пасущий белых овечек на зелененькой травке. Брось! Ты дьявольски сентиментален, Кириллов, — вот уж не подозревал в тебе этого. Теперешняя жизнь, брат, жестокая штука. Общий девиз — хватай, что плывет в руки!

* * *

Кириллов молчал, о чем-то задумавшись, потом спросил странным дрогнувшим голосом:

— Значит, по-твоему, отбить у лучшего приятеля его законную жену — это ничего?

— А что делать, братуха! Нынче всяк сам за себя.

Кириллов неожиданно вскочил и, схватив руку Раскатова, горячо пожал ее.

— Спасибо, дружище!! Если бы ты знал, если бы только мог подозревать, как ты облегчил мою совесть!!..

Раскатов очень удивился.

— А что… такое? Что ты хочешь сказать?

— О, Раскатов! Если бы ты знал, как я терзался последнее время. Как мне было трудно, невыносимо трудно и тяжело — глядеть тебе прямо в глаза… Но твое признание, конечно, сняло камень с моей души.

— Экую ерунду человек мелет! Да что случилось-то?

Голос Кириллова звучал вдохновенно, почти экстазно:

— Слушай, Раскатов! Какое счастье, что я теперь могу тебе признаться во всем! Знай же, о, Раска-

тов, что я сделал по отношению к тебе такой же поступок, как ты — по отношению к Лимонову.

Раскатов застыл на месте, протянул вперед руки, будто защищаясь.

— Ты… ты… Стой! — беззвучно зашептал он дрожащими белыми губами. — Не хочешь ли ты сказать, что моя жена, Катя…

— Да!!! Каюсь. Подошел такой момент, подхватил вихрь и закрутил! Она ведь у тебя красавица…

Раскатов застонал как раненый зверь и бессильно опустился на диван.

— И ты… ты мог так поступить со мной?!! Со своим лучшим другом?

— Да ведь ты же поступил так с Лимоновым…

— Э, «Лимонов, Лимонов»… Сейчас мы обо мне говорим, а не о Лимонове!! Боже мой, Боже, какая подлость…

— Почему?.. — хладнокровно спросил Кириллов. — Ведь ты же давеча радовался своей победе — дай же и мне порадоваться.

— Будь ты проклят!! Ты разбил мою семейную жизнь…

— Брось! Тургеневская розовая водица.

— И ты еще смеешься, ты — мой близкий друг!!

— Розовые барашки на зеленой травке. Жизнь, брат, жестокая вещь. Нынче такое время, что хватай, если в руки плывет. Твоя же, брат, философия.

Раскатов вдруг поднялся с дивана; его розовое упитанное лицо исказилось и посерело…

С трудом выдавливая из себя слова, будто глотая застрявший в горле комок, он прохрипел:

— Ну, так слушай же ты!.. «Друг»! Я тебе все это выдумал, насчет Ольги Михайловны Лимоновой. Ничего между нами не было!! Просто я хотел похвастать лишней победой. Она для меня так же неприкосновенная, как и для тебя. Ну? Что ты теперь скажешь?!

Он с трудом проглотил бешеную слюну, давившую его.

Лицо Кириллова просияло, и он, подскочив к Раскатову, принялся энергично, благодарно трясти его за руки…

— Ты… Говоришь правду?! Ничего между вами не было?! Слава Богу, слава Богу!!..

— Да… — угрюмо покачал головой Раскатов. — Между мною и мадам Лимоновой ничего не было! Сознаюсь! Солгал. Но — ты?! Ты? Вползти в мой дом, как змея, вскружить жене голову, обмануть мое доверие…

Кириллов рассмеялся лучезарно и весело и обнял Раскатова за плечи:

— Да ведь и между мной и твоей женой ничего не было!!.. Клянусь тебе. Просто я хотел наказать тебя за твою подлость по отношению к Лимонову. И сочинил насчет Катерины Георгиевны — да простит она мне эту гнусность!

На лице Раскатова снова появился яркий живой румянец, сразу окрасивший его осунувшееся лицо.

— О? Правда? — радостно заторопился он. — Серьезно? Серьезно между тобой и Катей ничего не было? Ты можешь в этом поклясться?!

— Матерью своею клянусь, — серьезно и честно сказал Кириллов, открыто глядя в глаза гостю.

Гость совсем расцвел, и розы снова заиграли на его щеках и губах. Так восходящее солнце окрашивает мгновенно серый пейзаж, дремавший до того во мраке. Он минуты две глядел на хозяина, потом уголки его губ дрогнули, и он закатился таким смехом, что должен был, склонившись, опереться о спинку кресла…

— Что? Что с тобой?! — даже испугался хозяин.

— Да ведь… О-ой, не могу. Да ведь… я тебе опять соврал — насчет жены Лимонова. Было, голубчик, все было!! Я просто хотел испытать тебя — ох, не

могу, сдохну от смеха — испытать тебя насчет своей жены, Кати!!.. А раз у меня дома все в порядке — вот же тебе! Пили мы вино с Лимонихой!! И целовались мы с Лимонихой!! И вообще. А ты мне клятву дал! Ишь, плутишка. Хотел своего друга напугать.

От его былой тревоги и страдания не осталось и следа. Лицо сияло, и глаза сверкали победноторжествующе.

— Знаешь что?.. — брезгливо сказал Кириллов. — Уходи! Ты мне мешаешь работать со своими глупостями. Проваливай-ка.

— Ой, уйду! Уйду, милый… Насмешил ты меня.

И, схватив шляпу, он покровительственно потрепал хозяина по плечу — и вышел.

* * *

Оставшись один, Кириллов прислушался к звуку хлопнувшей парадной двери и снял телефонную трубку.

— Девяносто два — четырнадцать! Квартира Раскатовых? Это вы, Катерина Георгиевна? Да, я, Кириллов! В прошлую среду вы сказали мне, что будете моей только в том случае, если муж вам изменит. Он вам изменил. А? Да. Сейчас был у меня, рассказывал. Ну… Я думаю — подробности

лично? Приезжайте! Жду.

И трубка, повешенная на рычаг, звякнула — будто поставила точку на этом проявлении Высшей Справедливости.